

Писатели
США

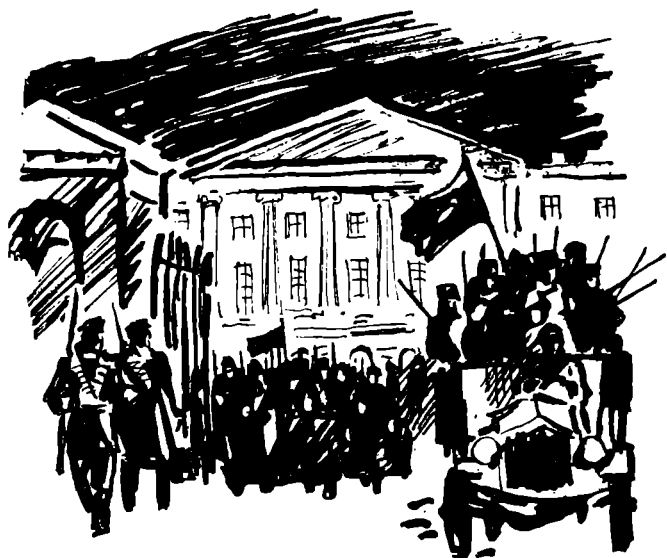
о
Стране
Советов

 XX ВЕК: ДВА
ЛИКА
ПЛАНЕТЫ

*Писатели
США*
о
Стране
Советов

ЛЕНИЗДАТ • 1983 •

Составитель, автор послесловия и примечаний
В. В. Большаков



1 ПЕРВЫЕ ГОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Бесси Битти (1886—1947) — американская журналистка. В 1917—1918 годах находилась в качестве корреспондента калифорнийской газеты «Сан-Франциско кроникл» в России, вместе с Дж. Ридом, А. Р. Вильямсом и Л. Браунт была очевидицей взятия Зимнего дворца и победы социалистической революции в Петрограде, о чем рассказала в своей книге «Красное сердце России» (1919). В 1921 году вновь приехала в Россию, вместе с М. И. Калининым приняла участие в поездке на агитпароходе по Волге. В декабре 1921 года была принята В. И. Лениным, который дал ей интервью. Настоящий отрывок взят из книги «Красное сердце России»¹.

Падение Зимнего дворца

Хотя всю ночь в Петрограде не прекращались дискуссии, в этом захваченном бурей городе оставалось одно место, в котором не тратили лишних слов. Это был штаб Военно-революционного комитета, возникший как-то неожиданно и бесшумно и окутанный глубокой тайной.

Алекс Гамберг², этот русский продукт нью-йоркского Ист-сайда, обладавший чисто американской привычкой изыскивать средства в критической ситуации, высказал предположение, что было бы бесполезным попытаться пройти через большевистские линии, не получив предварительно пропуска от этого комитета.

Он провел нас вдоль слабо освещенного коридора в его дальний конец. Молодой, аккуратно подстриженный человек встретил нас в приемной, записал наши имена и нашу просьбу и исчез в соседней комнате, плотно прикрыв за собой дверь. Мы с любопытством смотрели ему вслед. За этой дверью находились люди, которые руководили осадой и захватом Петрограда и делали это столь эффективно, что в последующие дни недруги большевиков утверждали, будто комитет состоял из немцев, поскольку русские якобы неспособны проявить столь высокую организованность.

¹ Публикуется по тексту книги «Я видел будущее». М.: 1977, кн. I «Писатели и деятели культуры зарубежных стран о Союзе Советских Социалистических Республик».

² Алекс Гамберг — один из так называемых «русских американцев», эмигрантов из России, вернувшихся в 1917 году на родину.

Когда внутренняя дверь вновь отворилась, на пороге показался тот же приятный молодой человек, держа в руке пропуск. Мой пропуск был отпечатан на листке бумаги, вырванном из линованного блокнота, помечен номером пять и звучал следующим образом: «Военно-Революционный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов разрешает мисс Бесси Битти свободный проезд по всему городу».

На нем была голубая печать комитета, то единственное, что в ту ночь вызывало к себе уважительное отношение со стороны русского штыка...

Внизу во дворе стоял большой грузовик с заведенным мотором. Его пассажирами оказались три матроса, молодой солдат-казак в накидке из грубого черного меха, дошедшей ему до колен, и красногвардеец. Мы окликнули их и попросили отвезти нас в город.

— Это опасная поездка, — сказали они. — Мы будем разбрасывать прокламации, и почти наверняка в нас будут стрелять.

Мы переглянулись, оценивая эту единственную возможность добраться до Зимнего дворца, и попросили взять нас несмотря на риск. Две сильные руки протянулись, чтобы поднять меня в кузов, и два моряка, сидевшие на лавке, поставленной поперек грузовика, поднялись, чтобы уступить нам место.

— Садитесь сюда, — обратился он к нам. — Когда начнется стрельба, вы ляжете и пригнете голову.

У меня под коленями на полу лежала груда винтовок, и, когда грузовик покатился по булыжной мостовой, я крепко ухватилась за борт. Улицы напоминали черные ущелья. На тротуарах не было видно ни одной живой души; тем не менее, как только моряк подбрасывал в воздух пачку белых листовок, таинственным образом из подъездов и дворов появлялись люди и подбирали их.

Казак возвышался надо мной, сжимая в руках винтовку и внимательно вглядываясь в темноту, выискивая признаки опасности. На перекрестках грузовик замедлял ход, и группы солдат, гревшихся у костров, подходили, чтобы получить вести из Смольного. Они изумленно и настороженно рассматривали наши непривычные для них лица и вновь возвращались в зону света, исходившего от горящих березовых дров. Во время одной из таких остановок Гамберг взял прокламацию и прочитал ее нам:

«К гражданам России. Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа

Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства — это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Военно-Революционный Комитет при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов».

Часы на шпигеле Николаевского вокзала показывали час ночи, когда мы повернули на Невский проспект. Большая площадь была пустынной.

— Пригните головы,— скомандовал казак, заметив впереди группу неизвестных.

Мы подчинились. Но когда выяснилось, что это большевистские солдаты и красногвардейцы, мы снова осторожно выглянули. На мосту через реку Мойку мы натолкнулись на баррикаду, возведенную еще днем, и должны были остановиться по приказу охраны, которая объяснила, что впереди стреляют и проезд дальше запрещен. Со стороны Зимнего дворца раздавалось периодическое уханье большого орудия, сопровождавшееся короткими, резкими, прерывистыми ружейными выстрелами.

С неохотой мы вынуждены были поехать в объезд. Перед Казанским собором охрана вновь заставила нас остановиться. В темноте вдоль широкой улицы мы различили колонну каких-то мрачных фигур, стоявшую, как на марше, вдоль тротуара. Мы сразу же вспомнили о небольшой группе мужчин и женщин, которые покинули Смольный, чтобы в знак своего пассивного сопротивления умереть со своими единомышленниками в Зимнем дворце. К ним присоединились петроградский голова, члены городской думы и еврейского «Бунда». Их было человек четыреста или пятьсот, и здесь, всего в нескольких кварталах от цели, их остановили.

В нескольких шагах от них был построен взвод солдат. Комиссар, командовавший ими, поднял руку:

— У нас есть приказ Военно-революционного комитета не пускать вас дальше,— сказал он.

— Что вы будете делать, если мы все-таки попробуем пройти? — настаивал петроградский голова Шрейдер.— Станете в нас стрелять?

— Нет,— отвечал комиссар.— У нас есть приказ в вас не стрелять. Но нам также приказано вас не пропускать.

Он отдал короткую команду своим солдатам, и те, отойдя на дистанцию шагов в пятьдесят, выстроились поперек Невского. Они образовали крепкую человеческую стену, перерезавшую широкую улицу от тротуара до тротуара. Через один квартал еще более солидный заслон выстроили красногвардейцы. Демонстранты, оглядев этих решительных молодых солдат, повернули назад в унынии...

Мы наблюдали, как они уходили. Затем, решив не терять времени, предъявили наши пропуска комиссару. «Пожалуйста!» — сказал он. Стена разомкнулась.

...Было четверть третьего, когда мы вошли под свод огромной красной арки и стали внимательно вглядываться в лежащую перед нами широкую площадь. На мгновение воцарилась тишина; затем ее оборвали три ружейных выстрела. Мы стояли в безмолвии, ожидая ответного залпа; но единственным звуком был хруст разбитого стекла под ногами, устилавшего, словно ковер, булыжную мостовую. Окна Зимнего дворца были выбиты.

Неожиданно из темноты показался матрос.

— Все кончено! — сказал он.— Они сдались!

Мы двинулись по усыпанной стеклом площади, перebrались через баррикаду, возведенную днем защитниками Зимнего дворца, и, сопровождаемые торжествующими матросами и красногвардейцами, вошли в огромное здание, отделанное лепными украшениями. Синие печати на наших пропусках возымели столь сильное действие, что нас пустили внутрь, не задавая вопросов. Отряд матросов, поднявшись вверх по лестнице, вошел в зал заседаний и взял под арест членов Временного правительства. Над нашими головами слышался шум с силой открывавшихся дверей, передовой отряд переходил из комнаты в комнату в поисках укрывшихся.

Винтовки, отобранные у юнкеров, были сложены грудой в зале. Вереница матросов-победителей непрерывным потоком вливалась во дворец и выливалась обратно. Казалось, жажда сувениров и трофеев завладела ими. Какой-то матрос спускался по лестнице, неся вешалку для пальто, другой — подушку от софы. В руках третьего была свеча. Комиссар остановил их у выхода.

— Нет, нет, товарищи! — говорил он, протягивая руку.— Пожалуйста, ничего не выносите отсюда.

Он обращался к ним в спокойной, рассудительной манере, словно перед ним были дети. И как дети они расста-

вались со своей добычей. Солдат с одеялом пробовал протестовать.

— Я замерз,— говорил он.

— Не имеет значения, товарищ. Если возьмете, про нас скажут, что мы пришли сюда грабить. А мы пришли не для грабежа, мы пришли делать революцию.

Послышался шум шагов по лестнице, и, обернувшись, я увидела спускающихся цепочкой членов Временного правительства. Первым шел Коновалов, вице-премьер и министр торговли и промышленности, за ним — москвич Третьяков, председатель Экономического совета. Позади него — высокий, стройный молодой министр иностранных дел Терещенко, бросивший удивленный взгляд в мою сторону. Следующим — Кишкин, министр общественных работ, хрупкий человек небольшого роста. Потом — двое, одетые в военную форму: генерал Маниковский, исполнявший обязанности военного министра, и генерал Борисов. Шествие завершали другие члены кабинета Керенского.

Одни шли уверенно, высоко подняв голову. Другие выглядели бледными, усталыми и озабоченными, производили впечатление совершенно сломленных людей. Напряжение предшествующего дня, насыщенного мучительным ожиданием, ночь под дулами крейсера «Аврора», нерво-трепка нескольких недель, когда один кризис кабинета следовал за другим, оказались для них слишком большим испытанием.

Молча пересекли они площадь и направились к Петропавловской крепости, в сумраке возвышавшейся на другом берегу Невы.

Молча наблюдая, как они шли, я размышляла о том, чем станет эта ночь для России и всего мира. Комиссар, усадивший нас на скамью, объявил, что нам разрешено подняться наверх, и мы поспешили в зал заседаний.

Наш путь проходил через комнаты с занавешенными окнами, которые сверкали теперь миллионами огней от зажженных хрустальных люстр. Шелковые шторы висели ключьями, а на стенах то там, то тут виднелись свежие следы пуль. В целом, однако, причиненный ущерб был не столь значительным, как мы ожидали. Атакующие осуществили план, целью которого было взятие дворца с наименьшими жертвами; предпринимались неоднократные попытки ослабить сопротивление защитников с помощью братания. Ни один из юнкеров не был убит, но шесть матросов заплатили жизнями, многие получили ранения.

Когда мы входили в рабочий кабинет Керенского, принадлежавший до недавнего времени одному из последних Романовых, служитель дворца обратился к двум солдатам, выделенным для его охраны.

— Будьте осторожны,— говорил он.— В кабинете очень ценная библиотека...

Через несколько минут мы спустились по лестницам и вышли из дворца, после чего в нем осталась лишь стража, получившая приказ нести охрану. На следующий день был издан декрет, согласно которому огромное красное здание превращалось в народный музей, с тем чтобы оно никогда более не стало предметом спора в политической борьбе.

Солдат женского батальона я не видела. Они находились в другом крыле дворца. На следующее утро весь город полнился рассказами об учиненных над ними насилиях. Однако в результате расследования, проведенного мадам Торковой, одним из лидеров Петроградской думы, настроения которой были явно антибольшевистскими, большинство из этих слухов не подтвердилось. Некоторые из женщин были отведены в казармы Павловского полка и находились там до тех пор, пока родственники не принесли им их цивильное платье. Другим, не имевшим такой возможности, разрешили ходить в их солдатской форме...

С падением Зимнего дворца большевики одержали окончательную победу. Диктатура пролетариата стала реальностью. Единственной силой в Петрограде с наступлением нового утра стала власть Совета Народных Комиссаров, возглавляемого Владимиром Лениным, поддерживаемого русским флотом, штыками Петроградского гарнизона и винтовками красногвардейцев.

Джон РИД

Джон Рид (1887—1920) — один из организаторов Компартии США, пролетарский писатель, публицист, автор всемирно известной книги «Десять дней, которые потрясли мир». Статьи «Первая пролетарская республика приветствует американских рабочих» и «Первая и вторая революции» публикуются в переводе с английского из книги «Большевицкая революция», составленной Филипом С. Фонером. Нью-Йорк, 1967.

Первая пролетарская республика приветствует американских рабочих

ПЕТРОГРАД, 13 НОЯБРЯ. Петроградский гарнизон, кронштадтские матросы и красногвардейцы, входящие в целом в состав большевистской армии, прошлой ночью нанесли поражение армии Керенского, состоящей из 7000 казаков, юнкеров и артиллерии, атаковавших столицу.

Попытка в воскресенье «юнкерского» мятежа, руководимого комитетом спасения, состоящим из меньшевиков (умеренные социалисты) и кадетов (конституционные демократы), подавлена кронштадтскими матросами, которые захватили броневик, штурмом овладели телефонной станцией, а также юнкерским училищем.

Сотни делегатов прибыло в Смольный институт, штаб-квартиру революционного правительства и Советов, чтобы сообщить о солидарности армии на фронте с большевиками.

Это революция, классовая борьба пролетариата, рабочих, солдат и крестьян, дружно выступивших против буржуазии. Революция в феврале была только предварительной. В настоящее время пролетариат торжествует победу.

Простые люди из рабочих, солдатских и крестьянских Советов находятся у власти вместе с ЛЕНИНЫМ во главе. Их программа — дать землю крестьянам, обобществить

природные богатства и промышленность; они за прекращение военных действий и демократическую мирную конференцию.

Необычайная безмерная власть большевиков покоится на том факте, что правительство Керенского полностью игнорировало желания масс, которые были точно отражены в большевистской программе мира, земли и рабочего управления промышленностью...

С большевиками нет никого¹, за исключением пролетариата, но последний твердо стоит за них... Вся буржуазия и ее прихвостни непреклонно враждебны...

Сообщения с фронта и из разных мест страны показывают, что, хотя кое-какая борьба еще продолжается в некоторых городах, массы всецело за большевиков, за исключением Донской области, где генерал Каледин и казаки провозгласили военную диктатуру.

Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов через газету «Колл» шлют американским социалистам-интернационалистам привет от первой пролетарской республики мира.

«Нью-Йорк колл», 22 ноября 1917 года²

Первая и вторая революции

Существенно важная вещь, которую не следует забывать, говоря о РОССИИ, это то, что там с марта 1917 года произошли две революции и что эти революции совершенно различны по своему характеру и являются борьбой за власть.

Первая революция была революцией против царя. Царь и его замаранное кровью правительство были сверг-

¹ Здесь Джон Рид не прав. Уже в то время за большевиками шло значительное число крестьян и солдат; они имели большинство в Советах. (Прим. составителя.)

² Джон Рид покинул Нью-Йорк, отправившись в Россию в августе 1917 года в качестве корреспондента журнала «Мэссиз», социалистической газеты «Нью-Йорк колл» и журнала «Севн артс» в сопровождении своей жены Луизы Брайант.

Утром 13 ноября, когда до Смольного дошла весть о поражении Керенского, В. И. Ленин дал Риду краткое обращение к американским социалистам. 15 ноября Рид получил разрешение телеграфировать это обращение вместе со своим кратким сообщением о свержении Временного правительства для социалистической газеты «Нью-Йорк колл». Это сообщение было задержано цензурой в США и пропущено только 21 ноября. На следующий день газета опубликовала его под семиколонным заголовком. (Прим. составителя.)

нуты. Было создано новое правительство — республиканское, возникла буржуазная республика, в которой вместо дворянства стали управлять капиталисты и эксплуататоры трудящихся.

Правительство сменилось, и это всё.

Крестьяне не получили в свое ведение землю, рабочие не получили под свое управление фабрики и заводы. Это была просто политическая революция, а не экономическая; права царя и дворянства были уничтожены, и на их место установлены права капиталистов. Рабочие не имели никаких трудовых прав; они по-прежнему оставались наемными рабами, оставались угнетенным классом.

Затем началась новая революция — экономическая революция против капиталистов и эксплуататоров трудящихся. Рабочие и крестьяне организовали «советы», то есть Советы рабочих и крестьянских депутатов; такими депутатами не мог стать ни один капиталист, ни один частный собственник. Эти Советы 7 ноября 1917 года решили, что они станут правительством рабочих и крестьян и что капиталисты (хозяева фабрик и заводов) совершенно не имеют права участвовать в управлении государством. Все мужчины и женщины должны заниматься полезным трудом; если кто не работает, то он паразит и как таковой не имеет права участвовать в управлении государством. Капиталистическая республика стала республикой рабочих.

Капиталистическая республика, такая, каковой была Россия при Керенском, дала народу политическую свободу — то есть вы имели право голоса по политическим вопросам, но вы не имели права голоса в цехах, где вы работаете, вы не имели никакой производственной демократии... Политическое надувательство...

Советская форма управления есть подлинно демократическая. Крестьяне собираются вместе в деревнях, рабочие — на фабриках и заводах и выбирают своих представителей на Всероссийский съезд Советов, который собирается в Москве. Съезд выбирает членов Совета Народных Комиссаров — исполнительного органа управления — и Центральный Исполнительный Комитет, который заседает постоянно в перерывах между сессиями Всероссийского съезда. Ленин и другие, включая Центральную комиссию, делают отчеты; если их работа была удовлетворительной — они избираются повторно; если нет — на их место выбираются новые люди.

Деспотизм?..

Нет, это подлинная демократия, это рабочие сами управляют государством. При таком управлении рабочие получают возможность осуществить свободу, производственную демократию и управлять своей жизнью самостоятельно.

Советское правительство — это правительство рабочих; всё, что ни делается, делается в интересах рабочих. Это рабочая республика, не республика помещиков и капиталистов и эксплуататоров трудящихся. И это такого рода общество, которое должно быть установлено в каждой стране, посредством социализма — весь мир для рабочих!

«Революшнери эйдж», 18 ноября 1918 года

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТЯСАЛИ МИР

(Главы из книги ¹)

Конец Временного правительства

В среду 7 ноября (25 октября) я встал очень поздно. Когда я вышел на Невский, в Петропавловской крепости грянула полуденная пушка. День был сырой и холодный. Напротив запертых дверей Государственного банка стояло несколько солдат с винтовками с примкнутыми штыками.

«Вы чьи? — спросил я. — Вы за правительство?»

«Нет больше правительства! — с улыбкой ответил солдат. — Слава богу!» Это было всё, что мне удалось от него добиться.

По Невскому, как всегда, двигались трамваи. На всех выступающих частях их повисли мужчины, женщины и дети. Магазины были открыты, и вообще улица имела как будто даже более спокойный вид, чем накануне. За ночь стены покрылись новыми прокламациями и призывами, предостерегавшими против восстания. Они обращались к крестьянам, к фронтовым солдатам, к петроградским рабочим. Одна из прокламаций гласила:

«ОТ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

Городская дума доводит до сведения граждан, что ею в чрезвычайном заседании 24 октября образован Комитет общественной безопасности в составе гласных центральной и районных дум и представителей революционных демо-

¹ Печатаются в сокращении.

кратических организаций: Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов, Всероссийского исполнительного комитета крестьянских депутатов, армейских организаций, Центрофлота, Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Совета профессионального союза и др.

Дежурства членов Комитета общественной безопасности — в здании городской думы. Телефоны для справок №№ 15-40, 223-77, 138-36».

В тот момент я еще не понимал, что эта думская прокламация была формальным объявлением войны большевикам.

Я купил номер «Рабочего пути», единственной, казалось, газеты, которая была в продаже, немного позже удалось купить у солдата за полтинник уже прочитанный номер «Дня». Большевистская газета, отпечатанная на огромных листах в захваченной типографии «Русской воли», начиналась крупно напечатанным заголовком «*Вся власть Советам рабочих, солдат и крестьян! — Мира! Хлеба! Земли!*»

Передовая статья была подписана Зиновьевым¹, который был вынужден скрываться, как и Ленин. Вот ее начало:

«Всякий солдат, всякий рабочий, всякий истинный социалист, всякий честный демократ не могут не видеть, что созревшее революционное столкновение уперлось в немедленное разрешение.

Или—или.

Или власть переходит в руки буржуазно-помещичьей шайки, и тогда это означает... кровавую всероссийскую карательную экспедицию, которая... кровью солдат и матросов, крестьян и рабочих зальет всю страну. Тогда это — продолжение опустылевшей войны, тогда это — неизбежные смерть и голод.

Или власть перейдет в руки революционных рабочих, солдат и крестьян, и тогда это означает полное уничтожение помещичьей кабалы, немедленное обуздание капиталистов, немедленное предложение справедливого мира. Тогда земля обеспечена крестьянам, тогда контроль обеспечен над фабриками, тогда хлеб обеспечен голодающим, тогда конец бессмысленной бойне...»

¹ Неточно. Упомянутая статья опубликована в «Рабочем пути» 7 ноября (25 октября) 1917 года без подписи. Автор ее не установлен. — *Ред. издания 1957 года (М.: Госполитиздат).*

«День» давал отрывочные сведения о событиях бурной ночи. Большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф; петергофские юнкера не могут пробраться в Петроград; казаки колеблются, арестовано несколько министров; убит начальник городской милиции Мейер; аресты, контрааресты, стычки между солдатскими патрулями, юнкерами и красногвардейцами...

На углу Морской я встретил меньшевика-оборонца капитана Гомберга, секретаря военной секции своей партии. Когда я спросил его, действительно ли произошло восстание, он только устало пожал плечами: «Черт его знает!.. Что ж, может быть, большевики и могут захватить власть, но больше трех дней им не удержать ее. У них нет таких людей, которые могли бы управлять страной. Может быть, лучше всего дать им попробовать: на этом они сорвутся...».

Военная гостиница на углу Исаакневской площади оцеплена вооруженными матросами. В вестибюле собралось довольно много щеголеватых молодых офицеров. Они бродили взад и вперед и перешептывались между собой. Матросы не выпускали их на улицу.

Вдруг на улице раздался громкий выстрел, и началась частая перестрелка. Я выбежал наружу. Вокруг Мариинского дворца, где заседал Совет Российской республики, творилось что-то необычайное. Широкую площадь пересекла по диагонали цепь солдат. Они держали ружья наизготовку и смотрели на крышу гостиницы.

«Провокация, в нас стреляют!» — крикнул один из них. Другой побежал к подъезду.

У западного угла дворца стоял большой броневик с красным флагом и свежей подписью красным «С.Р.С.Д.» (Совет рабочих и солдатских депутатов). Все его пулеметы были направлены на Исаакиевский собор. Выход на Новую улицу был перегорожен баррикадой — бочки, ящики, старый матрац, поваленный вагон. Конец набережной Мойки был забаррикадирован штабелями дров. Короткие поленья с соседнего склада были сложены вдоль здания и образовывали бруствер.

«Что же, тут будет бой?» — спросил я.

«Скоро, скоро! — беспокожно отвечал солдат. — Проходи, товарищ, как бы тебе не влетело! Вон с той стороны придут...» — И он показал в сторону Адмиралтейства. «Да кто придет-то?»

«Этого, братишка, не могу сказать», — ответил он, сплевывая.

У подъезда дворца стояла толпа солдат и матросов. Матрос рассказывал о конце Совета Российской республики. «Мы вошли,— говорил он,— и заняли все двери своими товарищами. Я подошел к контрреволюционеру-корниловцу, который сидел на председательском месте. Нет больше вашего Совета, сказал я ему. Ступай домой!»

Все смеялись. Размахивая всеми своими бумагами и документами, я добрался до двери в галерею прессы. Здесь меня остановил огромный улыбающийся матрос. Я показал ему пропуск, но он ответил: «Хоть бы вы были сам святой Михаил,—прохода нет, товарищ». Сквозь дверное стекло я разглядел расстроенное лицо и жестикулирующие руки запертого внутри французского корреспондента.

Вблизи стоял невысокий седоусый человек в генеральской форме, окруженный кучкой солдат. Лицо его было очень красно.

«Я генерал Алексеев! — кричал он.— Как ваш начальник и как член Совета республики, приказываю вам пропустить меня!»

Часовой чесал в затылке и беспокожно косил во все стороны, наконец мигнул подходившему офицеру, который очень взволновался, узнав, кто с ним говорит, и начал с того, что взял под козырек.

«Ваше высокопревосходительство,— забормотал он, как будто бы дело было при старом режиме,— вход во дворец строжайше воспрещен... Я не имею права...»

Подъехал автомобиль... Через несколько минут подкатила другая машина. На ее передней скамейке сидели вооруженные солдаты, а за ними были видны арестованные члены Временного правительства. Член Военно-революционного комитета латыш Петерс пересекал площадь.

«Я думал, что вы переловили всех этих господ сегодня ночью»,— сказал я ему, указывая на арестованных.

«Эх! — И в его голосе звучало разочарование.— Эти глупцы выпустили большую половину, прежде чем мы решили, как с ними быть...»

Вниз по Воскресенскому проспекту стягивалась огромная толпа матросов, а за ними, куда хватал глаз, были видны движущиеся колонны солдат.

Мы пошли по Адмиралтейскому проспекту к Зимнему дворцу. Все выходы на Дворцовую площадь охранялись часовыми, а западный край площади был огражден вооруженным кордоном, на который напирала огромная толпа. Все соблюдали спокойствие, кроме нескольких солдат,

выносивших из ворот дворца дрова и складывавших их против главного входа.

Мы никак не могли добиться, чьи тут были часовые — правительственные или советские. Наши удостоверения из Смольного не произвели на них никакого впечатления. Тогда мы зашли с другой стороны и, показав свои американские паспорта, важно заявили: «По официальному делу!» — и проскользнули внутрь. В подъезде дворца от нас вежливо приняли пальто и шляпы все те же старые швейцары в синих ливреях с медными пуговицами и красными воротниками с золотым позументом. Мы поднялись по лестнице. В темном, мрачном коридоре, где уже не было гобеленов, бесцельно слонялись несколько старых служителей. У двери кабинета Керенского похаживал, кусая усы, молодой офицер. Мы спросили его, можно ли нам будет проинтервьюировать министра-председателя. Он поклонился и щелкнул шпорами.

«К сожалению, нельзя, — ответил он по-французски. — Александр Федорович крайне занят... — Он взглянул на нас. — Собственно, его здесь нет...»

«Где же он?»

«Поехал на фронт. И, знаете, ему не хватило бензина для автомобиля. Пришлось занять в английском госпитале».

«А министры здесь?»

«Да, они заседают в какой-то комнате, не знаю точно».

«Что же, придут большевики?»

«Конечно! Несомненно придут! Я каждую минуту жду телефонного звонка с сообщением, что они идут. Но мы готовы! Дворец охраняется юнкерами. Они вон за той дверью».

«А можно нам пройти туда?»

«Нет, разумеется, нет! Запрещено...» Вдруг он пожал нам руки и ушел. Мы повернулись к заветной двери, устроенной во временной перегородке, разделявшей комнату. Она была заперта с нашей стороны. За стенкой были слышны голоса и чей-то смех, странно звучащий в важной тишине огромного и старинного дворца. К нам подошел старик-швейцар:

«Нельзя, барин, туда нельзя!»

«Почему дверь заперта?»

«Чтоб солдаты не ушли», — ответил он. Через несколько минут он сказал, что хочет выпить стакан чаю, и ушел. Мы открыли дверь. У порога оказалось двое часовых, но они ничего не сказали нам. Коридор упирался в большую,

богато убранную комнату с золотыми карнизами и огромными хрустальными люстрами. Дальше была целая анфилада комнат поменьше, отделанных темным деревом. По обеим сторонам на паркетном полу были разостланы грубые и грязные тюфяки и одеяла, на которых кое-где валялись солдаты. Повсюду груды окурков, куски хлеба, разбросанная одежда и пустые бутылки из-под дорогих французских вин. Вокруг нас собиралось все больше и больше солдат в красных с золотом юнкерских погонах. Душная атмосфера табачного дыма и грязного человеческого тела спирала дыхание. Один из юнкеров держал в руках бутылку белого бургундского вина, очевидно стащенную из дворцовых погребов. Все с изумлением глядели на нас, а мы проходили комнату за комнатой, пока не добрались до анфилады парадных покоев, высокие, но грязные окна которых выходили на площадь. На стенах висели огромные полотна в тяжелых золотых рамах — все исторические и батальные сюжеты: «12 октября 1812 г.», «6 ноября 1812 г.», «16/28 августа 1813 г.». У одной из таких картин был прорван весь правый верхний угол.

Все помещение было превращено в огромную казарму, и, судя по состоянию стен и полов, превращение это совершилось уже несколько недель тому назад. На подоконниках были установлены пулеметы, между тюфяками стояли ружья в козлах.

Мы разглядывали картины, когда на меня вдруг пахнуло слева запахом спирта и чей-то голос заговорил на плохом, но беглом французском языке: «По тому, как вы разглядываете картины, я вижу, что вы иностранцы...» Перед нами был невысокий, одутловатый человек. Когда он приподнял фуражку, мы увидели лысину.

«Американцы? Очень рад!.. Штабс-капитан Владимир Арцыбашев. Весь к вашим услугам...» Казалось, он не видел решительно ничего странного в том, что четверо иностранцев, в том числе одна женщина, расхаживают по месту расположения отряда, ожидающего атаки. Он начал жаловаться на положение дел в России.

«Дело не только в большевиках, — говорил он. — Беда в том, что пропали благородные традиции русской армии. Взгляните кругом: вот это все юнкера, будущие офицеры... Но разве это джентльмены? Керенский открыл военные училища для всех желающих, для каждого солдата, который может выдержать экзамен. Понятно, здесь много, очень много таких, которые заражены революционным духом...»

И вдруг без всякой последовательности заговорил о другом.

«Мне бы очень хотелось уехать из России. Я решил поступить в американскую армию... Не будете ли вы добры помочь мне в этом деле у вашего консула? Я дам вам свой адрес».

Несмотря на наши протесты, он написал несколько слов на клочке бумаги и, кажется, сразу почувствовал себя гораздо веселее. Его записка сохранилась у меня: «2-я Ораниенбаумская школа прапорщиков. Старый Петергоф».

«Сегодня утром у нас был смотр,— продолжал он, водя нас по комнатам и давая разъяснения.— Женский батальон постановил остаться верным правительству».

«Значит, во дворце есть солдаты-женщины?»

«Да, они в задних комнатах. Если что-нибудь случится, они там будут в безопасности.— Он вздохнул.— Какая тяжелая ответственность!»

Мы немного постояли у окна, глядя на Дворцовую площадь, где выстроились три роты юнкеров в длинных серых шинелях. Имн командовал высокий, по виду очень энергичный офицер, в котором я узнал главного военного комиссара Временного правительства Станкевича. Через несколько минут две из этих трех рот с резким стуком взяли на плечо, и их колышущиеся ряды, печатая шаг, пересекли площадь, прошли под красной аркой¹ и скрылись, уходя по направлению к молчаливому городу.

«Пошли брать телефонную станцию!» — сказал чей-то голос. Около нас стояло трое юнкеров. Мы разговорились с ними. Они сказали нам, что они из солдат, и назвали свои имена: Роберт Олев, Алексей Василенко и эстонец Эрни Сакс. Теперь они уже не хотели быть офицерами, потому что офицерство было крайне непопулярно. По-видимому, они попросту не знали, что им делать. Было ясно, что им очень не по себе.

Но скоро они принялись хвастать:

«Пусть большевики только сунутся, мы им покажем, как драться! Они не посмеют напасть на нас, они все трусы... Но если они и задавят нас, ну что ж, каждый оставит последнюю пулю для себя...»

В этот момент где-то неподалеку началась перестрелка. Все люди, какие были на площади, бросились врассыпную. Многие ложились на землю ничком. Извозчики, стоявшие на углах, поскакали во все стороны. Поднялась страшная

¹ Под аркой Главного штаба. — *Ред. издания 1957 года.*

суматоха. Солдаты бегали взад и вперед, хватались за ружья и кричали: «Идут! Идут!» Но через несколько минут всё снова успокоилось. Извозчики вернулись на свои места, люди, лежавшие на земле, встали на ноги. Под красной аркой появились юнкера. Они шли не совсем в ногу, и одного из них поддерживали под руки двое товарищей.

Было уже довольно поздно, когда мы покинули дворец. С площади исчезли все часовые. Огромный полукруг правительственных зданий казался пустынным. Мы зашли пообедать в Отель де Фраис. Только мы принялись за суп, к нам подбежал страшно бледный официант и попросил нас перейти в общий зал, выходявший окнами во двор: в кафе, выходявшем на улицу, было необходимо погасить свет. «Будет большая стрельба!» — сказал он.

Мы снова вышли на Морскую. Было уже совсем темно, только на углу Невского мигал уличный фонарь. Под ним стоял большой броневик. Его мотор был заведен и выбрасывал струю бензинового дыма. Рядом стоял какой-то мальчишка и заглядывал в дуло пулемета. Кругом толпились солдаты и матросы; они, видимо, чего-то ждали. Мы пошли к арке генерального штаба. Кучка солдат смотрела на ярко освещенный Зимний дворец и громко переговаривалась.

«Нет, товарищи, — говорил один из них. — Как мы можем стрелять в них? Ведь там женский батальон! Скажут, что мы расстреливаем русских женщин...»

Когда мы вышли на Невский, из-за угла выкатил еще один бронированный автомобиль. Из его башенки высунулась голова какого-то человека.

«Вперед! — прокричал он. — Пробьемся — и в атаку!»

Подшел шофер другого броневика и закричал, покрывая треск машины:

«Комитет велел ждать! У них за штабелями дров спрятана артиллерия!..»

Здесь трамваи не ходили, прохожие были редки, а света не было вовсе. Но, пройдя всего несколько домов, можно было снова видеть трамвай, толпы людей, ярко освещенные витрины и электрические вывески кинематографов. Жизнь шла своим чередом. У нас были билеты в Мариинский театр, на балет (все театры были открыты). Но на улице было слишком интересно.

Мы наткнулись в темноте на штабели дров, заграждавшие Полицейский мост, а у Строгановского дворца мы видели, как несколько солдат устанавливали трехдюймовки. Другие солдаты, одетые в формы различных частей,

бесцельно слонялись туда и сюда, ведя между собой бесконечные разговоры...

На Невский, казалось, высыпал весь город. На каждом углу стояли огромные толпы, окружавшие яростных спорщиков. Пикеты по двенадцать солдат с винтовками и примкнутыми штыками дежурили на перекрестках, а краснолицые старики в богатых меховых шубах показывали им кулаки, изящно одетые женщины осыпали их бранью. Солдаты отвечали очень неохотно и смущенно улыбались. По улице разъезжали броневики, на которых еще были видны старые названия: «Олег», «Рюрик», «Святослав» — все имена древнерусских князей. Но поверх старых надписей уже краснели огромные буквы «РСДРП» («Российская социал-демократическая рабочая партия»). На Михайловском проспекте появился газетчик. Толпа бешено набросилась на него, предлагая по рублю, по 5, по 10 рублей за номер, вырывая друг у друга газеты. То был «Рабочий и солдат», возвещавший победу пролетарской революции и освобождение арестованных большевиков, призывавший фронтовые и тыловые армейские части к поддержке восстания... В этом лихорадочном номере было всего четыре страницы, напечатанные огромным шрифтом. Новостей не было никаких.

На углу Садовой собралось около двух тысяч граждан. Толпа глядела на крышу высокого дома, где то гасла, то разгоралась маленькая красная искорка.

«Гляди,— говорил высокий крестьянин, указывая на нее,— там провокатор, сейчас он будет стрелять в народ...» По-видимому, никто не хотел пойти узнать, в чем там дело.

Когда мы подошли к Смольному, его массивный фасад сверкал огнями. Со всех улиц к нему подходили новые и новые люди, торопившиеся сквозь мрак и тьму. Подъезжали и отъезжали автомобили и мотоциклы. Огромный серый броневик, над башенкой которого развеялись два красных флага, завывая сиреной, выполз из ворот. Было холодно, и красногвардейцы, охранявшие вход, грелись у костра. У внутренних ворот тоже горел костер, при свете которого часовые медленно прочли наши пропуска и оглядели нас с ног до головы. По обеим сторонам входа стояли пулеметы, со снятыми чехлами, и с их казенных частей, извиваясь, как змеи, свисали патронные ленты. Во дворе, под деревьями сада, стояло много броневиков; их моторы были заведены и работали. Огромные и пустые, плохо освещенные залы гудели от топота тяжелых сапог, криков

и говора... Настроение было решительное. Все лестницы были залиты толпой: тут были рабочие в черных блузах и черных меховых шапках, многие с винтовками через плечо, солдаты в грубых шинелях грязного цвета и в серых меховых папах...

Мы вошли в огромный зал заседания, проталкиваясь сквозь бурлящую толпу, стеснившуюся у дверей. Освещенные огромными белыми люстрами, на скамьях и стульях, в проходах, на подоконниках, даже на краю возвышения для президиума, сидели представители рабочих и солдат всей России. То в тревожной тишине, то в диком шуме ждали они председательского звонка. Помещение не отапливалось, но в нем было жарко от испарений немых человеческих тел. Неприятный синий табачный дым поднимался вверх и висел в спертom воздухе. Время от времени кто-нибудь из руководящих лиц поднимался на трибуну и просил товарищей перестать курить. Тогда все присутствующие, в том числе и сами курящие, поднимали крик: «Товарищи, не курите!» — и курение продолжалось. Делегат от Обуховского завода анархист Петровский усадил меня рядом с собой. Грязный и небритый, он едва держался на ногах от бессонницы: он работал в Военно-революционном комитете трое суток без перерыва.

На возвышении сидели лидеры старого ЦИК, в последний раз доводилось им вести заседание непокорных Советов, которыми они правили с первых дней революции. Теперь Советы восстали против них. Кончился первый период русской революции, который эти люди старались вести на тормозах. Трех крупнейших из них не было в президиуме: не было Керенского, бежавшего на фронт через города и села, уже охваченные волнением; не было старого орла Чхеидзе, с презрением удалившегося в родные грузинские горы и там свалившегося в чахотке; не было и прекрасодушного Церетели, тоже тяжело больного, но впоследствии вернувшегося и истощившего все свое лощеное красноречие на защиту погибшего дела. На трибуне сидели Гоц, Дан, Либер, Богданов, Бройдо, Филипповский — все бледные и негодующие, с ввалившимися глазами. Под ними кипел и бурлил II Всероссийский съезд Советов, а над их головами лихорадочно работал Военно-революционный комитет, державший в руках все нити восстания и наносивший меткие и сильные удары... Было 10 часов 40 минут вечера.

Дан, бесцветный человек с дряблым лицом, в мешковатом мундире военного врача, позвонил в колокольчик. Сра-

зу наступила напряженная тишина, нарушаемая лишь спорами и бранью людей, теснившихся у входа...

«Власть в наших руках»,— печально начал Дан. Он остановился на мгновение и тихо продолжал: «Товарищи, съезд Советов собирается в такой исключительный момент и при таких исключительных обстоятельствах, что вы, я думаю, поймете, почему ЦИК считает излишним открывать настоящее заседание политической речью. Для вас станет это особенно понятным, если вы вспомните, что я являюсь членом президиума ЦИК, а в это время наши партийные товарищи находятся в Зимнем дворце под обстрелом, самоотверженно выполняя свой долг министров, возложенный на них ЦИК (с м у т н ы й ш у м). Объявляю первое заседание II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов открытым».

Президиум избирался среди общего шума и движения. Аванесов заявил, что по соглашению между большевиками, левыми эсерами и меньшевиками-интернационалистами постановлено составить президиум на основе пропорционального представительства. Несколько меньшевиков, громко протестуя, повскакали с мест. «Вспомните,— крикнул им какой-то бородатый солдат,— вспомните, что вы делали с нами, большевиками, когда мы были в меньшинстве!» Результаты выборов: четырнадцать большевиков, семь эсеров, три меньшевика и один интернационалист... Гендельман заявляет от имени правых эсеров и эсеров центра, что они отказываются от участия в президиуме. Хинчук делает такое же заявление от имени меньшевиков. Меньшевики-интернационалисты тоже не могут войти в президиум до выяснения некоторых обстоятельств. Жидкие аплодисменты и крики. Голос с места: «Ренегаты! И вы называете себя социалистами!» Представитель делегатов Украины просит и получает место в президиуме. После этого старый ЦИК покидает трибуны... Весь зал встает, гремя рукоплесканиями. Как высоко взлетели они, эти большевики,— от непризнанной и гонимой секты¹ всего четыре месяца назад и до величайшего положения рулевых великой России, охваченной бурей восстания.

Непрерывный отдаленный гром артиллерийской стрельбы, непрерывные споры делегатов... Так, под пушечный

¹ Джон Рид употребляет здесь слово «секта», желая подчеркнуть, что непосредственно после буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года партия большевиков, только что вышедшая из подполья, еще была сравнительно малочисленной. — *Ред. издания 1957 года.*

гром, в атмосфере мрака и ненависти, дикого страха и беззаветной смелости рождалась новая Россия.

...Хинчук от имени меньшевиков заявляет: единственная возможность мирного выхода состоит в том, чтобы съезд начал переговоры с Временным правительством об образовании нового кабинета, который опирался бы на все слои общества. В течение нескольких минут страшный шум не давал ему говорить. Возвысив голос до крика, он огласил декларацию меньшевиков:

«Поскольку большевики организовали военный заговор, опираясь на Петроградский Совет и не посоветовавшись с другими фракциями и партиями, мы не считаем возможным оставаться на съезде и поэтому покидаем его, приглашая все прочие группы и партии следовать за нами и собраться для обсуждения создавшегося положения».

«Дезертиры!»

Гендельман, ежеминутно прерываемый общим шумом и криком, еле слышным голосом протестует от имени социалистов-революционеров против бомбардировки Зимнего дворца. «Мы не признаем подобной анархии...»

Не успел он замолчать, как на трибуну взбежал молодой солдат с худощавым лицом и горящими глазами. Он драматическим жестом поднял руку.

«Товарищи! — воскликнул он, и наступила тишина. — Моя фамилия Петерсон. Я говорю от имени второго латышского стрелкового полка. Вы выслушали заявление двух представителей армейских комитетов, и эти заявления имели бы какую-нибудь ценность, если бы их авторы являлись действительными представителями армии...» (Бурные аплодисменты.) Они не представляют солдат...» Оратор потрясает кулаком. «XII армия давно настаивает на переизбрании Совета и Искосола¹, но наш комитет точно так же, как и ваш ЦИК, отказался созывать представителей масс до конца (середины) сентября, так что эти реакционеры смогли послать на настоящий съезд своих лжеделегатов. А я вам говорю, что латышские стрелки уже неоднократно заявляли: «Больше ни одной резолюции! Довольно слов! Нужны дела. Мы должны взять власть в свои руки!» Пусть эти самозванные делегаты уходят! Армия не с ними!»

Зал разразился бурей рукоплесканий. В первые минуты заседания делегаты, ошеломленные стремительностью со-

¹ Искосол — исполнительный комитет солдат латышских частей XII армии. — *Ред. издания 1957 года.*

бытий, оглушенные пушечной пальбой, заколебались. В течение целого часа с этой трибуны на них раз за разом падали удары молота, сбивая их в единую массу, но в то же время подавляя. Не останутся ли они в одиночестве? Не поднимется ли против них Россия? Верно ли, что на Петроград уже идут войска? Но заговорил этот светлоглазый молодой солдат, и все сразу поняли, что в его словах, сверкнувших, как молния, была правда... *Его голос был голосом солдат* — миллионов одетых в шинели рабочих и крестьян, охваченных тем же порывом, теми же мыслями и чувствами, как и сами они, делегаты...

Рязанов сообщил от имени большевиков, что Военно-революционный комитет по просьбе городской думы отправил делегацию для переговоров с Зимним дворцом. «Таким образом, мы сделали все возможное, чтобы предупредить кровопролитие...»

Нам было пора уходить отсюда. На минутку мы задержались в комнате, где, принимая и отправляя запыхавшихся связных, рассылая по всем уголкам города комиссаров, облеченных правом жизни и смерти, лихорадочно работал Военно-революционный комитет. Бесперывно жужжали полевые телефоны. Когда дверь открылась, навстречу нам пахнул спертый, прокуренный воздух, и мы разглядели взъерошенных людей, склоненных над картой, залитой ярким светом электрической лампы с абажуром... Товарищ Йозефов-Духвинский, улыбающийся юноша с целой копной бледно-желтых волос, выдал нам пропуска.

Мы вышли в холодную ночь. Перед Смольным огромное скопление подъезжающих и уезжающих автомобилей. Сквозь их шум были слышны глухие раскаты отдаленной канонады. Огромный грузовик весь трясся от работы мотора. Какие-то люди подавали на него связки печатных листов, а другие принимали и укладывали их, держа под рукой винтовки.

«Куда вы поедете?» — спросил я.

«По всему городу!» — ответил мне, улыбаясь, маленький рабочий. Он широко и восторженно взмахнул рукой.

Мы показали свои удостоверения. «Едемте с нами! — пригласили нас. — Но, возможно, в нас будут стрелять...» Мы вскарабкались на грузовик. С резким скрежетом сдвинулся рычаг сцепления, огромная машина рванулась вперед, и мы все попадали назад, придавливая людей, еще взбиравшихся на наш грузовик. Промчавшись мимо костров у внутренних и внешних ворот, освещавших красным светом сгрудившихся у огня рабочих с винтовками, маши-

на, подпрыгивая и мотаясь из стороны в сторону, вылетела на Суворовский проспект. Один из наших спутников сорвал обертку с одной связки и принялся пачками разбрасывать в воздух какие-то листки. Мы стали помогать ему. Так неслись мы по темным улицам, оставляя целый хвост разлетающихся белых бумажек. Запоздалые прохожие останавливались и подбирали их. На перекрестках патрули оставляли свои костры и, подняв руки, ловили листки. Иногда навстречу нам выскакивали вооруженные люди. Они вскидывали винтовки и кричали: «Стой!» Но наш шофер кидал несколько непонятных слов, и мы мчались дальше. Я взял одно из воззваний и, пользуясь редкими уличными фонарями, кое-как разобрал:

«К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!»

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ПЕТРОГРАДСКОМ СОВЕТЕ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ».

Мой сосед, косоглазый, монгольского типа человек в кавказской папахе из козьего меха, проговорил: «Смотрите! Провокаторы всегда стреляют из окон!..» Мы завернули на темную и почти пустую Знаменскую площадь, обогнули нелепый памятник работы Трубецкого¹ и вылетели на широкий Невский, причем трое из нас стояли с ружьями наготове, приглядываясь к окнам. Улица была очень оживлена. Толпы народа, пригибаясь, бежали в разные стороны. Пушек мы больше не слышали, и, чем ближе мы подвигались к Зимнему дворцу, тем тише и пустынное становились улицы. Городская дума сверкала всеми окнами.

¹ Имеется в виду памятник Александру III. — *Ред. издания 1957 года.*

Дальше виднелась густая масса народа и цепь моряков, которые яростно кричали, требуя, чтобы мы остановились. Машина замедлила ход, и мы соскочили на мостовую.

То было изумительное зрелище. Как раз на углу Екатерининского канала под уличным фонарем цепь вооруженных матросов перегораживала Невский, преграждая дорогу толпе людей, построенных по четыре в ряд. Здесь было триста-четыре человека: мужчины в хороших пальто, изящно одетые женщины, офицеры — самая разнообразная публика. Среди них мы узнали многих делегатов съезда, меньшевистских и эсеровских вождей. Здесь был и худощавый рыжебородый председатель исполнительного комитета крестьянских Советов Авксентьев, и сподвижник Керенского Сорокин, и Хинчук, и Абрамович, а впереди всех — седобородый петроградский городской голова старый Шрейдер и министр продовольствия Временного правительства Прокопович, арестованный в это утро и уже выпущенный на свободу. Я увидел и репортера газеты «Рашн Дейли ньюс»¹ Малкина. «Идем умирать в Зимний дворец!» — восторженно кричал он. Процессия стояла неподвижно, но из ее передних рядов неслись громкие крики. Шрейдер и Прокопович спорили с огромным матросом, который, казалось, командовал цепью.

«Мы требуем, чтобы нас пропустили! — кричали они. — Вот эти товарищи пришли со съезда Советов! Смотрите, вот их мандаты! Мы идем в Зимний дворец!..»

Матрос был явно озадачен. Он хмуро чесал своей огромной рукой в затылке. «У меня приказ от комитета — никого не пускать во дворец, — бормотал он. — Но я сейчас пошлю товарища позвонить в Смольный...»

«Мы настаиваем, пропустите! У нас нет оружия! Пусть вы нас или нет, мы все равно пойдем!» — в сильном волнении кричал старик Шрейдер.

«У меня приказ...» — угрюмо твердил матрос.

«Стреляйте, если хотите! Мы пойдем! Вперед! — несло со всех сторон. — Если вы настолько бессердечны, чтобы стрелять в русских и товарищей, то мы готовы умереть! Мы открываем грудь перед вашими пулеметами!»

«Нет, — заявил матрос с упрямым взглядом. — Не могу вас пропустить».

«А что вы сделаете, если мы пойдем? Стрелять будете?»

«Нет, стрелять в безоружных я не стану. Мы не можем стрелять в безоружных русских людей...»

¹ «Русские ежедневные новости» — газета, выходившая в 1917 году в Петрограде на английском языке. — *Ред. издания 1957 года.*

«Мы идем! Что вы можете сделать?»

«Что-нибудь да сделаем,— отвечал матрос, явно поставленный в тупик.— Не можем мы вас пропустить! Что-нибудь да сделаем...»

«Что вы сделаете? Что сделаете?»

Тут появился другой матрос, очень раздраженный. «Мы вас прикладами! — решительно вскрикнул он.— А если понадобится, будем и стрелять. Ступайте домой, оставьте нас в покое!»

Раздались дикие вопли гнева и негодования. Прокопович влез на какой-то ящик и, размахивая зонтиком, стал произносить речь.

«Товарищи и граждане! — сказал он.— Против нас применяют грубую силу! Мы не можем допустить, чтобы руки этих темных людей были запятнаны нашей невинной кровью! Быть расстрелянными этими стрелочниками — ниже нашего достоинства. (Что он понимал под словом «стрелочники», я так и не понял). Вернемся в думу и займемся обсуждением наилучших путей спасения страны и революции!»

После этого толпа в строгом молчании повернулась и двинулась вверх по Невскому все еще по четверо в ряд. Мы воспользовались замешательством, проскользнули мимо цепи и направились к Зимнему дворцу.

Здесь была абсолютная тьма. Никакого движения, встречались только солдатские и красногвардейские патрули, находившиеся в состоянии крайнего напряжения. Напротив Казанского собора стояла среди улицы полевая трехдюймовка, несколько сбита набок отдачи от последнего выстрела, направленного поперек крыш домов. У всех дверей стояли солдаты. Они потихоньку переговаривались, поглядывая в сторону Полицейского моста. Я разобрал слова: «Может быть, мы допустили ошибку...» На всех углах проходящих останавливали патрули. Характерным был состав этих патрулей: солдатами повсюду командовали красногвардейцы... Стрельба прекратилась.

В тот момент, как мы выходили на Морскую, кто-то крикнул: «Юнкера послали сказать, что они ждут, чтобы мы пошли и выгнали их!» Послышались слова команды, и в глубоком мраке мы рассмотрели темную массу, двигавшуюся вперед в молчании, нарушаемом только топотом ног и стуком оружия. Мы присоединились к первым рядам.

Подобно черной реке, заливающей всю улицу, без песен и криков прокатились мы под красной аркой. Человек, шедший передо мной, тихо сказал: «Ох, смотрите, товарищи»

ши, не верьте им! Они наверняка начнут стрелять...» Выйдя на площадь, мы побежали, низко нагибаясь и прижимаясь друг к другу. Так бежали мы, пока внезапно не наткнулись на пьедестал Александровской колонны.

«А много ваших убито?» — спросил я.

«Не знаю, верно, человек десять...»

Простояв здесь несколько минут, отряд, насчитывавший несколько сот человек, ободрился и вдруг без всякого приказа снова кинулся вперед. В это время при ярком свете, падавшем из всех окон Зимнего дворца, я заметил, что передовые двести-триста человек были все красногвардейцы. Солдат среди них попадалось очень мало. Мы вскарабкались на баррикады, сложенные из дров, и, прыгнув вниз, разразились восторженными криками: под нашими ногами оказались груды винтовок, брошенных юнкерами. Двери подъездов по обе стороны главных ворот были распахнуты настежь. Оттуда лился свет, но из огромного здания не доносилось ни звука.

Увлеченные бурной человеческой волной, мы вбежали во дворец через правый подъезд, выходящий в огромную и пустую сводчатую комнату — подвал восточного крыла, откуда расходился лабиринт коридоров и лестниц. Здесь стояло множество ящиков. Красногвардейцы и солдаты набросились на них с яростью, разбивая их прикладами и вытаскивая наружу ковры, гардины, белье, фарфоровую и стеклянную посуду. Кто-то взвалил на плечо бронзовые часы. Кто-то другой нашел страусовое перо и воткнул его в свою шапку. Но как только начался грабеж, кто-то закричал: «Товарищи! Ничего не трогайте! Не берите ничего! Это народное достояние!» Его сразу поддержало не меньше двадцати голосов: «Стой! Клади все назад! Ничего не брать! Народное достояние!» Десятки рук протянулись к расхитителям. У них отняли парчу и гобелены. Двое людей отобрали бронзовые часы. Вещи поспешно, кое-как сваливались обратно в ящики, у которых самочинно встали часовые. Все это делалось совершенно стихийно. По коридорам и лестницам все глуше и глуше были слышны замирающие в отдалении крики: «Революционная дисциплина! Народное достояние!»

Мы пошли к левому входу, то есть к западному крылу дворца. Здесь тоже уже был восстановлен порядок. «Очистить дворец! — кричали красногвардейцы, высовываясь из внутренних дверей. — Идемте, товарищи, пусть все знают, что мы не воры и не бандиты! Все вон из дворца, кроме комиссаров! Поставить часовых!..»

Двое красногвардейцев — солдат и офицер — стояли с револьверами в руках. Позади них за столом сидел другой солдат, вооруженный пером и бумагой. Отовсюду раздавались крики: «Всех вон! Всех вон!», и вся армия начала выходить из дверей, толкаясь, жалуясь и споря. Самочинный комитет останавливал каждого выходящего, выворачивал карманы и ощупывал одежду. Всё, что явно не могло быть собственностью обыскиваемого, отбиралось, причем солдат, сидевший за столом, записывал отобранные вещи, а другие сносили их в соседнюю комнату. Здесь были конфискованы самые разнообразные предметы: статуэтки, бутылки чернил, простыни с императорскими монограммами, подсвечники, миниатюры, писанные масляными красками, пресс-папье, шпаги с золотыми рукоятками, куски мыла, всевозможное платье, одеяла. Один красногвардеец притащил три винтовки и заявил, что две из них он отобрал у юнкеров. Другой принес четыре портфеля, набитых документами. Виновные либо мрачно молчали, либо оправдывались, как дети. Члены комитета в один голос объясняли, что воровство недостойно народных бойцов. Многие из обличенных сами помогали обыскивать остальных товарищей...

Стали появляться юнкера кучками по три, по четыре человека. Комитет набросился на них с особым усердием, сопровождая обыск восклицаниями: «Провокаторы! Корниловцы! Контрреволюционеры! Палачи народа!» Хотя никаких насилий произведено не было, юнкера казались очень испуганными. Их карманы тоже были полны награбленных вещей. Комитет тщательно записал все эти вещи и отправил их в соседнюю комнату... Юнкеров обезоружили. «Ну что, будете еще подымать оружие против народа?» — спрашивали громкие голоса.

«Нет!» — отвечали юнкера один за другим. После этого их отпустили на свободу.

Мы спросили, можно ли нам пройти во внутренние комнаты. Комитет колебался, но какой-то внушительного роста красногвардеец заявил, что это воспрещено. «И вообще кто вы такие? — сказал он. — Почему я знаю, что вы все не от Керенского?» (Нас было пятеро, в том числе две женщины).

«Пожалуйста, товарищи! Дорогу, товарищи!» В дверях появились солдат и красногвардеец, раздвигая толпу и расчищая дорогу, и позади них еще несколько рабочих, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. За ними гуськом шло с полдюжины штатских, то были члены

Временного правительства. Впереди шел Кишкин, бледный, с вытянутым лицом; дальше Рутенберг, мрачно глядевший себе под ноги; Терещенко, сердито посматривавший по сторонам. Его холодный взгляд задержался на нашей группе... Они проходили молча. Победители сдвигались поглядеть на них, но негодующих выкриков было очень мало. Позже мы узнали, что на улице народ хотел расправиться с арестованными самосудом и что даже были выстрелы, но солдаты благополучно доставили их в Петропавловскую крепость...

Между тем мы беспрепятственно прошли внутрь дворца. Множество людей проходило и уходило, обыскивая все новые комнаты огромного здания, ища спрятанных юнкеров, которых на самом деле вовсе не было. Мы поднялись вверх по лестнице и стали обходить комнату за комнатой. Эта часть дворца была занята другим отрядом, наступавшим со стороны Невы. Картины, статуи, занавеси и ковры огромных парадных апартаментов были не тронуты. В деловых помещениях, наоборот, все письменные столы и бюро были перерыты, по полу валялись разбросанные бумаги. Жилые комнаты тоже были обысканы, с кроватей были сорваны покрывала, гардеробы открыты настежь. Самой ценной добычей считалось платье, в котором так нуждался рабочий народ. В одной комнате, где помещалось много мебели, мы застали двух солдат, срывающих с кресел тисненую испанскую кожу. Они сказали нам, что хотят сшить из нее сапоги...

Старые дворцовые служители в своих синих ливреях с красной и золотой отделкой стояли тут же, нервно повторяя по старой привычке: «Сюда, барин, нельзя... воспрещается...» Наконец мы попали в малахитовую комнату с золотой отделкой и красными парчовыми портьерами, где весь последний день и ночь шло непрерывное заседание совета министров и куда дорогу красногвардейцам показали швейцары. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, оставался в том же положении, что и перед самым арестом правительства. Перед каждым пустым стулом на этом столе находились чернильница, бумага и перо. Листы бумаги были исписаны отрывками планов действия, черновыми набросками воззваний и манифестов. Почти все это было зачеркнуто, как будто сами авторы постепенно убеждались во всей безнадежности своих планов... На свободном месте видны были бессмысленные геометрические чертежи. Казалось, заседавшие машинально чертили их, безнадежно слушая, как выступавшие предлагали все

новые и новые химерические проекты. Я взял на память один из этих листков. Он исписан рукой Коновалова. «Временное правительство,— прочел я,— обращается ко всем классам населения с предложенным поддержать Временное правительство...»

Надо заметить, что хотя Зимний дворец и был окружен, однако Временное правительство ни на минуту не теряло сообщения с фронтом и провинциальными центрами. Большевики захватили военное министерство еще утром, но они не знали, что на чердачном этаже находится телеграф, не знали и того, что здание министерства связано секретным проводом с Зимним дворцом. А между тем на чердаке весь день сидел молодой офицер и рассылал по всей стране целый поток призывов и прокламаций. Узнав же, что Зимний дворец пал, он надел фуражку и спокойно покинул здание...

Мы так увлеклись окружающим, что совершенно не обращали внимания на солдат и красногвардейцев, а между тем их поведение как-то странно изменилось. Небольшая группа уже давно ходила за нами из комнаты в комнату. Наконец, когда мы пришли в огромную картинную галерею, в которой мы еще днем разговаривали с юнкерами, вокруг нас столпилось около сотни человек. Перед нами стоял огромный солдат. Лицо его было мрачно и выражало подозрительность.

«Кто вы такие? — крикнул он. — Что вы здесь делаете?» Вокруг нас собиралось все больше людей. Нас пристально разглядывали. Начался ропот. До меня донеслось: «Провокаторы!», «Громилы!». Я показал наши удостоверения, выданные Военно-революционным комитетом. Солдат схватил их, перевернул вверх ногами и уставился на них непонимающим взглядом. Он явно не умел читать. Подержавши документы, он вернул их мне и сплюнул на пол. «*Бумаги!*» — презрительно проговорил он. Толпа стала все теснее сжиматься вокруг нас, как дикие лошади смыкаются вокруг пешего ковбоя. Я заметил вдали офицера, глядевшего очень беспомощно, и окликнул его. Он стал проталкиваться к нам.

«Я комиссар,— сказал он мне. — Кто вы такие, в чем дело?»

Толпа отодвинулась и заняла выжидательное положение. Я снова показал бумаги.

«Вы иностранцы? — быстро спросил офицер по-французски. — Плохо дело... — Он повернулся к толпе и замахал в воздухе нашими документами. — Товарищи, — закричал

он, — эти люди наши иностранные товарищи, американцы! Они явились сюда, чтобы после рассказать своим землякам о храбрости и революционной дисциплине пролетарской армии!..»

«А вы почему знаете? — ответил высокий солдат. — Говорю вам, это провокаторы. Говорят, что пришли сюда смотреть на революционную дисциплину пролетарской армии, а сами расхаживают по всему дворцу. Почему мы знаем, что они тут не награбили полные карманы?»

«Правильно!» — закричала толпа, надвигаясь на нас.

На лбу офицера выступил пот. «Товарищи, товарищи! — воскликнул он. — Я комиссар Военно-революционного комитета. Ведь мне вы верите? Так вот я вам говорю, что эти мандаты подписаны теми же именами, что и мой собственный!»

Он провел нас по дворцу и открыл перед нами дверь, выходящую на набережную Невы. Перед этой дверью находился все тот же комитет, обыскивавший карманы.

«Ну, счастливо вы отделались», — прошептал он, утирая лицо.

«А что с женским батальоном?» — спросили мы.

«Ах, эти женщины!.. — он улыбнулся. — Они все забились в задние комнаты. Нелегко нам пришлось, пока мы решили, что с ними делать: сплошная истерика и т.д. ... В конце концов мы отправили их на Финляндский вокзал и посадили в поезд на Левашево: там у них лагерь...»

И мы снова вышли в холодную беспокойную ночь, полную приглушенного гула неведомых движущихся армий, наэлектризованную патрулями. Из-за реки, где смутно чернела огромная масса Петропавловской крепости, доносились хриплые возгласы... Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с «Авроры». Других повреждений бомбардировка не причинила.

Был четвертый час утра. На Невском снова горели все фонари, пушку уже убрали, и единственным признаком военных действий были красногвардейцы и солдаты, толпившиеся вокруг костров. Город был спокоен, быть может, спокойнее, чем когда бы то ни было. За эту ночь не случилось ни одного грабежа, ни одного налета.

Здание городской думы было освещено сверху донизу. Мы вошли в Александровский зал, окруженный галереями и увешанный затянутыми красной материей царскими портретами в тяжелых золотых рамах. Вокруг трибуны столпилось около ста человек. Говорил Скобелев. Он

настаивал на том, чтобы Комитет общественной безопасности был расширен с целью объединить все антибольшевистские элементы в одну организацию — Комитет спасения родины и революции. Пока мы находились в зале, комитет был сформирован. Это был тот самый комитет, который впоследствии стал самым могущественным врагом большевиков, выступая на протяжении последующей недели то под собственным именем, то в качестве строго непартийного Комитета общественной безопасности.

Здесь были Дан, Гоц, Авксентьев, несколько отколовшихся делегатов съезда, члены исполкома крестьянских Советов, старик Прокопович и даже члены Совета республики, в том числе Винавер и другие кадеты. Либер кричал, что съезд Советов незаконен, что старый ЦИК еще сохраняет свои полномочия... Тут же набрасывалось воззвание к стране.

Мы вышли и подозвали извозчика. «Куда ехать?» Когда мы сказали «в Смольный», извозчик отрицательно затряс головой. «Нет! — заявил он. — Там эти черти...» Только после долгого и утомительного блуждания удалось нам найти извозчика, который согласился довезти нас. Но он потребовал тридцать рублей и остановился за два квартала до Смольного.

Окна института все еще сверкали огнями. Подъезжали и отъезжали автомобили. Вокруг костров, продолжавших гореть ярким пламенем, толпилась стража, жадно выпрашивавшая у всех последние новости. Коридоры были переполнены куда-то спешащими людьми, с глубоко запавшими глазами. В некоторых комитетских комнатах люди спали на полу. Около каждого лежала его винтовка. Несмотря на уход отколовшихся делегатов, зал заседания был набит народом и шумел, как море...

На трибуну взошел задыхающийся, покрытый дорожной грязью комиссар из Царского Села. «Царскосельский гарнизон стоит на подступах к Петрограду, в полной готовности защищать съезд Советов и Военно-революционный комитет!» Грохот рукоплесканий. «Корпус самокатчиков, присланный с фронта, прибыл в Царское и перешел на нашу сторону. Он признает власть Советов, признает необходимость немедленной передачи земли крестьянам и контроля над производством — рабочим. Пятый батальон самокатчиков, расположенный в Царском, наш...»

Выступил делегат от третьего батальона самокатчиков. Под необузданные взрывы восторга он рассказал, как корпус самокатчиков всего три дня назад получил приказ дви-

нуться с Юго-западного фронта на «защиту Петрограда». Однако солдаты заподозрили, что смысл приказа несколько иной. На станции Передольск они были встречены представителями пятого батальона из Царского. Собрался соединенный митинг, и оказалось, что «среди самокатчиков нет никого, кто согласился бы проливать братскую кровь или поддерживать правительство помещиков и капиталистов».

Капелинский предложил от имени меньшевиков-интернационалистов создать особую комиссию для изыскания мирного выхода и предупреждения гражданской войны. «Нет никакого мирного выхода! — гремел весь зал. — Единственный выход — победа!» Предложение было отвергнуто подавляющим большинством, и меньшевики-интернационалисты под градом насмешек и оскорблений покинули съезд. Собрание решило не считаться с уходом ряда фракций и заслушало воззвание к рабочим, солдатам и крестьянам всей России:

«РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!

Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся. На нем представлено громадное большинство Советов. На съезде присутствует и ряд делегатов от крестьянских Советов... Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.

Временное правительство низложено. Большинство членов Временного правительства уже арестовано.

Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв Учредительного собрания, озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение.

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок.

Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд Советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира, который оно непосредственно предложит всем народам. Новое правительство примет все меры к тому, чтобы обеспечить революционную армию всем необходимым путем решительной политики реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит положение солдатских семей.

Корниловцы — Керенский, Каледин и др. — делают попытки вести войска на Петроград. Несколько отрядов, обманным путем двинутых Керенским, перешли на сторону восставшего народа.

СОЛДАТЫ, ОКАЖИТЕ АКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРНИЛОВЦУ КЕРЕНСКОМУ! БУДЬТЕ НАСТОРОЖЕ!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ВСЕ ЭШЕЛОНЫ, ПОСЫЛАЕМЫЕ КЕРЕНСКИМ НА ПЕТРОГРАД!

СОЛДАТЫ, РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, В ВАШИХ РУКАХ СУДЬБА РЕВОЛЮЦИИ И СУДЬБА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!

*Всероссийский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов
Делегаты от крестьянских Советов»¹*

Было ровно 5 часов 17 минут утра, когда Крыленко, шатаясь от усталости, поднялся на трибуну и показал собранию какую-то телеграмму.

«Товарищи с Северного фронта! XII армия приветствует съезд Советов и сообщает о создании Военно-революционного комитета, который взял на себя командование Северным фронтом!..»

Началось нечто совершенно неопишное. Люди плакали и обнимали друг друга. «Генерал Черемисов признал

¹ Подпись «Делегаты от крестьянских Советов» была внесена после соответствующего заявления представителей от крестьян. — *Ред. издания 1957 года.*

комитет. Комиссар Временного правительства Войтинский подал в отставку!»

Свершилось...

Ленин и петроградские рабочие решили — быть восстанию, Петроградский Совет низверг Временное правительство и поставил съезд Советов перед фактом государственного переворота. Теперь нужно было завоевать на свою сторону всю огромную Россию, а потом и весь мир. Откликнется ли Россия, восстанет ли она? А мир, что скажет мир? Откликнутся ли народы на призыв России, подымется ли мировой красный прилив?

Было шесть часов. Стояла тяжелая холодная ночь. Только слабый и бледный, как неземной, свет робко крался по молчаливым улицам, заставляя тускнеть сторожевые огни. Тень грозного рассвета вставала над Россией.

Неудержимо вперед!

Четверг, 8 ноября (26 октября). Утро застало город в неистовом возбуждении. Целый народ поднимался среди рокота бури. На поверхности все было спокойно. Сотни тысяч людей легли спать в обычное время, рано встали и отправились на работу. В Петрограде ходили трамваи, магазины и рестораны были открыты, театры работали, выставки картин собирали публику... Сложная рутинная повседневная жизнь, не нарушенная и в условиях войны, шла своим чередом. Ничто не может быть более удивительным, чем жизнеспособность общественного организма, который продолжает все свои дела, кормится, одевается, забавляется даже во время величайших бедствий...

...Ни в комнате ЦИК, ни в бюро Петроградского Совета не оказалось никого. Мы обошли весь Смольный.казалось, никто не имел понятия о том, где находятся руководители съезда. По дороге мой спутник рассказывал мне о своей прежней революционной деятельности, о том, как ему пришлось бежать из России и с каким удовольствием он довольно долго прожил во Франции... Большевик этот человек считал грубыми, пошлыми и невежественными людьми, без всякого эстетического чутья. Он был очень типичным экземпляром русского интеллигента... Наконец мы дошли до комнаты №17, где помещался Военно-революционный комитет, и остановились перед его дверью. Мимо нас беспрерывно сновали люди... Дверь открылась, и из комнаты вышел коренастый, широколицый человек в воен-

ной форме без погон. Казалось, он улыбался, но, присмотревшись, можно было догадаться, что его улыбка — это просто гримаса бесконечной усталости. То был Крыленко.

Мой спутник, изящный молодой человек очень культурного вида, радостно вскрикнул и шагнул вперед.

«Николай Васильевич! — воскликнул он, протягивая руку. — Разве вы забыли меня? Мы с вами вместе сидели в тюрьме».

Крыленко сделал над собою усилие, сосредоточился и вгляделся. «Ах, да, — ответил он наконец, глядя на собеседника с самым дружеским выражением. — Вы С... Здравствуйте!» Они поцеловались. «Ну, что вы здесь делаете?» — И Крыленко сделал рукой широкий жест.

«О, я только наблюдаю... Вы, кажется, пользуетесь большим успехом?»

«Да, — ответил Крыленко несколько упрямым тоном. — Пролетарская революция — это большой успех! — Он улыбнулся. — Впрочем... впрочем, может быть, мы снова встретимся с вами в тюрьме!..»

Мы пошли по коридору, и мой приятель принялся разъяснять мне положение: «Видите ли, я последователь Кропоткина. С нашей точки зрения, революция закончилась огромной неудачей: она не подняла патриотизма масс. Конечно, это доказывает только то, что наш народ еще не созрел для революции...»

Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании пронизательной гибкости и дерзновенной смелости ума.

Каменев читал отчет о действиях Военно-революционного комитета: отмена смертной казни в армии, восстановление свободы агитации, освобождение солдат и офицеров, арестованных за политические преступления, приказы об аресте Керенского и о конфискации запасов продовольствия на частных складах... Бурные аплодисменты...

Выступили и другие ораторы, по-видимому получившие слово без предварительной записи. Делегат от донецких углекопов призывал съезд принять меры против Каледина, который мог отрезать столицу от угля и хлеба. Несколько солдат, только что прибывших с фронта, передали собранию восторженное приветствие от своих полков.

Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимому не замечая нарастающую оvation, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал:

«Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури.

«Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира... Мы должны предложить народам всех воюющих стран мир на основе советских условий: без аннексий, без контрибуций, на основе свободного самоопределения народностей. Одновременно с этим мы, согласно нашему обещанию, обязаны опубликовать тайные договоры и отказаться от их соблюдения... Вопрос о войне и мире настолько ясен, что, кажется, я могу без всяких предисловий огласить проект воззвания к народам всех воюющих стран...»

Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь; голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно бы приобретенной многолетней привычкой к выступлениям — и звучал так ровно, что, казалось, он мог бы звучать без конца... Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонялся вперед. Никакой жестикюляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания.

«ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ ВОЮЮЩИХ СТРАН

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем

воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран,— миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии,— таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (то есть без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.

Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги, впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций.

Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это насильственное присоединение совершенно, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет

Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насилем, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию,— все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета,— не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, то есть захватом и насилем.

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, прекра-

щающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъятия народностей условиях.

Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультимативными, то есть соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира.

Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, правительство объявляет безусловно и немедленно отмененным.

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать немедленно открытые переговоры о заключении мира, правительство выражает с своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством письменных сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между представителями разных стран или на конференции таковых представителей. Для облегчения таких переговоров правительство назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны.

Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие, причем со своей стороны считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше как на 3 месяца, то есть на такой срок, в течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих стран, временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в

особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие образцы чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значение, совершенных французским пролетариатом, наконец, в героической борьбе против исключительного закона в Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной дисциплинированной работе создания массовых пролетарских организаций Германии. Все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней, решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации».

Когда затих гром аплодисментов, Ленин заговорил снова:

«Мы предлагаем съезду принять и утвердить это звание. Мы обращаемся не только к народам, но и к правительствам, потому что обращение к одним *народам* воюющих стран могло бы затянуть заключение мира. Условия мира будут выработаны за время перемирия и ратифицированы Учредительным собранием. Устанавливая срок перемирия в три месяца, мы хотим дать народам возможно долгий отдых от кровавой бойни и достаточно времени для выбора представителей. Некоторые империалистические правительства будут сопротивляться нашим мирным предложениям, мы вовсе не обманываем себя на этот счет. Но мы надеемся, что скоро во всех воюющих странах разразится революция, и именно поэтому с особой настойчивостью обращаемся к французским, английским и немецким рабочим...»

«Революция 24—25 октября,— закончил он,— открывает собою эру социалистической революции... Рабочее движение во имя мира и социализма добьется победы и исполнит свое назначение...»

От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин. -

Было внесено и открытым голосованием немедленно принято предложение предоставить слово только представителям фракций и ограничить время ораторов 15 минутами.

Первым выступил Карелин от имени левых эсеров: «Наша фракция не имела возможности предложить поправки к тексту обращения, поэтому оно исходит от одних большевиков. Но мы все-таки будем голосовать за него, потому что вполне сочувствуем его общему направлению...»

От социал-демократов интернационалистов говорил Кмаров, длинный, узкоплечий и близорукий человек, которому суждено было стяжать не вполне лестную известность шута оппозиции. Только правительство, составленное из представителей всех социалистических партий, заявил он, может обладать достаточным авторитетом, чтобы решаться на столь важное выступление. Если такая социалистическая коалиция образуется, то наша фракция поддержит всю программу, если же нет, то она поддержит ее только частично. Что до обращения, то интернационалисты всецело присоединяются к его основным пунктам...

После этого в атмосфере растущего воодушевления выступали один за другим ораторы. За обращение высказались представители Украинской социал-демократии, Литовской социал-демократии, народных социалистов, Польской и Латышской социал-демократии. Польская социалистическая партия тоже высказалась за воззвание, но оговорила, что она предпочла бы социалистическую коалицию... Что-то пробудилось во всех этих людях. Один говорил о «грядущей мировой революции, авангардом которой мы являемся», другой — о «новом веке братства, который объединит все народы в единую великую семью...». Какой-то делегат заявил от своего собственного имени: «Здесь какое-то противоречие. Сначала вы предлагаете мир без аннексий и контрибуций, а потом говорите, что рассмотрите все мирные предложения. Рассмотреть — значит принять...»

Ленин сейчас же вскочил с места: «Мы хотим справедливого мира, но не боимся революционной войны... По всей вероятности, империалистические правительства не ответят на наш призыв, но мы не должны ставить им ультиматум, на который слишком легко ответить отказом... Если германский пролетариат увидит, что мы готовы рассмотреть любое мирное предложение, то это, быть может, явится

той последней каплей, которая переполняет чашу, и в Германии разразится революция...

Мы согласны рассмотреть любые условия мира, но это вовсе не значит, что мы согласны принять их. За некоторые из наших условий мы будем бороться до конца, но очень возможно, что среди них найдутся и такие, ради которых мы не сочтем необходимым продолжать войну... Но главное — мы хотим покончить с войной...»

Было ровно 10 часов 35 минут, когда Каменев предложил всем, кто голосует за обращение, поднять свои мандаты. Один из делегатов попробовал было поднять руку против, но вокруг него разразился такой взрыв негодования, что он поспешно опустил руку... Принято единогласно.

Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на ноги, и наше единодушие вылилось в стройном, волнуемом звучании «Интернационала». Какой-то старый, седеющий солдат плакал, как ребенок. Александра Коллонтай потихоньку смахнула слезу. Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо. «Конец войне! Конец войне!» А когда кончили петь «Интернационал» и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей-то голос крикнул из задних рядов: «Товарищ, вспомним тех, кто погиб за свободу!» И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песню, глубоко русскую и бесконечно трогательную. Ведь «Интернационал» — это все-таки напев, созданный в другой стране. Похоронный марш обнажает всю душу тех забитых масс, делегаты которых заседали в этом зале, строя из своих смутных прозрений новую Россию, а может быть, и нечто большее...

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали всё, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.

Настанет пора, и проснется народ,
Великий, могучий, свободный.
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный!

Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики Мартовской революции, во имя этого тысячи, десятки тысяч погнбли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть всё свершилось не

так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но все-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно...

Ленин оглашал Декрет о земле:

«1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания.

3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.

4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград, № 88, 19 августа 1917 г.).

5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются».

«Это, — добавил Ленин, — не проект бывшего министра Чернова, который говорил, что надо «строить леса», и пытался провести реформу сверху. Вопрос о переделе земли будет разрешен снизу, на местах. Крестьянский надел будет варьироваться в зависимости от местности...

При Временном правительстве помещики наотрез отказывались слушаться приказаний земельных комитетов, — тех самых земельных комитетов, которые были задуманы Львовым, проведены в жизнь Шингаревым и управлялись Керенским!»...

Революционный фронт

...Когда мы вышли из Смольного и очутились на темной и мрачной улице, со всех сторон неслись фабричные гудки, резкие, нервные, полные тревоги. Рабочий народ — мужчины и женщины — выходил на улицу десятками тысяч. Гудящие предместья выбрасывали наружу свои обтрепанные толпы. Красный Петроград в опасности! Казаки!.. Мужчины, женщины и подростки с ружьями, ломami, заступами, мотками проволоки, патронташами поверх своей рабочей одежды тянулись по грязным улицам к югу и юго-западу, к Московской заставе... Город никогда не видал такого огромного и стихийного людского потока. Люди катились, как река, попеременно с солдатскими ротами, пушками, грузовиками, повозками. Революционный пролетариат шел грудью на защиту столицы рабочей и крестьянской республики!

Перед дверью Смольного стоял автомобиль. К его крылу прислонился худой человек в толстых очках, под которыми его покрасневшие глаза казались еще больше. Засунув руки в карманы потертого пальто, он через снлу произносил какие-то слова. Тут же беспокойно похаживал взад и вперед рослый бородатый матрос с ясными молодыми глазами. На ходу он рассеянно поигрывал неразлучным огромным револьвером синей стали. Это были Антонов и Дыбенко.

Несколько солдат пытались привязать к подножке автомобиля два велосипеда военного образца. Шофер резко протестовал. Он говорил, что велосипеды поцарапают эмаль. Конечно, он сам большевик, а автомобиль реквизирован у какого-то буржуя; конечно, на этих велосипедах поедут ординарцы, но все-таки его шоферская профессиональная гордость была возмущена.. И велосипеды остались на месте...

Народные комиссары по военным и морским делам отправлялись инспектировать революционный фронт, где бы он ни находился. «Нельзя ли нам будет поехать вместе с вами?» — «Разумеется, нет! В автомобиле всего пять мест—для двоих комиссаров, двоих ординарцев и шофера». Тем не менее один мой русский знакомый, которого я назову Трусишкой, преспокойно уселся в автомобиль и, несмотря ни на какие просьбы, не соглашался очистить место...

У меня нет никаких оснований не верить рассказу Трусишки об этом путешествии. Уже на Суворовском проспекте

те кто-то из ехавших вспомнил о еде. Объезд фронта мог затянуться на три-четыре дня, а местность была не слишком богата продовольствием. Остановили машину. У кого есть деньги? Военный комиссар вывернул все свои карманы — в них не оказалось ни копейки. Комиссар по морским делам тоже оказался банкротом. Не было денег и у шофера. Трусиска купил провизии.

Когда они заворачивали на Невский, у автомобиля лопнула шина.

«Что делать?» — спросил Антонов.

«Реквизировать другой автомобиль!» — предложил Дыбенко, размахивая револьвером.

Антонов встал среди улицы и замахал проезжающей машине, у руля которой сидел какой-то солдат.

«Мне нужна эта машина», — заявил Антонов.

«Не дам!» — ответил солдат.

«Да вы знаете, кто я такой?» — И Антонов показал бумагу, в которой значилось, что он назначен главнокомандующим всеми армиями Российской республики и что все и каждый обязаны повиноваться ему без всяких разговоров.

«Хоть бы вы были сам дьявол, мне все равно! — с жаром ответил солдат. — Эта машина принадлежит первому пулеметному полку, и мы везем в ней боеприпасы. Не видеть вам этой машины...»

Затрудненне было разрешено появлением старого и разбитого такси под итальянским флагом. (Во время беспорядков владельцы частных автомобилей во избежание реквизиции регистрировали их в иностранных консульствах.) Из этого такси высадили толстого гражданина в роскошной шубе, и высшее командование поехало дальше.

Покрыв около десяти миль и добравшись до Нарвской заставы, Антонов спросил, где командующий красногвардейскими силами. Его проводили до самой окраины, где несколько сот рабочих отрыли окопы и ждали казаков.

«Как у вас дела, товарищи?» — спросил Антонов.

«Все в полном порядке, товарищ, — ответил командир. — Войска в превосходном настроении... Одно только — боеприпасов нет...»

«В Смольном лежит два миллиарда обойм, — сказал ему Антонов. — Сейчас я дам вам ордер... — Он стал рыться в карманах. — Нет ли тут у кого-нибудь клочка бумаги?»

У Дыбенко не было. У ординарцев тоже. Трусиска предложил свой блокнот.

«А черт! У меня нет карандаша! — вскрикнул Антонов.— Кто даст карандаш?..» Нечего и говорить, что единственным, у кого был карандаш, оказался Трушшка...

Не попав в автомобиль верховного командования, мы отправились на Царскосельский вокзал. На Невском мы видели проходящих красногвардейцев с винтовками. Штыки были не у всех. Наступали ранние зимние сумерки. Высоко подняв головы, шли они сквозь холодное ненастье неровными рядами, без музыки, без барабанов. Над их головами развевался красный флаг, на котором корявыми золотыми буквами было написано: «Мира! Земли!» Все они были очень молоды. На лицах — выражение людей, сознательно идущих на смерть... Тротуарная толпа полубоязливо, полупрезрительно провожала их взглядами в ненавидящем молчании...

На вокзале никто не знал, где Керенский и где фронт. Впрочем, поезда ходили только до Царского...

Наш вагон был набит деревенскими жителями, возвращавшимися домой. Они везли с собой всякие покупки и вечерние газеты. Разговор шел о восстании большевиков. Но если бы не эти разговоры, то по виду нашего вагона никто не догадался бы, что вся Россия расколота гражданской войной на два непримиримых лагеря, что поезд идет к театру военных действий. Выглядывая в окна, мы видели в быстро сгущающихся сумерках толпы солдат, тянувшихся по грязным дорогам к городу. Они спорили между собой, размахивая винтовками. На боковой ветке стоял товарный поезд, набитый солдатами и освещенный кострами. Вот и всё. Далеко позади, на плоском горизонте, ночь освещалась отблесками городских огней. Мы видели трамвай, ползший по далекому предместью.

В Царском Селе на станции все было спокойно, но там и сям виднелись кучки солдат, тихо перешептывавшихся между собой и беспокойно поглядывавших вдоль пустынной дороги в сторону Гатчины. Я спрашивал их, за кого они. «Что ж,— сказал мне один солдат,— ведь мы дела не знаем... Конечно, Керенский провокатор, но, думается нам, нехорошо русским людям стрелять в русских людей».

В помещении начальника станции дежурил высокий приветливый и бородатый солдат с красной повязкой полкового комитета на рукаве. Наши удостоверения из Смольного внушили ему большое уважение. Он был, безусловно, за Советы, но находился в некотором смущении.

«Красногвардейцы были здесь два часа назад, но потом ушли. Утром явился комиссар, но когда пришли казаки, он вернулся в Петроград».

«А сейчас здесь казаки?»

Он мрачно кивнул головой. «Здесь был бой. Казаки пришли рано утром. Они взяли в плен двести-триста человек наших и человек двадцать пять убили».

«А где же они теперь?»

«Да вряд ли далеко ушли. Точно не знаю. Где-нибудь там...» — И он неопределенно махнул рукой на запад.

Мы пообедали в станционном буфете, пообедали прекрасно, гораздо дешевле и лучше, чем в Петрограде. По соседству с нами сидел французский офицер, только что вернувшийся пешком из Гатчины. Он говорил, что там все спокойно. Город в руках Керенского. «Ах, эти русские! — восклицал он. — Что за оригиналы!.. Хороша гражданская война! Всё, что угодно, только не дерутся...»

Мы пошли в город. У выхода из вокзала стояло двое солдат с винтовками и примкнутыми штыками. Их окружало до сотни торговцев, чиновников и студентов. Вся эта толпа набрасывалась на них с криками и бранью. Солдаты чувствовали себя неловко, как несправедливо наказанные дети.

Атаку вел высокий молодой человек в студенческой форме, с очень высокомерным выражением лица.

«Я думаю, вам ясно, — вызывающе говорил он, — что, поднимая оружие против своих братьев, вы становитесь орудием в руках разбойников и предателей».

«Нет, братишка, — серьезно отвечал солдат, — не понимаете вы. Ведь на свете есть два класса: пролетариат и буржуазия. Так, что ли? Мы...»

«Знаю я эту глупую болтовню! — грубо оборвал его студент. — Темные мужики вроде вот тебя наслушались лозунгов, а кто это говорит и что это значит — это вам невдомек. Повторяешь, как попугай!..» В толпе засмеялись... «Я сам марксист! Говорю тебе, что то, за что вы сражаетесь, — это не социализм. Это просто анархия, и выгодно это только немцам».

«Ну да, я понимаю, — отвечал солдат. На лбу его выступил пот. — Вы, видно, человек ученый, а я ведь простой человек. Но только думается мне...»

«Ты, верно, думаешь, — презрительно перебил студент, — что Ленин — истинный друг пролетариата?»

«Да, думаю», — отвечал солдат. Ему было очень тяжело.

«Хорошо, дружок! А знаешь ли ты, что Ленина прислали из Германии в запломбированном вагоне? Знаешь, что Ленин получает деньги от немцев?»

«Ну, этого я не знаю,— упрямо отвечал солдат.— Но мне кажется, Ленин говорит то самое, что мне хотелось бы слышать. И весь простой народ говорит так. Ведь есть два класса: буржуазия и пролетариат...»

«Дурак! Я, брат, два года высидел в Шлиссельбурге за революцию, когда ты еще стрелял в революционеров да распевал «Боже, царя храни!» Меня зовут Василий Георгиевич Панин. Ты обо мне никогда не слыхал?»

«Не слыхал, извиняюсь...— смиренно отвечал солдат.— Я ведь человек неученый. Вы, должно быть, большой герой...»

«Вот именно,— уверенно заявил студент.— И я борюсь с большевиками потому, что они губят Россию и нашу свободную революцию. Что ты теперь скажешь?»

Солдат почесал затылок:

«Ничего я не могу сказать! — Его лицо было искажено умственным напряжением.— По-моему, дело ясное, только вот неученый я человек!.. Выходит словно бы так: есть два класса — пролетариат и буржуазия...»

«Опять ты с этой глупой формулой!» — закричал студент.

«...только два класса,— упрямо продолжал солдат.— И кто не за один класс, тот, значит, за другой»...

Вверх и вниз по Невскому, точно волны, двигались возбужденные толпы. Что-то нависло в воздухе. С Варшавского вокзала можно было слышать отдаленную канонаду. В юнкерских училищах царило лихорадочное оживление. Члены думы переходили из казармы в казарму, уговаривая, умоляя и заклиная солдат, рассказывая им ужасные истории о большевистских зверствах — об избиении юнкеров и насилиях над женщинами в Зимнем дворце, о расстреле девушки перед зданием думы, об убийстве князя Туманова... В Александровском зале думы шло чрезвычайное заседание Комитета спасения, вбегали и выбегали торопливые комиссары... Здесь были все журналисты, выгнанные из Смольного. Они были в приподнятом настроении и не поверили нашему рассказу о положении в Царском. Помилуйте, всем известно, что Царское в руках Керенского, что казаки уже в Пулкове. Была избрана специ-

альная комиссия для встречи Керенского на вокзале. Его ожидали к утру...

Один журналист под строжайшим секретом сообщил мне, что контрреволюционное выступление начнется в полночь. Он показал мне два воззвания; одно было подписано Гоцем и Полковниковым и приказывало всем юнкерским училищам, всем выздоравливающим солдатам, находящимся в госпиталях, и георгиевским кавалерам приготовиться к военным действиям и ждать приказов от Комитета спасения. Другое было подписано самим Комитетом спасения, и значилось в нем следующее:

«К населению Петрограда!»

Товарищи рабочие, солдаты и граждане революционного Петрограда!

Большевики, призывая к миру на фронте, в то же время призывают к братоубийственной войне в тылу.

Не подчиняйтесь их провокационному призыву!

Не ройте окопов!

Долой оружие!

Долой предательские засады!

Солдаты, возвращайтесь в казармы!

Бойня, начатая в Петрограде,— подлинная гибель революции.

Во имя свободы, земли и мира сплывайтесь вокруг Комитета спасения родины и революции!»

Когда мы выходили из думы, нам встретился отряд красногвардейцев. Вид у них был суровый и решительный. Они шли по темной и пустынной улице, ведя с собой дюжину пленников — членов местного отдела Совета казачьих войск, пойманных в помещении этого Совета в тот самый момент, когда они были заняты подготовкой контрреволюционного заговора.

Солдат, сопровождаемый мальчиком с ведерком клейстера, расклеивал огромные ослепительно белые объявления:

«Настоящим гор. Петроград и его окрестности объявляются на осадном положении. Всякие собрания и митинги на улицах и вообще под открытым небом запрещаются впредь до особого распоряжения...

Председатель Военно-революционного комитета
Н. Подвойский».

Мы шли домой. Воздух был полон смутных звуков. Автомобильные рожки, чьи-то вскрики, отдаленная пальба... Город сердито и беспокойно шевелился...

Рано утром перед самой сменой караула на телефонную станцию явилась рота юнкеров, переодетых в форму Семеновского полка. Они знали большевистский пароль и совершенно беспрепятственно сменили караулы. Спустя несколько минут явился Антонов, производивший инспекцию. Юнкера схватили его и заперли в маленькую комнату. Когда пришла подмога, она была встречена грохотом ружейного огня. Несколько человек было убито.

Контрреволюция началась...

Победа

ПРИКАЗ № 1

ЧАСТЯМ ПУЛКОВСКОГО ОТРЯДА

31 октября 1917 г., 9 ч. 38 мин. пополуночи

«После ожесточенного боя части пулковского отряда одержали полную победу над силами контрреволюции, которые в беспорядке покинули свои позиции и под прикрытием Царского Села отступают к Павловску 2-му и Гатчине.

Наши наступающие части заняли северо-восточную оконечность Царского Села и станцию Александровскую. На правом фланге у нас был колпинский отряд, на левом — красносельский.

Приказываю пулковскому отряду занять Царское Село и укрепить подступы к нему, особенно со стороны Гатчины.

Затем продвинуться дальше, занять Павловск, укрепить его с южной стороны и захватить линию железной дороги до станции Дно.

Отряд должен принимать все меры к укреплению занятых им позиций, возводя окопы и другие оборонительные сооружения.

Он обязан войти в тесную связь с колпинским и красносельским отрядами, а также со штабом начальника обороны г. Петрограда.

Главкомандующий войсками, действующими против контрреволюционных отрядов Керенского, подполковник *Муравьев*.

Вторник, утро. Что случилось? Всего два дня назад по окрестностям Петрограда бесцельно бродили беспорядоч-

ные, лишённые руководителей команды. У них не было ни продовольствия, ни артиллерии, ни какого бы то ни было плана действий. Что сплотило эти массы красногвардейцев и солдат, у которых не было ни организации, ни навыков воинской дисциплины, ни офицеров, в армию, подчиняющуюся своему выборному командованию, способную выдержать и отразить удар артиллерии и казачьей конницы?

Восставший народ по-своему отбрасывает прочь военные шаблоны. Никогда не будут забыты одетые в лохмотья армии французской революции, победители при Вальми и Вейсембурге¹. Против Советов соединились юнкера, казаки, дворяне, помещики, черносотенцы, а за ними уже снова маячили царь, охранка, сибирские рудники и, наконец, безграничная и страшная угроза со стороны немцев... Победа, выражаясь словами Карлейля, означала «торжество и Золотой век без конца».

В воскресенье вечером комиссары Военно-революционного комитета вернулись с фронта в полном отчаянье, и Петроградский гарнизон выбрал свой Комитет пяти, свой боевой штаб, в составе трех солдат и двух офицеров, несомненно свободных от контрреволюционной заразы. Общее командование было возложено на экс-патриота полковника Муравьева — дельного человека, за которым, однако, было необходимо зорко следить². В Колпине, Обухове, Пулкове, в Красном Селе были сформированы временные отряды, постепенно увеличивавшиеся по мере того, как к ним присоединялись бродившие по окружающей местности группы, в которых были перемешаны солдаты, матросы, красногвардейцы, отдельные части разных полков, пехота, кавалерия, артиллерия и несколько броневиков.

На рассвете показались казачьи разъезды Керенского. Началась беспорядочная ружейная перестрелка, сопровождаемая требованиями сдаться. Над холодной равниной

¹ Автор имеет в виду историческое сражение при Вальми 20 сентября 1792 года, когда добровольческие отряды французской революционной армии разбили прусские войска, наступавшие на Париж, и заставили их отступить. В сражении при Вейсембурге в 1794 году французские революционные войска под фактическим командованием Сен-Жюста разгромили австрийскую армию и отбросили ее от границ Франции. — *Ред. издания 1957 года.*

² У Муравьева не было твердых политических убеждений. До перехода на сторону Советов Муравьев был сторонником лозунга «Война до победного конца». В дни корниловского мятежа он переметнулся к левым эсерам. Впоследствии Муравьев изменил Советской власти. — *Ред. издания 1957 года.*

ясный морозный воздух наполнился звуками боя. Их услышали блуждавшие команды, собравшиеся в ожидании у костров... Итак, началось! Они кинулись туда, где шел бой. Отряды рабочих, шедшие по главным дорогам, ускорили шаг... Ко всем атакованным пунктам сами собой стекались огромные массы охваченных гневом людей. Их встречали комиссары, указывавшие, какую позицию занять, что делать. Это была их битва за их собственный мир; командиры были избраны ими самими. В тот момент все многообразные и разнородные проявления воли многих слились в одну волю...

Участники этих боев рассказывали мне, как сражались матросы: расстреляв все патроны, они бросились в штыки; как необученные рабочие ринулись на казачью лаву и вышибли казаков из седел; как в темноте какие-то неизвестно откуда взявшиеся толпы народа внезапно, как волны, обрушились на врага... В понедельник еще до полуночи казаки дрогнули и побежали, бросая артиллерию. Пролетарская армия двинулась вперед длинным, изломанным фронтом и ворвалась в Царское, не дав врагу времени разрушить правительственную радиостанцию. Теперь эта станция метала в мир торжествующие гимны победы...

«Всем Советам рабочих и солдатских депутатов

30 октября, в ожесточенном бою под Царским Селом, революционная армия наголову разбила контрреволюционные войска Керенского и Корнилова.

Именем революционного правительства призываю все вверенные полки дать отпор врагам революционной демократии и принять все меры к захвату Керенского, а также к недопущению подобных авантур, грозящих завоеваниям революции и торжеству пролетариата.

Да здравствует революционная армия!

Муравьев».

Новости из провинции...

В Севастополе власть захвачена местным Советом. Грандиозный митинг матросов боевых кораблей, стоящих на севастопольском рейде, заставил офицеров торжественно присягнуть новому правительству. Нижний Новгород управляется Советом. Из Казани сообщают об уличных боях, юнкера и артиллерийская бригада бьются с большевистским гарнизоном...

В Москве снова вспыхнули отчаянные бои. Юнкера и белогвардейцы удерживают Кремль и центр города, но их

со всех сторон атакуют войска Военно-революционного комитета. Советская артиллерия бомбардирует со Скобелевской площади городскую думу, комендатуру и гостиницу «Метрополь». На Тверской и Никитской разворочена вся мостовая; булыжник использован при постройке окопов и баррикад. Кварталы, в которых помещаются крупные банки и торговые дома, усиленно обстреливаются из пулеметов. Электрического освещения нет, телефон не работает; буржуазное население попряталось в подвалах... В последнем бюллетене сообщалось, что Военно-революционный комитет ультимативно потребовал от Комитета общественной безопасности¹ немедленной сдачи Кремля, угрожая в противном случае бомбардировкой.

«Бомбардировать Кремль?! — кричали обыватели. — Не посмеют!»

Гражданская война пылала от Вологды до Читы в далекой Сибири, от Пскова до Севастополя на Черном море, в огромных городах и в маленьких деревушках. От тысяч фабрик и заводов, крестьянских обществ, полков и армий, кораблей в открытом море текли приветствия в Петроград — приветствия правительству народа.

Казачье правительство в Новочеркасске телеграфировало Керенскому: «Войсковое правительство Донского войска приглашает Временное правительство и членов Совета Российской республики, если возможно, прибыть в Новочеркасск, где возможна организация борьбы с большевиками...»

В Финляндии тоже неспокойно. Гельсингфорсский совет и Центробалт (Центральный комитет Балтийского флота) сообщая ввели осадное положение и объявили, что все попытки помешать деятельности большевистских отрядов и оказывать вооруженное сопротивление советским постановлениям будут сурово подавлены. Одновременно союз финских железнодорожников объявил по всей Финляндии всеобщую забастовку, чтобы добиться проведения в жизнь законов, установленных в июне 1917 года социалистическим сеймом, который был разогнан Керенским.

Рано утром я пошел в Смольный. Идя от внешних ворот по длинным деревянным мосткам, я заметил, что в сером безветренном воздухе порхают первые снежинки.

¹ Комитет общественной безопасности — главный центр контрреволюции в Москве в октябрьские дни 1917 года. — *Ред. издания 1957 года.*

«Снег! — весело улыбаясь, закричал часовой, стоявший у двери.— Здорово!» Внутри длинные мрачные коридоры и холодные залы казались пустынными. Громадное здание точно вымерло. Но тут до меня донеслись какие-то странные, глухие звуки. Я оглянулся. Вдоль стен на полу спали люди. Взлохмаченные, немые люди — рабочие и солдаты, перепачканные и забрызганные грязью, лежали в одиночку и группами, погруженные в тяжелый сон и безразличные ко всему. На многих были разорванные и окровавленные повязки. Тут же рядом валялись винтовки и патронные ленты... То была победоносная армия пролетариата.

Наверху, в буфете, спало столько народу, что с трудом можно было пройти. Воздух был невероятно спертый. Сквозь запотевшие окна еле проникал бледный свет. На прилавке стоял холодный помятый самовар, а вокруг него — масса немых стаканов. Тут же лежал экземпляр последнего бюллетеня Военно-революционного комитета лицевой стороной вниз, исписанный малограмотным почерком. Какой-то солдат писал эти слова в память о его товарищах, погибших в бою против Керенского,— писал, пока не свалился тут же на пол. Лист был закапан чем-то похожим на слезы...

*Алексей Виноградов
Д. Москвин
С. Столбиков
А. Воскресенский
Д. Леонский
Д. Преображенский
В. Лайданский
М. Берчиков*

Все люди поступили в армию 15 ноября 1916 года. Из них остались в живых трое:

*Михаил Берчиков
Алексей Воскресенский
Дмитрий Леонский*

* * *

Спите, орлы боевые,
Спите с спокойной душой!
Вы заслужили, родные,
Славу и вечный покой...

Только Военно-революционный комитет все еще бодрствовал и работал. Из дальней комнаты вышел Скрыпник. Он рассказал мне, что Гоц арестован, но категорически заявляет, что не подписывал прокламации Комитета спасения, как это сделал Авксентьев. Сам Комитет спасения отказался от своего призыва к гарнизону. В полках, расположенных в городе, сообщил Скрыпник, наблюдается недовольство; Волынский полк отказался драться против Керенского.

В Гатчине было несколько «нейтральных» отрядов с Черновым во главе; он пытался убедить Керенского прекратить наступление на Петроград.

Скрыпник рассмеялся. «Теперь не может быть никаких «нейтральных»,— сказал он.— Мы победили!» Его резкое бородатое лицо пылало почти религиозным воодушевлением. «С фронта прибыло больше шестидесяти делегатов, привезших решения о поддержке от всех армий, за исключением частей Румынского фронта, от которых еще нет известий. Армейские комитеты не пропускают петроградских газет, но мы уже наладили регулярную связь через курьеров...»...

Но сквозь все это победное воодушевление прорывалось явное беспокойство. Финансовый вопрос. Вместо того чтобы открыть банки, как приказал Военно-революционный комитет, Союз банковских служащих созвал собрание своих членов и формально объявил забастовку. Смольный затребовал от Государственного банка около тридцати пяти миллионов рублей, но кассир запер подвалы и выдавал деньги только представителям Временного правительства. Контрреволюционеры пользовались Государственным банком, как политическим орудием. Так, например, когда Викжель требовал денег на жалованье рабочим и служащим государственных железных дорог, ему отвечали: «Обратитесь в Смольный...»

Я отправился в Государственный банк, чтобы повидать нового комиссара, рыжеволосого украинского большевика, по имени Петрович. Он пытался навести хоть какой-нибудь порядок в делах банка, оставленных в хаотическом состоянии забастовавшими служащими. Во всех отделах огромного учреждения работали добровольцы: рабочие, солдаты, матросы. Высунув языки от напряжения, они тщетно старались разобраться в огромных бухгалтерских книгах...

Здание думы было переполнено людьми. Все еще наблюдались случаи вызывающего поведения по отношению

к новому правительству, но они становились всё реже. Центральный земельный комитет обратился к крестьянам с призывом не признавать Декрета о земле, изданного съездом Советов, потому что этот декрет ведет к смуте и гражданской войне. Городской голова Шрейдер заявлял, что в результате большевистского восстания выборы в Учредительное собрание придется отложить на неопределенный срок.

В сознании большинства людей, потрясенном жестокостью гражданской войны, на первый план выдвигались два вопроса: во-первых, прекращение кровопролития и, во-вторых, создание нового правительства. Никто уже не говорил об «уничтожении большевиков», и мало кто говорил даже об их исключении из правительства. Разве только народные социалисты и Совет крестьянских депутатов еще носились с такой мыслью. Даже Центральный армейский комитет, работавший в ставке и всегда выступавший как заклятый враг Смольного, телефонировал из Могилева: «Если для создания нового министерства необходимо соглашение с большевиками, то мы согласны на предоставление им *меньшинства* в кабинете».

«Правда», иронически отзываясь о призывах Керенского к «гуманитарным чувствам», перепечатала его обращение к Комитету спасения:

«Согласно предложению Комитета спасения и всех демократических организаций, объединившихся вокруг него, мною приостановлены действия против повстанческих войск и послан представитель — комиссар при Верховном главнокомандующем Станкевич для вступления в переговоры. Примите меры к прекращению возможности напрасного кровопролития...»

Викжель разослал по всей России телеграмму:

«Совещание всероссийского жел.-дор. союза с представителями враждующих сторон и организаций, стоящих на почве соглашения, категорически отвергая применение политического террора в гражданской войне, особенно между отдельными частями революционной демократии, заявляет, что применение такого террора в какой-либо форме одной из сторон против другой в данный момент противоречит самой сущности и цели переговоров...»

Конференция¹ посылала делегации на фронт, в Гатчину. На самой конференции дело, как казалось, шло к окон-

¹ Имеется в виду «конференция по примирению». — *Ред. издания 1957 года.*

чательному разрешению вопроса. Было даже решено избрать временный народный совет, в который должно было войти около четырехсот членов: семьдесят пять — от Смольного, столько же — от старого ЦИК, а остальные — от городских самоуправлений, профессиональных союзов, земельных комитетов и политических партий. В министры-председатели выдвигали Чернова...

Около полудня я уже снова стоял перед Смольным и разговаривал с шофером санитарного автомобиля, который должен был отправиться на революционный фронт. Нельзя ли мне поехать вместе с ним? Разумеется, можно! Этот шофер был доброволец, студент, и по дороге он слегка повернулся ко мне и через плечо закричал на ужасном немецком языке: «Ну, хорошо! Мы пойдем кушать в казармы». Я так понял, что в какой-то казарме можно будет позавтракать.

На Кирочной мы завернули в огромный двор, окруженный казарменными строениями, и поднялись по темной лестнице в низкую комнату, освещенную одним окном. За длинным деревянным столом сидело десятка два солдат. Они ели деревянными ложками щи из большого жестяного бака, громко разговаривая, шутя и смеясь.

«Батальонному комитету шестого запасного саперного батальона здравия желаю!» — закричал мой спутник и тут же представил меня сидевшим как американского социалиста. Все встали и протянули мне руки, а один старый солдат заключил меня в объятия и сердечно расцеловал. Меня снабдили деревянной ложкой и усадили за стол. В комнату внесли новый бак, наполненный кашей, огромный каравай черного хлеба и, разумеется, неизбежный чайник. Все принялись задавать мне вопросы об Америке. Правда ли, что в вашей свободной стране голоса продают за деньги? Если правда, то каким же образом народ добивается исполнения своих требований? А что это за штука, «Таммани»?¹ Правда ли, что в вашей свободной стране группка из нескольких человек может как угодно вертеть целым городом и пользоваться им для своей личной выгоды? Как же народ терпит это? В России таких вещей не

¹ «Таммани», или «Таммани-холл», — местонахождение руководства демократической партии в Нью-Йорке, стало синонимом всевозможных злоупотреблений и уголовных преступлений в связи со вскрытыми в то время многочисленными случаями участия в этих преступлениях лидеров демократов в Нью-Йорке. — *Ред. издания 1957 года.*

бывало даже при царе; правда, всегда было взяточничество, но покупать и продавать целые города, в которых живет масса народу!.. Да еще в свободной стране! Неужели в народе совсем нет революционного чувства? Я попробовал втолковать им, что у нас народ пытается изменить положение вещей законными путями.

«Конечно,— кивнул мне молодой унтер-офицер, по фамилии Бакланов, объяснявшийся по-французски.— Но ведь у вас имеется сильно развитый капиталистический класс? В таком случае капиталистический класс, безусловно, должен подчинить себе и законодательство и суд. Как же народ может изменить это положение? Может быть, вы бы убедили меня в своей правоте, поскольку я не знаю вашу страну, но для меня это совершенно невероятно...»

Я сказал, что еду в Царское Село. «Я тоже»,— неожиданно заявил Бакланов. «И я... И я...» Все, кто был в комнате, тут же решили ехать в Царское Село.

В этот момент кто-то постучал в дверь. Она открылась, и в ней появилась фигура полковника. Никто не встал, но все громко поздоровались с ним. «Можно войти?» — спросил полковник. «Просим, просим!» — радушно ответили солдаты.

Полковник вошел, улыбаясь,— высокая, представительная фигура в барашковой папаше с золотым галуном. «Кажется, вы говорили, что едете в Царское Село, товарищи,— сказал он.— Нельзя ли мне с вами?»

Бакланов что-то прикинул в уме. «Не думаю, чтобы здесь сегодня были какие-нибудь особо важные дела,— ответил он.— Едемте, товарищ. Мы с удовольствием примем вас в свою компанию». Полковник поблагодарил его, уселся и налил себе стакан чаю.

Бакланов, понизив голос, чтобы не задеть полковника, объяснил мне положение. «Видите ли,— сказал он,— я председатель комитета. Мы всецело распоряжаемся батальоном, а полковник получает от нас права командира только во время боя, когда батальон подчинен ему и его приказы обязательны для всех. Но он отвечает перед нами за всё. В казармах он ничего не может сделать без нашего разрешения... Можно считать его нашим служащим...»

Нам раздали револьверы и винтовки — «знаете, ведь можно и на казаков наткнуться...» — и мы забрались в санитарный автомобиль, прихватив с собой три большие пачки газет для фронта. Автомобиль помчался прямо по Литейному, затем по Загородному проспекту. Рядом со

мной сидел молодой поручик, который, по-видимому, с одинаковой легкостью говорил на всех европейских языках. Он был членом батальонного комитета.

«Я не большевик,— горячо уверял он меня.— Ведь я из старинного дворянского рода. Я, собственно, можно сказать, кадет...»

«Но как же...» — изумился я.

«Да, да, я член комитета! Я не скрываю своих политических взглядов, но никто не обращает на это внимания, потому что все знают, что я никогда не выступлю против воли большинства... Я отказался принимать какое бы то ни было участие в гражданской войне, потому что не считаю возможным подымать оружие против моих братьев русских...»

«Провокатор! Корниловец!» — шутливо кричали наши спутники, похлопывая его по плечу.

Мы проскочили под огромной серой каменной аркой Московских ворот, покрытой золотой вязью надписей, тяжеловесными императорскими орлами и именами царей, и вылетели на широкую прямую дорогу, посеревшую от первого снега. Она была забита красногвардейцами, которые с шумом и песнями двигались пешком на революционный фронт. Другие — бледные, грязные — возвращались отсюда в город. Большинство красногвардейцев казалась совсем юнцами. Тут же проходили и женщины с лопатами, а иногда и с винтовками и патронташами или с повязками Красного Креста — согбенные, измученные трудом женщины трущоб. Группы солдат, шедших не в ногу, дружески подшучивали над красногвардейцами; попадались суровые матросы, дети, тащившие еду своим отцам и матерям, и все они, двигаясь туда и обратно, ожесточенно месили глубокую грязь, покрывавшую шоссе на несколько дюймов. Мы обгоняли пушки и зарядные ящики, с грохотом катившиеся на юг. Нам встречались грузовики, ошетилившиеся штыками бойцов; с фронта ехали санитарные автомобили, а однажды встретилась медленно подвигавшаяся со скрипом крестьянская телега, в которой корчился и протяжно стонал смертельно бледный юноша, тяжело раненный в живот. На полях по обе стороны дороги женщины и старики рыли окопы и строили провололочные заграждения.

Позади, на севере, сквозь эффектный разрыв туч выглянуло бледное солнце. На плоской болотистой равнине блестел Петроград. Справа вздымались белые, позолоченные и разноцветные купола и шпили; слева — высокие

трубы, извергавшие черный дым, а за всем этим низкопоскалось небо над Финляндией. Со всех сторон виднелись церкви и монастыри... Время от времени можно было заметить монаха, молча наблюдавшего прохождение пролетарской армии, заполнившей дорогу.

В Пулкове дорога разделилась, здесь мы застряли в огромной толпе, куда с трех сторон стекались людские потоки и где встречались оживленные и веселые друзья, рассказывавшие друг другу о пережитом в боях. Дома, стоявшие у перекрестка, были пробиты пулями, а земля была затоптана и превращена в грязь на полмили кругом. В этом месте произошел ожесточенный бой... Поблизости кружили голодные казачьи кони без всадников в тщетных поисках корма: вся трава на равнине уже давно сошла. Прямо перед нами какой-то неловкий красногвардеец пытался сесть на одного из коней, но все время падал, что по-детски забавляло многочисленную толпу простых людей.

Дорога налево, по которой отступали остатки казаков, вела к деревушке на вершине невысокого холма, откуда открывался великолепный вид на огромную серую, как безветренное море, равнину с нависшими над ней тяжелыми тучами; все дороги были полны людскими толпами, направляющимися из столицы. Далеко слева виднелся невысокий холм Красного Села, где помещались гвардейские летние лагеря и находилась императорская ферма. Поблизости однообразие равнины нарушали только несколько обнесенных каменными стенами монастырей да уединенных фабрик, а также приютов и убежищ — больших строевых с запущенными садами...

«Вот здесь, — сказал шофер, когда мы поднялись на голый холм, — вот здесь приняла смерть Вера Слуцкая. Да, да, та самая, большевичка и член думы. Это случилось сегодня, рано утром. Она находилась в автомобиле с Залкиндом и еще одним товарищем. Было перемирие, и они направились к передовым окопам. Они разговаривали и смеялись, когда вдруг с бронированного поезда, в котором ехал сам Керенский, кто-то увидел автомобиль и выстрелил из пушки. Снаряд попал в Слуцкую и убил ее...»

Так доехали мы до Царского, где шумно расхаживали герои пролетарских отрядов. Теперь дворец, в котором заседал Совет, был местом делового оживления. Во дворе толпились и красногвардейцы и матросы, у дверей стояли часовые, непрерывно входили и выходили курьеры и ко-

миссары. В помещении Совета кипел самовар, более пятидесяти рабочих, солдат, матросов и офицеров стояли вокруг него, пили чай и громко разговаривали. В углу двое непривычных к этому делу рабочих пытались пустить в ход ротатор. У стола, стоявшего в центре, огромный Дыбенко склонился над картой, отмечая красным и синим карандашом расположение войск. В свободной руке у него, как и всегда, был большущий револьвер синей стали. Потом он сел за пишущую машинку и стал стучать одним пальцем. Прекращая работу хотя бы на секунду, он снова брал револьвер и любовно вертел его барабан.

У стены стоял диван, на котором лежал молодой рабочий. Двое красногвардейцев склонились над ним, но прочие не обращали на него никакого внимания. Он был ранен в грудь; при каждом ударе сердца сквозь его одежду проступала свежая кровь. Глаза его были закрыты, молодое лицо, окаймленное бородкой, стало зеленовато-белым. Он дышал медленно и трудно и при каждом вздохе шептал: «Мир будет... Мир будет...»

Дыбенко взглянул на нас. «А! — сказал он, увидев Бакланова.

— Не угодно ли вам, товарищ, отправиться в комендантское управление и принять там дела? Погодите, сейчас я напишу вам мандат».

Он подошел к машинке и принялся медленно выстукивать букву за буквой.

Вместе с новым комендантом Царского Села я отправился в Екатерининский дворец. Бакланов был очень возбужден и полон сознания своей роли. В том самом белом зале, где я уже был в прошлый приезд, мы застали несколько красногвардейцев, с любопытством оглядывавшихся кругом, в то время как мой старый знакомый полковник стоял у окна и нервно кусал усы. Он приветствовал меня, словно без вести пропавшего брата. За столом у двери сидел француз из Бессарабии. Большевики велели ему оставаться здесь и продолжать свою работу.

«Что мне было делать? — шептал он мне. — В такой войне, как эта, люди, подобные мне, не могут драться ни на той, ни на другой стороне, какое бы инстинктивное отвращение они ни чувствовали к диктатуре черни... Мне только жаль, что я нахожусь так далеко от моей матушки, оставшейся в Бессарабии!»

Бакланов официально принимал дела от старого коменданта. «Вот ключи от стола», — нервно сказал полковник.

Один из красногвардейцев перебил его. «А где деньги?» — резко спросил он. Полковник казался удивленным. «Деньги? деньги?.. Ах, вы говорите о денежном ящике!.. Вот он, в том самом виде, как я получил его три дня назад. Ключи?.. — Полковник пожал плечами. — Ключей у меня нет».

Красногвардеец улыбнулся хитрой улыбкой. «Ловко!» — сказал он.

«Откроем ящик! — сказал Бакланов. — Принесите топор! Вот здесь американский товарищ. Пусть он собьет замок и запишет, что окажется в ящике».

Я взмахнул топором, деревянный ящик оказался пустым.

«Арестовать его, — злобно сказал красногвардеец. — Он за Керенского. Он украл деньги и отдал их Керенскому».

Бакланов не соглашался. «Нет, — ответил он. — Ведь до него здесь были корниловцы. Он не виноват».

«Черт побери! — кричал красногвардеец. — Говорю вам, он за Керенского! Не арестуете его вы, так арестуем мы! Мы отвезем его в Петроград и посадим в Петропавловку. Туда ему и дорога!» Остальные красногвардейцы поддержали его. Полковник печально взглянул на нас, и его увели...

Перед дворцом, где помещался Совет, стоял грузовик, отправлявшийся на фронт. Полдюжины красногвардейцев, несколько матросов и один или два солдата, которыми командовал рослый рабочий, забрались в кузов. Они крикнули мне, чтобы я ехал с ними. Из Совета выходили красногвардейцы, сгибаясь под грузом небольших бомб из рифленого железа, наполненных грубитом, который, как они говорили, в десять раз сильнее и впятеро чувствительнее динамита. Они взваливали все эти бомбы на грузовик. Потом зарядили трехдюймовку и прикрутили ее веревками и проволокой к грузовику.

Мы отправились при шумных криках, разумеется, полным ходом. Тяжелый грузовик мотался из стороны в сторону. Пушка переваливалась с колеса на колесо, а грубитные бомбы катались у нас под ногами, звонко стучаясь о боковые стенки автомобиля.

Рослый красногвардеец, которого звали Владимиром Николаевичем, закидал меня вопросами об Америке: «Зачем Америка вступила в войну? Готовы ли американские рабочие разделаться с капиталистами? В каком положе-

нии сейчас дело Муни¹? Будет ли Беркмэн² выдан Сан-Франциско?» — и так далее. Нелегко было отвечать на все эти вопросы, выкрикивавшиеся под грохот машины, в то время как мы держались друг за друга и пританцовывали среди катавшихся бомб.

Время от времени патрули пытались остановить нас. Солдаты выбегали на дорогу и, вскидывая винтовки, кричали: «Стой!»

Но мы не обращали на них никакого внимания. «Черт вас дери! — кричали красногвардейцы. — Станем мы останавливаться для всякого! Мы Красная гвардия!..» И мы гордо, с шиком грохотали дальше, а Владимир Николаевич продолжал выкрикивать мне что-то об интернационализации Панамского канала и тому подобных матернях...

Отъехав около пяти миль, мы встретили группу матросов, шедших к Царскому. Мы замедлили ход.

«Братишки, где фронт?»

Передний матрос остановился и поскреб в затылке. «Утром был вон там, так в полувёрсте по дороге. А теперь — черт его знает где. Мы вот ходили, ходили, да так и не нашли».

Они влезли к нам на грузовик, и мы двинулись дальше. Мы, вероятно, проехали еще около мили, когда Владимир Николаевич вдруг прислушался и крикнул шоферу, чтобы остановил машину.

«Стреляют! — сказал он. — Слышите?» На мгновение наступило мертвое молчание, а затем впереди и слева от нас раздалось три быстрых, следовавших один за другим выстрела. По обе стороны дороги расстилался густой лес. В состоянии сильного возбуждения мы осторожно поехали дальше, разговаривая шепотом, и остановились только тогда, когда грузовик оказался как раз почти напротив того места, откуда стреляли. Соскочив на землю, мы рассыпались в цепь и, крадучись, вошли в лес, сжимая винтовки.

¹ Том Муни — активный деятель рабочего движения США, литейщик, был приговорен к смертной казни по провокационному обвинению в том, будто он бросил бомбу во время парада в Сан-Франциско 22 июля 1916 года. Под давлением огромного возмущения трудящихся президент Вильсон был вынужден вмешаться, и приговор был изменен: смертная казнь была заменена Тому Муни пожизненным тюремным заключением. Несмотря на доказанную невиновность Тома Муни, он просидел в тюрьме свыше двадцати лет и был освобожден во время президента Рузвельта. — *Ред. издания 1957 года.*

² Беркмэн — один из сопроцессников Тома Муни. — *Ред. издания 1957 года.*

Тем временем двое товарищей отвязали пушку и вертели ее до тех пор, пока ствол не оказался направленным прямо нам в спину.

В лесу царило глубокое молчание. Листья уже опали, и стволы деревьев тускло серели под лучами низкого и чахлого осеннего солнца. Все было недвижно. Слышно было только, как под нашими ногами хрустит лед, покрывавший мелкие лесные лужицы. Неужели засада?..

Мы беспрепятственно шли вперед, пока деревья не начали редеть и впереди не открылся просвет, и тогда остановились. Впереди, на маленькой полянке, трое солдат беспечно болтали у небольшого костра.

Владимир Николаевич шагнул вперед. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он. Наша пушка, двадцать винтовок и целый грузовик грубитных бомб — все это, казалось, висело на волоске. Солдаты вскочили на ноги.

«Что у вас тут за стрельба?»

Один из солдат, облегченно вздохнув, ответил: «Да это мы, товарищ, пару зайцев подстрелили...»

* * *

Наш грузовик мчался к Романову, рассекая светлый и пустынный воздух. На первом же перекрестке навстречу нам, размахивая винтовками, выскочили двое солдат. Мы замедлили ход и остановились.

«Пропуска, товарищи!»

Красногвардейцы подняли крик: «Мы Красная гвардия. Не надо нам никаких пропусков... Валяй дальше, нечего разговаривать!...»

Но тут вмешался матрос. «Нельзя так, товарищ. Надо держать революционную дисциплину. Этак всякий контрреволюционер влезет на грузовик да скажет: «Не надо мне никаких пропусков!» Ведь эти товарищи нас не знают...»

Начался спор. Однако все мало-помалу согласились с мнением матроса. Красногвардейцы с ворчанием вытащили свои грязные бумажки. Все удостоверения были одинаковы, и только мое, выданное революционным штабом в Смольном, имело совсем особый вид. Часовые заявили, что мне придется идти с ними. Красногвардейцы яростно запротестовали, но тот матрос, который первым заговорил о дисциплине, вступился за часовых. «Мы знаем, что этот товарищ — человек верный, — говорил он, — но ведь есть комитетские приказы, и этим приказам надо подчиняться. Такова революционная дисциплина...»

Чтобы не вызывать дальнейших споров, я слез с грузовика, и он умчался вперед, причем вся компания махала мне руками в знак прощального привета. Солдаты с минуту пошептались, потом подвели меня к стене и поставили. Вдруг я понял все: они хотели расстрелять меня.

Я оглянулся: кругом ни души. Только один признак жилья — дымок над трубой деревянной дачи примерно в миле от дороги. Солдаты отошли от меня на дорогу. Я в отчаянии подбежал к ним.

«Да поглядите же, товарищи! Ведь это печать Военно-революционного комитета!»

Они тупо уставились на мой пропуск, потом друг на друга.

«Он не такой, как у других,— мрачно сказал один из них.— Мы, брат, читать не умеем.»

Я схватил его за руку. «Идем! — заявил я.— Идем к тому дому. Там, наверно, есть кто-нибудь грамотный». Солдаты заколебались. «Нет»,— сказал один. Но другой еще раз поглядел на меня. «Почему нет? — проговорил он.— Убить невинного тоже не шутка...»

Мы подошли к двери дачи и постучались. Невысокая полная женщина открыла дверь и отпрянула назад с криком: «Я ничего об них не знаю! Ничего не знаю!»

Один из моих конвоиров протянул ей пропуск. Она снова закричала. «Да вы только прочтите, товарищ»,— сказал солдат. Она неуверенно взяла бумажку и быстро прочла вслух:

«Настоящее удостоверение дано представителю американской социал-демократии интернационалисту товарищу Джону Риду...»

Вернувшись на дорогу, солдаты начали советоваться между собой. «Нам придется доставить вас в полковой комитет»,— сказали они. Мы шли по грязной дороге сквозь густые сумерки. Время от времени нам встречались группы солдат. Они останавливались, подозрительно оглядывали меня, передавали из рук в руки мой пропуск и ожесточенно спорили о том, следует ли расстрелять меня или нет.

Было уже совсем темно, когда мы дошли до казарм 2-го Царскосельского стрелкового полка — низкого и длинного здания, тянувшегося вдоль дороги. Несколько солдат, болтавшихся у ворот, засыпали моих провожатых нетерпеливыми вопросами: «Шпион? Провокатор?» Мы поднялись по винтовой лестнице и вошли в огромную комнату с голыми стенами. В самой середине стояла печь, вдоль стен тянулись нары, на которых играли в карты, разговаривали,

пели или просто спали солдаты. Их было до тысячи человек. В потолке зияла брешь, пробитая пушками Керенского.

Когда я появился на пороге, сразу воцарилось молчание. Все уставились на меня. Потом началось движение, сначала медленное, потом порывистее, зазвучали злобные голоса. «Товарищи! Товарищи! — кричал один из моих провожатых. — Комитет! Комитет!» Толпа остановилась и с ропотом сомкнулась вокруг меня. Сквозь нее проталкивался худощавый юноша с красной повязкой на рукаве.

«Кто это?» — резко спросил он. Мои провожатые доложили. «Дайте его бумаги!» Он внимательно прочел и окинул меня пронизывающим взглядом. Затем улыбнулся и вернул мне пропуск.

«Товарищи, это американский товарищ. Я председатель комитета. Добро пожаловать в наш полк...» Злобный ропот внезапно перешел в гул радостных приветствий. Все бросились ко мне, стали пожимать мне руки.

«Вы еще не пообедали? У нас обед уж кончился. Идите в офицерский клуб, там есть кому поговорить с вами на вашем языке...»

Председатель комитета проводил меня через двор к дверям другого здания. Как раз в это же время туда шел молодой человек аристократического вида, с погонями поручика. Председатель представил меня ему, пожал мне руку и ушел.

«Степан Георгиевич Моровский, к вашим услугам», — сказал поручик на прекрасном французском языке.

Из роскошного вестибюля вверх вела парадная лестница, освещенная сверкающими люстрами. Во втором этаже на площадку выходили бильярдная, карточная и библиотека. Мы вошли в столовую, где в центре за длинным столом сидело человек двадцать офицеров в полной форме, с шашками, отделанными золотом и серебром, при крестах и ленточках императорских орденов. Когда я вошел, все вежливо встали и усадили меня рядом с полковником. Это был очень видный широкоплечий мужчина с седеющей бородой. Денщики бесшумно подавали обед. Атмосфера была точно такая же, как и в любом европейском офицерском собрании. Где же тут революция?..

«Вы не большевик?» — спросил я Моровского.

Вокруг стола заулыбались, но я заметил, что двое или трое боязливо взглянули на денщиков.

«Нет, — ответил мой новый друг. — В нашем полку всего один офицер — большевик. Но сейчас он в Петрограде.

Полковник — меньшевик. Капитан Херлов — кадет. А я сам — правый эсер. Должен сказать вам, что большинство офицеров нашей армии не большевики. Но они, как и я, верят в демократию и считают своей обязанностью следовать за солдатской массой...»

Когда обед кончился, денщики принесли карту, и полковник разложил ее на столе. Остальные столпились вокруг него.

«Вот здесь,— сказал полковник, указывая на карандашные пометки на карте,— утром были наши позиции. Владимир Кириллович, где теперь ваш отряд?»

Капитан Херлов указал. «Согласно приказу мы заняли позиции вдоль этой дороги. Карсавин сменил меня в пять часов...»

Тут дверь открылась, и в столовую вошел председатель полкового комитета с каким-то солдатом. Они присоединились к группе, окружавшей полковника, и наклонились над картой.

«Отлично,— сказал полковник.— Казаки отошли в нашем секторе на десять километров. Я не считаю необходимым переносить позиции вперед. Господа, сегодня ночью вы будете удерживать вот эту линию, укрепляя позиции путем...»

«Виноват,— перебил председатель полкового комитета.— Имеется приказ двигаться вперед как можно скорее и готовиться наутро вступить в бой с казаками к северу от Гатчины. Необходимо окончательно разбить их. Будьте любезны сделать соответствующие распоряжения...»

Наступило короткое молчание. Полковник снова повернулся к карте. «Хорошо,— сказал он изменившимся голосом.— Степан Георгиевич, не угодно ли вам...» И, быстро проводя на карте линии синим карандашом, он отдал несколько приказаний, которые стоявший тут же унтер-офицер стенографически записал. Затем унтер-офицер ушел и через десять минут вернулся с готовым приказом, переписанным на машинке в двух экземплярах. Председатель комитета взял копию приказа и сверил ее с картой.

«Всё в порядке»,— сказал он, вставая. Он сложил копию и сунул ее в карман. Затем подписал основной экземпляр, приложил к нему круглую печать, которую вынул из кармана, и передал подписанный приказ полковнику...

Вот она где была, революция!

Я вернулся во дворец Совета в Царское в автомобиле полкового штаба. Здесь все оставалось, как было: толпы рабочих, солдат и матросов прибывали и уходили, все кругом было запружено грузовиками, броневиками и пушками, все еще звучали в воздухе крики и смех — торжество необычной победы. Сквозь толпу прогалкивалось с полдюжины красногвардейцев, среди которых шел священник. Это был отец Иван, говорили они, тот самый, который благословлял казаков, когда они входили в город. Позже мне пришлось услышать, что этот священник был расстрелян.

Из дверей Совета, раздавая направо и налево быстрые приказания, вышел Дыбенко. В руках у него был все тот же большой револьвер. Во дворе стояла заведенная машина. Дыбенко уселся один на заднее сиденье и умчался — умчался в Гатчину, разделяться с Керенским.

К ночи он доехал до предместья, вышел из автомобиля и дальше пошел пешком. Никому не известно, что говорил Дыбенко казакам, но верно то, что генерал Краснов сдался со всем своим штабом и несколькими тысячами казаков, а Керенскому посоветовал сделать то же самое.

Что до Керенского, то я привожу здесь выписку из показаний генерала Краснова от 14 ноября (1 ноября):

«1 ноября 1917 г., из г. Гатчины.

Около 15 час. сегодня меня к себе потребовал верховный главнокомандующий. Он был очень взволнован и нервен.

«Генерал,— сказал он,— вы меня предали. Тут ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут матросам».

«Да,— отвечал я,— разговоры об этом идут, и я знаю, что сочувствия к вам нигде нет».

«Но и офицеры говорят то же».

«Да, офицеры особенно недовольны вами».

«Что же мне делать? Приходится покончить с собой!»

«Если вы честный человек, вы поедете сейчас в Петроград с белым флагом и явитесь в революционный комитет, где переговорите как глава правительства».

«Да, я это сделаю, генерал».

«Я вам даю охрану и попрошу, чтобы с вами поехал матрос».

«Нет, только не матрос. Вы знаете, что здесь Дыбенко?»

«Я не знаю, кто такой Дыбенко».

«Это мой враг».

«Ну что же делать? Раз ведете большую игру, то надо уметь и ответ дать».

«Да, только я уеду ночью».

«Зачем? Это будет бегство. Поезжайте спокойно и открыто, чтобы все видели, что вы не бежите».

«Да, хорошо. Только дайте мне конвой надежный».

«Хорошо».

Я пошел, вызвал казака 10-го Донского казачьего полка Русакова и приказал назначить восемь казаков для окарауливания верховного главнокомандующего. Через полчаса пришли казаки и сказали, что Керенского нет, что он бежал. Я поднял тревогу и приказал его отыскать, полагая, что он не мог убежать из Гатчины и скрывается где-либо здесь же».

Так бежал Керенский, один, переодетый матросом. Бежал и тем самым потерял последние остатки той популярности, которой когда-то пользовался у русских масс.

Я возвращался в Петроград, сидя вместе с шофером-рабочим в кабине грузовика, переполненного красногвардейцами. Керосина у нас не было, так что зажечь фонари не пришлось. Дорога была забита пролетарской армией, возвращавшейся домой, и свежими резервами, двигавшимися на фронт, чтобы занять ее место. Во мраке смутно вырисовывались огромные грузовики вроде нашего, артиллерийские колонны, повозки — все это, подобно нам, без огней. Мы отчаянно неслись вперед, резко сворачивая то вправо, то влево, чтобы избежать столкновений, которые казались неизбежными, и задевая чужие колеса. Вслед нам неслась брань пешеходов.

А на горизонте сверкали огни столицы, которая ночью выглядела гораздо более великолепной, чем днем. Казалось, что по голой равнине была рассыпана целая гряда бриллиантов.

Старик рабочий, правивший нашей машиной, восторженным жестом взмахнул в сторону сиявшей вдали столицы.

«Мой! — кричал он, и лицо его сияло. — Теперь весь мой! Мой Петроград!»

Военно-революционный комитет с неослабевающим напряжением развивал свои победы.

«Ноября 14-го (1-го):

Всем армейским, корпусным, дивизионным, полковым комитетам, всем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Всем, всем, всем.

На основании соглашения казаков, юнкеров, солдат, матросов и рабочих решено было Александра Федоровича Керенского предать гласному народному суду. Просим задержать Керенского и требовать от него от имени вышепоименованных организаций немедленно явиться в Петроград для передачи себя суду.

Подписи: казаки 1-й Донской казачьей Уссурийской конной дивизии, комитет юнкеров партизанского отряда Петроградского округа, представитель V армии.

Народный комиссар *Дыбенко*.

Комитет спасения, дума, Центральный комитет партии социалистов-революционеров, с гордостью числившей Керенского своим членом,—все горячо возражали, утверждая, что Керенский несет ответственность только перед Учредительным собранием.

Вечером 16 (3) ноября я наблюдал, как по Загородному проспекту двигались две тысячи красногвардейцев с военным оркестром, игравшим «Марсельезу» (как верно попадала она в тон этому войску!), и кроваво-красными флагами, реявшими над густыми рядами рабочих, шедших приветствовать своих братьев, вернувшихся домой с фронта защиты красного Петрограда. В холодных сумерках шагали они, мужчины и женщины, и длинные штыки их винтовок качались над ними; они шли по еле освещенным и скользким от грязи улицам, сопровождаемые взглядами буржуазной толпы, молчаливой, презрительной и напуганной.

Все были против них: дельцы, спекулянты, рантье, помещики, армейские офицеры, политические деятели, учителя, студенты, люди свободных профессий, лавочники, чиновники, служащие. Все ~~другие~~ социалистические партии невидели большевиков самой черной ненавистью. На ~~стороне Советов~~ были массы рядовых рабочих, матросы,

все недоморализованные солдаты, безземельные крестьяне да горсточка, крохотная горсточка, интеллигенции.

Из отдаленнейших уголков необъятной России, по которой прокатилась волна отчаянных уличных боев, весть о разгроме Керенского отозвалась громовым эхом пролетарской победы; Казань, Саратов, Новгород, Винница, где улицы залиты кровью, Москва, где большевики направили артиллерию на последнюю цитадель буржуазии — на Кремль.

«Они бомбардируют Кремль!» Эта новость почти с ужасом передавалась на петроградских улицах из уст в уста. Приезжие из «матушки Москвы белокаменной» рассказывали страшные вещи. Тысячи людей убиты. Тверская и Кузнецкий в пламени, храм Василия Блаженного превращен в дымящиеся развалины, Успенский собор рассыпается в прах, Спасские ворота Кремля вот-вот обрушатся, дума сожжена дотла.

Ничто из того, что было совершено большевиками, не могло сравниться с этим ужасным святотатством в самом сердце святой Руси. Набожным людям слышался гром пушек, палящих прямо в лицо святой православной церкви и разбивающих вдребезги святая святых русской нации.

15 (2) ноября комиссар народного просвещения Луначарский разрыдался на заседании Совета Народных Комиссаров и выбежал из комнаты с криком:

«Не могу я выдержать этого! Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции...»

Вечером в газетах появилось его заявление об отставке:

«Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве.

Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется.

Жертв тысячи.

Борьба ожесточается до звериной злобы.

Что еще будет? Куда идти дальше?

Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилён.

Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя.

Вот почему я выхожу в отставку из Совета Народных Комиссаров.

Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше...»

В тот же день белогвардейцы и юнкера сдали Кремль. Их беспрепятственно отпустили на свободу. В мирном договоре значилось:

«1. Комитет общественной безопасности прекращает свое существование.

2. Белая гвардия возвращает оружие и расформируется. Офицеры остаются при присвоенном им званию оружия. В юнкерских училищах сохраняется лишь то оружие, которое необходимо для обучения. Все остальное оружие юнкерами возвращается. Военно-революционный комитет гарантирует всем свободу и неприкосновенность личности.

3. Для разрешения вопроса о способах осуществления разоружения, о коем говорится в п. 2, организуется комиссия из представителей Военно-революционного комитета, представителей командного состава и представителей организаций, принимавших участие в посредничестве.

4. С момента подписания мирного договора обе стороны немедленно отдают приказ о прекращении всякой стрельбы и всяких военных действий с принятием решительных мер к неуклонному исполнению этого приказа на местах.

5. По подписании соглашения все пленные обеих сторон немедленно освобождаются...»

Большевики держали город в своих руках уже в течение двух дней... С улиц убрали баррикады. Однако рассказы о разрушении Москвы не только не стихали, но разрастались... Именно эти-то ужасные слухи и побудили нас отправиться в Москву.

В сущности Петроград, хотя он вот уже двести лет является резиденцией русского правительства, все же так и остался искусственным городом. Москва — настоящая Россия, Россия, какой она была в прошлом и станет в будущем; в Москве мы сможем почувствовать истинное отношение русского народа к революции. Там жизнь была более напряженной.

В течение минувшей недели Петроградский военно-революционный комитет при поддержке рядовых железнодорожных рабочих овладел Николаевским вокзалом и гнал один за другим эшелоны матросов и красногвардейцев на юго-восток. В Смольном нам выдали пропуска, без которых никто не мог уехать из столицы... Как только подали состав, толпа оборванных солдат, нагруженных огромными мешками с продуктами, кинулась в вагоны, вышибая двери

и ломая оконные стекла, забила все купе и проходы, многие влезли даже на крыши вагонов. Кое-как трое из нас пробилась в свое купе, но к нам сейчас же втиснулось около двадцати солдат... Мест было всего для четверых; мы спорили и требовали, кондуктор поддерживал нас, но солдаты только смеялись. С какой стати им заботиться об удобствах кучки буржуев! Мы показали мандаты из Смольного. Солдаты немедленно переменили отношение.

«Идем отсюда, товарищи!— закричал один из них.— Это американские товарищи! Они приехали посмотреть нашу революцию за тридцать тысяч верст... Здорово, небось, устали!..»

Вежливо и дружелюбно извинившись, солдаты очистили наше купе. Скоро мы услышали, как они выламывали дверь в соседнем купе, где заперлось двое толстых и хорошо одетых русских, давших взятку кондуктору.

Около семи часов вечера мы двинулись. Маленький и слабый паровоз, топившийся дровами, еле-еле тянул за собой наш огромный, перегруженный поезд и часто останавливался. Солдаты, ехавшие на крыше, стучали каблуками и пели заунывные крестьянские песни. В коридоре, забитом так, что пройти было совершенно невозможно, всю ночь шли ожесточенные политические споры. Время от времени появлялся кондуктор и по привычке спрашивал билеты. Но, кроме нас, билетов почти ни у кого не было, и, поругавшись с полчаса, кондуктор в отчаянии воздевал руки к потолку и уходил. Воздух был спертый, прокуренный и зловонный. Если бы не разбитые окна, мы, наверное, задохнулись бы в ту ночь.

Утром, опоздав на много часов, мы увидели кругом заснеженный мир. Стоял жестокий холод. Около 12 часов дня появилась какая-то крестьянка с корзинкой, полной ломтями хлеба, и большим чайником тепловатого суррогата кофе. С тех пор и до самой ночи мы уже ничего не видели, кроме нашего тряского, переполненного народом и поминутно останавливающегося поезда да редких станций, на которых прожорливая толпа моментально заполняла буфеты и опустошала их скудные запасы...

Третий звонок, и мы кидаемся к поезду, пробивая себе путь сквозь проход, забитый шумливой толпой. То была необычайно добродушная толпа, переносившая все лишения с каким-то юмористическим спокойствием, без конца спорившая обо всем на свете, от положения в Петрограде до организации английских тред-юнионов, и вступавшая в громкие пререкания с немногими «буржуями», какие были

в поезде. Пока мы доехали до Москвы, почти в каждом вагоне организовался комитет по добыванию и распределению продовольствия, и эти комитеты также распались на политические фракции, не замедлившие вступить в споры об основных принципах.

В Москве вокзал был совершенно пуст. Мы зашли в помещение комиссара, чтобы сговориться об обратных билетах. Комиссар оказался мрачным и очень юным поручиком. Когда мы показали ему свои мандаты из Смольного, он вышел из себя и заявил, что он не большевик, а представитель Комитета общественной безопасности. Характерная черточка: в общей сумятице, поднявшейся при завоевании города, победители позабыли о главном вокзале.

Кругом ни одного извозчика. Впрочем, пройдя несколько кварталов, мы нашли, кого искали. До смешного закутанный извозчик дремал на козлах своих узеньких санок. «Сколько до центра города?»

Извозчик почесал в затылке.

«Вряд ли, барин, вы найдете комнату в гостинице,— сказал он.— Но за сотню, так и быть, свезу...» До революции это стоило всего два рубля! Мы стали торговаться, но он только пожимал плечами. «В такое время не всякий и поедет-то,— говорил он.— Тоже храбрость нужна». Больше пятидесяти рублей нам выторговать не удалось. Пока ехали по молчаливым и снежным, еле освещенным улицам, извозчик рассказывал нам о своих приключениях за время шестидневных боев. «Едешь себе или стоишь у угла,— говорил он,— и вдруг — бац! — ядро. Бац! — другое. Та-та-та!.. — пулемет... Я скорей в сторону, нахлестываю, а кругом эти черти орут. Только найдешь спокойную улочку, станешь на месте да задремлешь — бац! — опять ядро. Та-та-та... Вот черти, право, черти!..»

В центре города занесенные снегом улицы затихли в безмолвии, точно отдыхая после болезни. Редкие фонари, редкие торопливые пешеходы. Ледяной ветер пробирал до костей. Мы бросились в первую попавшуюся гостиницу, где горели две свечи.

«Да, конечно, у нас имеются очень удобные комнаты, но только все стекла выбиты. Если господа не возражают против свежего воздуха...»

На Тверской окна магазинов были разбиты, булыжная мостовая была разворочена, часто попадались воронки от снарядов. Мы переходили из гостиницы в гостиницу, но одни были переполнены, а в других перепуганные хозяева

упорно твердили одно и то же: «Комнат нет! Нет комнат...» На главных улицах, где сосредоточены банки и крупные торговые дома, были видны зияющие следы работы большевистской артиллерии. Как говорил мне один из советских работников, «когда нам не удавалось в точности установить, где юнкера и белогвардейцы, мы прямо палили по их чековым книжкам».

Наконец нас приютили в огромном отеле «Националь» (как-никак мы были иностранцами, а Военно-революционный комитет обещал охранять местожительство иностранных подданных). Хозяин гостиницы показал нам в верхнем этаже окна, выбитые шрапнелью. «Скоты! — кричал он, потрясая кулаками по адресу воображаемых большевиков. — Ну, погодите! Придет день расплаты! Через несколько дней ваше смехотворное правительство пойдет к черту! Вот когда мы вам покажем!..»

Мы пообедали в вегетарианской столовой с соблазнительным названием: «Я никого не ем». На стенах были развешаны портреты Толстого. После обеда мы вышли пройтись по улицам.

Московский Совет помещался в импозантном белом здании на Скобелевской площади — в бывшем дворце генерал-губернатора. Вход охранялся красногвардейцами. Поднявшись по широкой парадной лестнице, стены которой были заклеены объявлениями о комитетских собраниях и воззваниями политических партий, мы прошли через ряд величественных приемных залов, увешанных картинами в золотых рамах, затянутых красным, и вошли в роскошный парадный зал с великолепными хрустальными люстрами и позолоченными карнизами. Тихий говор многих голосов и стрекот нескольких швейных машин заполняли помещение. На полу и на столах были разостланы длинные полосы красной и черной материи, и около полусотни женщин кроили и сшивали ленты и знамена для похорон жертв революции. Лица этих женщин сморщились и огрубели в тяжелой борьбе за существование. Они работали печальные и суровые, у многих были слезы на глазах... Потери Красной Армии были тяжелы...

В углу за письменным столом сидел Рогов, с умным лицом, в очках и черной рабочей блузе. Он пригласил нас принять участие вместе с членами исполнительного комитета в похоронной процессии, назначенной на следующее утро.

«Меньшевикова и эсеров ничему не выучишь! — воскликнул Рогов. — Они соглашательствуют просто по привычке...»

Представьте себе, они предложили нам организовать походы jointly совместно с юнкерами!..»

Через зал шел человек в потрепанной солдатской шинели и в шапке. Лицо его показалось мне знакомым: я узнал Мельничанского, с которым мне приходилось встречаться в Байоне (штат Нью-Джерси) во время знаменитой забастовки на предприятиях компании «Стандарт ойл». В те времена он был часовщиком и звался Джорджем Мельчером. Теперь из его слов я узнал, что он является секретарем Московского профессионального союза металлистов, а во время уличных боев был комиссаром Военно-революционного комитета.

«Вот полюбуйтесь! — кричал он, показывая на свои жалкие лохмотья. — Когда юнкера в первый раз явились в Кремль, я как раз был там с нашими хлопцами. Меня бросили в подвал, отняли у меня пальто, деньги, часы, даже кольцо с пальца сняли. Вот в чем теперь приходится ходить!..»

Он рассказал мне много подробностей о кровавом шестидневном сражении, которое разделило Москву на две части. Московская дума не в пример Петроградской непосредственно руководила юнкерами и белогвардейцами. Городской голова Руднев и председатель думы Минор направляли действия Комитета общественной безопасности и войск. Комендант города Рябцев был настроен демократически и сомневался, следует ли ему вступать в борьбу с Военно-революционным комитетом. Вступить в эту борьбу заставила его именно дума. Захват Кремля был произведен по настоянию городского головы. «Если вы будете в Кремле, большевики не посмеют обстрелять вас», — говорил он.

Обе борющиеся стороны старались привлечь к себе совершенно деморализованный долгим бездействием один из полков гарнизона. Этот полк устроил собрание и на нем обсудил положение. В конце концов солдаты решили оставаться нейтральными и продолжать свою прежнюю деятельность, то есть торговать камушками для зажигалок и подсолнухами.

«Но хуже всего, — рассказывал Мельничанский, — было то, что нам приходилось организовывать свои силы уже во время боя. Враги прекрасно знали, чего хотели, а на нашей стороне у солдат был свой Совет, а у рабочих свой... Страшные пререкания начались из-за того, кому быть командующим. Некоторые полки, прежде чем решиться, что им делать, митинговали по нескольку дней. А когда офице-

ры вдруг ушли от нас, мы оказались без военного штаба...»

Он набросал предо мной много живых картинок. Однажды в серый холодный день он стоял на углу Никитской, который обстреливался пулеметным огнем. Тут же скопилась кучка уличных сорванцов, обычно торговавших газетами. Они придумали себе новую игру: дождавшись момента, когда обстрел несколько стихал, они принимались бегать взад и вперед через улицу. Вся компания была очень возбуждена и увлечена игрой. Многие были убиты, но остальные продолжали перебегать с тротуара на тротуар, подбивая друг друга.

Поздно вечером я отправился в Дворянское собрание, где московские большевики собрались для обсуждения доклада Ногина, Рыкова и других, вышедших из состава Совета Народных Комиссаров.

Собрание проходило в театральном зале, где при старом режиме любители разыгрывали перед публикой, состоявшей из офицеров и блестящих дам, французские комедии.

Сначала зал был наполнен одними интеллигентами: они жили ближе к центру города. Выступал Ногин, и большинство аудитории было вполне на его стороне. Рабочие стали появляться гораздо позже: они жили на окраинах, а трамваи в те дни не ходили. Но около полуночи они уже начали подниматься по лестницам группами по десять-двенадцать человек. То были крупные, крепкие люди в грубой одежде, только что покинувшие места боев. Целую неделю сражались они, как черти, видя кругом себя смерть своих товарищей.

Как только собрание было формально открыто, Ногина осыпали градом насмешек и злобных выкриков. Напрасно пытался он объясняться и оправдываться, его не хотели слушать. Он оставил Совет Народных Комиссаров, он дезертировал со своего поста в самом разгаре боя!.. Что до буржуазной печати, то здесь, в Москве, ее уже не было. Даже городская дума была распущена... Резолюция о поддержке действий Совета Народных Комиссаров собрала подавляющее большинство голосов. Так сказала свое слово Москва...

Поздней ночью мы прошли по опустевшим улицам и через Иверские ворота вышли на огромную Красную площадь, к Кремлю. В темноте были смутно видны фантастические очертания ярко расписанных, витых и резных куполов Василия Блаженного, не было заметно никаких при-

знаков каких-либо повреждений. На одной стороне площади вздымались ввысь темные башни и стены Кремля. На высокой стене вспыхивали красные отблески невидимых огней. Через всю огромную площадь до нас долетали голоса и стук ломов и лопат. Мы перешли площадь.

У подножия стены были навалены горы земли и булыжника. Взобравшись повыше, мы заглянули вниз и увидели две огромные ямы в десять — пятнадцать футов глубины и пятьдесят ярдов¹ ширины, где при свете больших костров работали лопатами сотни рабочих и солдат.

Молодой студент заговорил с нами по-немецки. «Это братская могила,— сказал он,— завтра мы похороним здесь пятьсот пролетариев, павших за революцию».

Он свел нас в яму. Кирки и лопаты работали с лихорадочной быстротой, и гора земли все росла и росла. Все молчали. Над головой небо было густо усеяно звездами, да древняя стена царского Кремля уходила куда-то ввысь.

«Здесь, в этом священном месте,— сказал студент,— самом священном во всей России, похороним мы наших святых. Здесь, где находятся могилы царей, будет покоиться наш царь — народ...» Рука у него была на перевязи, ее пробила пуля во время уличных боев. Студент глядел на нее. «Вы, иностранцы,— продолжал он,— смотрите на нас, русских, сверху вниз, потому что мы так долго терпели средневековую монархию. Но мы видели, что царь был не единственным тираном в мире; капитализм еще хуже, а ведь он повелевает всем миром, как настоящий император... Нет революционной тактики лучше русской...»

Когда мы уходили, рабочие, уже сильно уставшие и мокрые от пота, несмотря на мороз, стали медленно выбираться из ям. Через Красную площадь уже торопилась на смену масса людей. Они соскочили в ямы, схватились за лопаты и, не говоря ни слова, принялись копать...

Так всю эту долгую ночь добровольцы от народа сменяли друг друга, ни на минуту не останавливая своей спешной работы, и холодный утренний свет уже озарил на огромной белоснежной площади две зияющие коричневые ямы совершенно готовой братской могилы.

Мы поднялись еще до восхода солнца и поспешили по темным улицам к Скобелевской площади. Во всем огромном городе не было видно ни души. Но со всех сторон

¹ Фут — 30,5 см, ярд — 91,5 см.

издалека и вблизи был слышен тихий и глухой шум движения, словно начинался вихрь. В бледном полусвете раннего утра перед зданием Совета собралась небольшая группа мужчин и женщин с целым снопом красных знамен с золотыми надписями — знамен исполнительного комитета Московского Совета. Светало... Доносившийся издали приглушенный движущийся шум крепчал, становился все громче, переходя в рокот. Город поднимался на ноги. Мы двинулись вниз по Тверской, неся над собой реюшие знамена. Часовенки, мимо которых нам пришлось идти, были заперты. В них было темно. Заперта была и часовня Иверской божьей матери, которую некогда посещал перед коронаванием в Кремле каждый новый царь и которая обычно была открыта и наполнена толпой круглые сутки, сияя огнями, отражавшими на золоте, серебре и драгоценных камнях ее икон отблески свечей, зажженных набожной рукой. А теперь, как уверяли, впервые со времени наполеоновского нашествия свечи погасли.

Святая православная церковь лишила своего благословения Москву — это гнездо ядовитых ехидн, осмеливавшихся бомбардировать Кремль. Церкви были погружены в мрак, безмолвие и холод, священники исчезли. Для красных похорон нет попов, не будет панихид по усопшим, над могилой святотатцев не вознесется никаких молитв. А вскоре московский митрополит Тихон наложит на Советы отлучение.

Магазины были тоже закрыты, и представители имущих классов сидели дома по другим причинам. Этот день был днем народа, и молва о его пришествии гремела, как морской прибой.

Через Иверские ворота уже потекла людская река, и народ тысячами запрудил обширную Красную площадь. Я заметил, что, проходя мимо Иверской, никто не крестился, как это делалось раньше...

Мы протолкались сквозь густую толпу, сгрудившуюся у Кремлевской стены, и остановились на вершине одной из земляных гор. Здесь уже было несколько человек, в том числе солдат Муралов, избранный на пост московского коменданта, высокий, бородатый человек с добродушным взглядом и простым лицом.

Со всех улиц на Красную площадь стекались огромные толпы народа. Здесь были тысячи и тысячи людей, истощенных трудом и бедностью. Пришел военный оркестр, игравший «Интернационал», и вся толпа стихийно подхватила гимн, медленно и торжественно разлившийся по площа-

ди, как морская волна. С зубцов Кремлевской стены свисали до самой земли огромные красные знамена с белыми и золотыми надписями: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции» и «Да здравствует братство рабочих всего мира!»

Резкий ветер пролетал по площади, развевая знамена. Теперь начали прибывать рабочие фабрик и заводов отдаленнейших районов города; они несли сюда своих мертвецов. Можно было видеть, как они идут через ворота под трепещущими знаменами, неся красные, как кровь, гробы. То были грубые ящики из нетесаных досок, покрытые красной краской, и их высоко держали на плечах простые люди с лицами, залитыми слезами. За гробами шли женщины, громко рыдая или молча, окаменевшие, мертвенно-бледные; некоторые гробы были открыты, и за ними отдельно несли крышки; иные были покрыты золотой или серебряной парчой, или к крышке была прикреплена фуражка солдата. Было много венков из неживых искусственных цветов...

Процессия медленно подвигалась к нам по открывавшемуся перед нею и снова сдвигавшемуся неровному проходу. Теперь через ворота лился бесконечный поток знамен всех оттенков красного цвета с золотыми и серебряными надписями, с черным крепом на верхушках древков. Было и несколько анархистских знамен, черных с белыми надписями. Оркестр играл революционный похоронный марш, и вся огромная толпа, стоявшая с непокрытыми головами, вторила ему. Печальное пение часто прерывалось рыданиями...

Между рабочими шли отряды солдат также с гробами, сопровождаемыми воинским эскортом — кавалерийскими эскадронами и артиллерийскими батареями, пушки которых увиты красной и черной материей, увиты, казалось, навсегда. На знаменах воинских частей надписи: «Да здравствует III Интернационал!» или «Требуем всеобщего справедливого демократического мира!». Похоронная процессия медленно подошла к могилам, и те, кто нес гробы, опустил их в ямы. Многие из них были женщины — крепкие, коренастые пролетарки. А за гробами шли другие женщины — молодые, убитые горем, или морщинистые старухи, кричавшие нечеловеческим криком. Многие из них бросались в могилу вслед за своими сыновьями и мужьями и страшно вскрикивали, когда жалостливые руки удерживали их. Так любят друг друга бедняки...

Весь долгий день до самого вечера шла эта траурная процессия. Она входила на площадь через Иверские ворота и уходила с нее по Никольской улице, поток красных знамен, на которых были написаны слова надежды и братства, ошеломляющие пророчества. И эти знамена развевались на фоне пятидесятитысячной толпы, а смотрели на них все трудящиеся мира и их потомки отныне и навеки...

Один за другим уложены в могилу пятьсот гробов. Уже спускались сумерки, а знамена все еще развевались и шелестели в воздухе, оркестр играл похоронный марш, и огромная толпа вторила ему пением. Над могилой на обнаженных ветвях деревьев, словно странные многокрасочные цветы, повисли венки. Двести человек взялись за лопаты и стали засыпать могилу. Земля гулко стучала по гробам, и этот резкий звук был ясно слышен, несмотря на пение.

Зажглись фонари. Пронесли последнее знамя, прошла, с ужасной напряженностью оглядываясь назад, последняя плачущая женщина. Пролетарская волна медленно схлынула с Красной площади...

И вдруг я понял, что русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье...

Альберт Рис Вильямс (1883—1962) — известный американский писатель и публицист. Неоднократно бывал в СССР. Написал об Октябрьской революции около сотни статей, издал семь брошюр и шесть книг, неоднократно выступал с речами и лекциями, пропагандируя социальные преобразования в первой в мире стране социализма. Главы печатаются по книге А. Р. Вильямса «Путешествие в революцию» (М.: Молодая гвардия, 1972).

ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕВОЛЮЦИЮ

(Главы из книги)

«Социализм не преподнесут на тарелочке»

Погода становилась все холоднее. С берез, кленов и дубов слетели последние листья. Лужи покрылись тонкой корочкой льда. Энтузиазм масс, поднявшийся до самой высшей точки в момент общей опасности, стал постепенно спадать. Советы добились полной власти. Но впереди их ждало немало горьких дней.

Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как в ответ на заявление Церетели о том, что в России нет ни одной партии, которая взяла бы на себя ответственность за управление страной, раздался возглас: «Есть!» Теперь Ленин получил возможность это доказать. Его партия взяла власть, а вместе с ней ей досталась страна, погибающая от голода, холода и полного разорения. Старый строй рухнул, и, по словам Ленина, «новая организация государства рождается с величайшим трудом...»¹.

В течение шести предыдущих месяцев Ленин и его партия указывали на несостоятельность коалиционных правительств, на их преступную бездеятельность, полную неспособность прекратить спекуляцию и разрушение транспорта, справиться с голодом в городах и выполнить обещания, данные крестьянам, остановить падение производства и обеспечить снабжение армии, которая, истекая кровью, продолжала выполнять царские обязательства перед союзниками. Придя к власти, большевики оказались перед лицом тех же проблем, да к тому же должны были создать новую, жизнеспособную экономическую систему без

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 371.

капиталистов и помещиков. А по какому образцу ее создавать? Ведь у них не было ни планов, ни схем.

«Маркс показал рабочему классу цель,— писал У. С. Уайт в своей книге о Ленине,—Ленин дал ему партию, путевую карту и походное снаряжение». Но у Ленина не было готовой путевой карты, и он этого не скрывал. Ни в большевистских, ни в меньшевистских учебниках об этом ничего не писалось.

Что же касается походного снаряжения, то Ленин был убежден, что рабочие сами себя обеспечат. Во всех своих речах, в выступлениях перед рабочими и в беседах с крестьянами он призывал к нинципату снизу...

Он непрестанно напоминал народу о реальном положении дел. Он даже не обещал, что их эксперимент продлится долго. Выступая на III Всероссийском съезде Советов 11 января 1918 года, он скажет: «2 месяца и 15 дней — это всего на пять дней больше того срока, в течение которого существовала предыдущая власть рабочих... власть парижских рабочих в эпоху Парижской коммуны 1871 года... Представлять себе социализм так, что нам господа социалисты преподнесут его на тарелочке, в готовеньком платьице, нельзя.— этого не будет... Рабочие и крестьяне еще недостаточно верят в свои силы, они слишком привыкли, в силу вековой традиции, ждать указки сверху»¹.

Меньшевики, правые эсеры и другие «умеренные» партии, а также объявленная врагом народа миллионокская партия кадетов находились в открытой оппозиции к большевикам. Поэтому в проведении земельной реформы, в организации раздачи земли Ленину и его партия зависели пока от левых эсеров. Во многих районах левым эсерам, чтобы превратить бывшие деревенские общины и земства в Советы, пришлось вступить в борьбу с правыми эсерами и кулаками.

На данном этапе большевики поддерживали левозесеровскую политику раздела земли, которую Ленин считал ошибочной, так как она не вела к социализму в деревне и не имела целью социалистическое производство, но не была опасной. В тот момент большевики, поглощенные основной задачей — остановить катастрофическое падение производства и обеспечить хлебом голодающие города, не имели времени заняться организацией комитетов деревенской бедноты. Комитеты начали действовать только с лета и осени 1918 года, и Ленин по этому поводу писал, что

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 261, 265, 276.

только тогда деревня пережила свою Октябрьскую (то есть пролетарскую) революцию и только тогда был перейден рубеж, отделяющий буржуазную революцию от социалистической.

А пока большевики пытались спасти трещавшую по всем швам экономику и наладить производственную машину, которая при Керенском уже еле скрипела и грозила полностью остановиться. Кроме того, они должны были разрушить капиталистическую основу экономики, постепенно переводя ее на социалистические рельсы.

Лозунг «Земля, мир, хлеб!» был лозунгом и Февральской революции. Однако теперь, после того как все сменявшие друг друга правительства, начиная с кабинета Милюкова — Гучкова и кончая различными коалициями во главе с Керенским, не смогли дать ни земли, ни мира, ни хлеба, эти три слова стали ассоциироваться только с деятельностью большевиков.

В первый же день Октябрьская революция покончила с частной собственностью. В первый же день она предложила мир всем воюющим нациям — как правительствам, так и народам. В первые же дни новая власть начала публиковать все секретные царские договоры, которые Временное правительство хранило в тайне.

Вскоре, однако, пришли трудности и разочарования. Людям, совершавшим революцию, она обещала мир, хлеб и землю, и они не делали различия между тем, к чему Ленин призывал, и тем, что он обещал. Хлеб? Но мизерный паек стал еще меньше, а качество хлеба еще хуже. Мир? Но в первые же часы мы были свидетелями начала гражданской войны. Пока конгресс-революция получила достойный отпор, но она не сдалась, она ушла в подполье, дожидаясь более благоприятного момента.

Если какая-то часть населения и смогла немедленно воспользоваться благодеяниями революции, то это, безусловно, были крестьяне. Формальное отражение этого я увидел здесь, в Петрограде, наблюдая одну из самых волнующих демонстраций, какую мне довелось видеть на протяжении всей революции, наблюдая событие огромной исторической важности. Старый исполком Совета крестьянских депутатов, которым заправляли правые эсеры, отказался от какого бы то ни было сотрудничества с новым правительством. Однако I съезд Советов крестьянских депутатов, несмотря на уговоры лидеров, после долгих, бурных дебатов принял решение объединиться с Советом рабочих и солдатских депутатов. Построившись в колонну,

крестьянские депутаты отправились в Смольный, чтобы влиться в большой Центральный Совет, создав тем самым Совет рабочих и крестьянских депутатов, эмблемой которого стали серп и молот.

Так как на улице было уже совсем темно, то этот — в любом случае исторический — крестьянский марш приобрел еще и необыкновенно романтический характер. Когда процессия крестьянских депутатов неожиданно выплыла передо мной на плохо освещенном Невском проспекте, я остолбенел перед этим драматическим зрелищем. Бархатную темноту прорезали откуда-то взявшиеся прожекторы и яркими снопами света осветили марширующую колонну. Депутаты шли быстрым шагом под звуки «Марсельезы», которую с подъемом исполнял сопровождавший их военный оркестр. Длинные косые линии падающих снежинок наткнулись на острые штыки винтовок, высоко вскинутых на плечах солдат почетного эскорта. Кое-кто из депутатов нес зажженные факелы, освещавшие первые буквы лозунгов на красных плакатах. Часть плакатов была развернута над шеренгами, другие трепыхались на одном древке, как крылья огромных птиц. Процессия была небольшой: она шла мимо меня не более десяти минут и так же неожиданно, как возникла, ослепив ярким светом и красками, исчезла в темноте, оставив меня в одиночестве потрясенным и взбудораженным, пока наконец я не пришел в себя и не бросился ее догонять.

В Смольном я стал свидетелем официальной церемонии «венчания» крестьян с рабочими и солдатами. Я потом писал, как один немолодой крестьянин воскликнул: «Я шел сюда не по земле, а летел, будто птица, по воздуху». Большевики предложили левым эсерам несколько мест в правительстве, возникло то, что Ленин назвал «честной коалицией, честным союзом», так как это был союз рабочих и крестьян. Но этот союз, объяснял он, «будет честной коалицией и на верхах, между левыми эсерами и большевиками, если левые эсеры более определенно выскажут свое убеждение в том, что переживаемая нами революция есть революция социалистическая»¹. «Уничтожение частной собственности на землю, введение рабочего контроля, национализация банков — все это меры, ведущие к социализму. Это еще не социализм, но это меры, ведущие нас гигантскими шагами к социализму. Мы не обещаем крестьянам и рабочим сразу молочных рек с кисельными бере-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 100—101.

гами, но мы говорим: тесный союз рабочих и эксплуатируемых крестьян, твердая, неуклонная борьба за власть Советов ведет нас к социализму...» — говорил Ленин¹.

Однако «медовый месяц» был коротким и был прерван реквизициями хлеба. (Временный союз большевиков и левых эсеров тоже разорвался. Эсеры вышли из правительства после ратификации Брестского договора.) Это было началом длительной борьбы не только за подлинную социализацию земли, но и за перестройку крестьянской психологии.

Несколько месяцев спустя на III Всероссийском съезде Советов я услышал из уст Ленина следующие слова:

«Всякий сознательный социалист говорит, что социализм нельзя навязывать крестьянам насильно... Мы знаем, что только тогда, когда опыт показывает крестьянам, каков, например, должен быть обмен между городом и деревней, они сами снизу, на основании своего собственного опыта, устанавливают свою связь. С другой стороны, опыт гражданской войны указывает представителям крестьян воочию, что нет другого пути к социализму, кроме диктатуры пролетариата и беспощадного подавления господства эксплуататоров»².

Между тем в период «медового месяца» обстановка была далеко не простой. Во многих, особенно в отдаленных от Москвы и Петрограда, губерниях зажиточные крестьяне становились богаче, а бедняки лишь менее бедными. Правда, уничтожение материальных ценностей, разграбления и поджоги помещичьих усадеб, в чем нередко с ожесточившимися крестьянами принимали участие солдаты и матросы, прекратились.

Помимо крестьян реально ощутимые блага октябрьского переворота получили и некоторые другие группы населения. Какая-то немногочисленная часть рабочих переселилась с чердаков и из подвалов в более приличные квартиры. Люмпен-пролетариат, хулиганы и грабители некоторое время наслаждались роскошной жизнью, утоляя жажду разлитыми морями водки и отборных вин. Еще до Октября стали обычными налеты на спирто-водочные заводы и склады — их участники пытались восполнить все недополненное ими за многие годы. Теперь сфера этой деятельности расширилась за счет винных погребков аристокра-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 101.

² Там же, с. 264.

тии, пока красногвардейцы после строгого предупреждения не положили конец «винным погромам».

Итак, крестьяне получили землю. А рабочий класс? Класс, на который легла главная ответственность за революцию? Его условия жизни ухудшились. До 1917 года массовые мобилизации в армию и оборонную промышленность истощили деревню. Однако, несмотря на приток рабочей силы, производство неуклонно падает. Февральская революция не выполнила требований рабочих: восьмичасовой рабочий день был введен на немногих предприятиях.

После Октября производство сократилось еще больше. Голод заставил многих фабричных рабочих, набранных из крестьян, вернуться в деревню. Железные дороги были в самом плачевном состоянии. Назревал топливный кризис.

Чем же объяснялась преданность масс Советам, то есть фактически большевикам? Как большевикам удалось сохранить доверие масс? По этому поводу у нас с Ридом было много споров.

Уже в декабре мы увидели, что если революция принесла рабочим дополнительные лишения, усилила голод и холод, то она с избытком компенсировала это другим. В морозном воздухе все еще витал дух победы. Декрет выпускался за декретом, и каждый из них вводил новые социалистические реформы. Большинство декретов 1917—1918 годов было написано самим Лениным. Они, в частности, отменили все старые ограничения, основанные на сословном положении, национальной принадлежности, вероисповедании и различии полов. Они, как бульдозер, смели все препятствия и табу, мешавшие низшим сословиям выбраться из нищеты и несправедливости. На уличных баррикадах революции рабочие завоевали возможность разрушить баррикады на своем жизненном пути.

А голод между тем настолько усилился, что Ленин 14 декабря вынужден был написать:

«Два вопроса стоят в настоящий момент во главе всех других политических вопросов: вопрос о хлебе и вопрос о мире»¹.

Мы с Ридом не переставали удивляться, как мало ели и как много энергии вкладывали в свою работу наши знакомые большевистские активисты.

— Очевидно, революция тоже не хлебом единым жива,— сказал я Риду.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 169.

— Но и без хлеба она не может прожить,— возразил он.

К этому времени Рид, если память мне не изменяет, уже знал, что его вместе с остальными редакторами журнала «Мэссиз» в США привлекают к судебной ответственности и что сам журнал закрыт. Лично Риду вменялась в вину публикация одной из статей под заголовком: «Сшейте смиренную рубашку для вашего храброго солдата». Как бы то ни было, он перестал носиться по всему городу в поисках свежей информации для журнала и бегать на почту, чтобы вовремя отправить ее в редакцию (телеграфом было слишком дорого).

Статьи и корреспонденции, которые он тогда писал, увидели свет лишь спустя много месяцев. В то время мы с ним работали под началом Борнса Рейнштейна в только что созданном при Наркоминделе бюро пропаганды. Наша работа состояла в составлении листовок, плакатов и брошюр, которые распространялись среди немецких и австрийских солдат на фронте. Мы призывали их сбросить своих монархов, как русские сбросили своего царя. Вместе с нами в бюро работал один из русских американцев, «профессор» Чарли Кунц. Он тогда ничего не понимал в журналистике, но хорошо знал немецкий язык, во всяком случае, намного лучше меня, хотя и я знал его неплохо.

— Я позволю себе напомнить,— продолжал Рид,— что еще Кропоткин в свое время сказал: «Революция с самого своего зарождения должна представлять собой акт справедливости по отношению ко всем угнетенным и поработанным». Она не может откладывать выполнение обещанного, иначе она потерпит поражение. Другими словами, революция должна раздать вознаграждения немедленно.

— Да, но Кропоткин никогда не делал революцию,— возражал я,— и посмотрь, к чему он пришел. Кроме того, он не уточнял характер вознаграждения. Ведь не всё имеет вещественное выражение, существуют какие-то духовные потребности, которые удовлетворяют революции, и народ это понимает, иначе нас не принимали бы так на митингах, иначе бы народ не поддерживал...

— Минуточку, минуточку,— прервал меня Рид.— А ну-ка назови мне эти удовлетворенные духовные потребности.

В разное время я по-разному их формулировал, но тогда я назвал три основных завоевания революции, которые нельзя было ни потрогать, ни съесть, ни надеть: 1) новый статус рабочих; 2) торжество справедливости и возмездие; 3) открытие широких горизонтов, счастливое созна-

ние своей причастности к великому социалистическому движению, охватывающему все страны земного шара, а отсюда готовность вынести любые теперешние лишения ради оказания помощи трудящимся мира, которые, в свою очередь, придут на помощь русской революции и тем самым уменьшат эти лишения.

Для Рида слово «духовный» было еретическим, и он стал оспаривать каждый мой пункт, утверждая, что для рабочих все они имеют смысл только в практическом значении.

Первое. Декрет о рабочем контроле означает конец эксплуатации рабочих капиталистами, которые за это ненавидят большевиков и стремятся всеми способами саботировать производство. Второе. Новые народные суды — это самое прямое выражение того факта, что правящим классом является теперь пролетариат.

— А что касается твоих «широких горизонтов», то их «земным» воплощением может, в частности, служить массовый поход за ликвидацию неграмотности, который возглавляет наш друг Луначарский с помощью Крупской.

— Совершенно правильно, — подхватил я, — только где же твоя железная логика? Разве в этом есть что-нибудь материальное? Зачем, спрашивается, Советам тратить столько энергии и капитала, чтобы учить и молодежь и стариков? Мне кажется, дело не в том, чтобы научить их читать и писать, а в том, чтобы они почувствовали себя полностью раскрепощенными, осознали возможности развития личности, познали самих себя.

— Ах вот оно что! — язвительно откликнулся Рид. — Опять, значит, твои «духовные» ценности! Неужели ты воображаешь, что они проголосовали за выделение такой огромной суммы на образование и занялись так серьезно подготовкой новых учителей только потому, что большинство профессиональных преподавателей забастовало? А тебе не пришла в голову мысль, что индустриализацию нельзя провести в стране, где большинство населения неграмотно. Большевики реально смотрят на вещи, они понимают, что люди, которым предстоит освоить новую технику, управлять новыми машинами, а со временем самим их создавать, которым предстоит с помощью машин перестроить все сельское хозяйство, — эти люди должны быть грамотными.

Наконец в спор вмешался Кунц.

— Дорогой Джон, — сказал он, — Маркс и Энгельс не избегали слова «духовный». Не боится его и Ленин. Вы,

Джон, по существу, говорите то же, что и Альберт, только немного точнее. Оба вы чудесные ребята, и если бы вы серьезно занялись изучением марксизма...

— То мы бы никогда не закончили эти листовки, — сказал, смеясь, Рид. По его глазам я видел, что ему приятно было услышать похвалу из уст «профессора», которого он искренне любил.

Однако этот вопрос продолжал волновать нас. Не знаю, кто из нас был прав: Рид, я или Кунц, но повсюду, где бы мы ни были, мы замечали свидетельства зарождения у трудящихся чувства достоинства и самоуважения. В ресторанах посетителей по-прежнему обслуживали официанты, хотя меню значительно сократилось. В одном из ресторанов на столиках появились аккуратно написанные таблички: «Официант — тоже человек: не оскорбляйте его достоинства чаевыми».

* * *

Ни в чем сущность Октября — страстная ненависть к прошлому и твердая вера в будущее — не проявилась с такой наглядностью, как в проведении в жизнь довольно прозаического декрета о народных судах. Здесь народ ярче всего продемонстрировал свою способность преодолеть старые привычки, старый образ мышления.

В первые же послеоктябрьские дни были созданы рабочие трибуналы. Действовали они нерегулярно и поражали непоследовательностью своих решений и почти милосердным отношением к буржуазии. В грозных прокламациях тех дней «хищники, мародеры и спекулянты» объявлялись врагами народа, а одно из воззваний оканчивалось словами: «Саботажников к позорному столбу! Долой преступных наемников капитала!»

Правосудие вершилось революционными рабочими трибуналами, и чаще всего приговор, произносимый с устрашающей строгостью, гласил: «Именем международного пролетариата заклеить позором». (Большинство старых судов отказалось признать правомочность Советской власти, однако им разрешили исполнять свои функции, если применяемые в каждом случае законы не противоречили «революционной совести и революционному правосознанию».)

Ясным морозным утром 28 ноября Агурский (русско-американский анархист, ставший большевиком), Бесси Битти и я, перейдя по Дворцовому мосту через Неву, про-

бирались через сугробы к дворцу великого князя Николая Николаевича, где в бывшей музыкальной гостиной — просторном зале, украшенном панелями из редких пород деревьев, — проходило первое заседание рабочего трибунала. В числе обвиняемых была графиня Панина — одна из лидеров партии кадетов и министр общественного призрения в кабинете Керенского. В этот день был опубликован декрет об аресте всех кадетских лидеров, как врагов народа, причастных к мятежу Корнилова. Графиня, кроме того, обвинялась в хищении 93 тысяч рублей. В зале уже было полно народу, ждали появления судей. Если не считать нескольких рабочих, публика состояла из хорошо одетых дам и мужчин, друзей Паниной, и других обвиняемых, в частности бывшего царского министра, организатора еврейских погромов и одного из руководителей «черной сотни» — Пуришкевича.

Было сделано все, чтобы дебют революционного трибунала прошел подобающим образом. Однако в последнюю минуту обнаружилось, что электричество не горит. Единственным освещением зала оказались две керосиновые лампы под красными абажурами, уставиовленные по обеим сторонам полукруглого стола, который стоял в одном конце зала и был покрыт куском красной ткани. Дамы стайкой кружились вокруг Паниной, сидевшей на скамье подсудимых под охраной двух солдат. В зал вошел еще один солдат и с размаху швырнул на стол автоматический пистолет — стайка в испуге разлетелась. Как потом выяснилось, пистолет был просто вещественным доказательством в деле Пуришкевича: сотрудники ЧК изъяли его при аресте вместе с обвиняющими контрреволюционными документами. Шум неожиданно стих, в зал по одному входили судьи: председатель трибунала Жуков, человек с интеллигентным, гладко выбритым лицом, державшийся легко и уверенно, и шесть членов трибунала — два крестьянина, два солдата и два рабочих. (Это был один из шести составов, и они должны были меняться раз в неделю.) Бросалась в глаза белая, с воротничком, рубашка председателя, на остальных были темные, почти черные блузы, гимнастерки, а на одном из крестьян — вышитая косоворотка. Члены трибунала осторожно опустили на обтянутые парчой стулья. Все они, кроме председателя, сидели напряженно выпрямившись, с сурово-торжественным выражением на лице, с полным сознанием возложенной на них ответственности. Однако больше всего меня занимала фигура коменданта, стоявшего у одного конца стола. На вид

ему было лет 25. В брезентовом пальто на вате, в высокой барашковой папахе, похожей на солдатскую, только надетой не по уставу, он представлялся мне символом диктатуры пролетариата.

Дело Паниной заняло много времени, главным образом потому, что основным свидетелем защиты был рабочий и обвинитель, тоже рабочий, хотел во что бы то ни стало разубедить этого свидетеля. (Кстати сказать, обвинитель, как и свидетель, вышел к судейскому столу прямо из публики.) Характерно, что ни тот, ни другой не обращали особого внимания на существо обвинения. Свидетель говорил о добрых делах графини, о Народном доме, где он научился читать.

— Она дала мне возможность стать мыслящим человеком,— сказал он и добавил фразу, которой, по-видимому, выиграл очко в свою пользу: — Мы хотим, чтобы весь мир увидел великодушные революции.

Он настаивал, чтобы Панину отпустили на свободу.

— Все это верно, товарищи,— начал прокурор Наумов, и голос его звучал убежденно и искрение.— У этой женщины доброе сердце, она пыталась принести пользу своими школами, яслями и столовыми для бедных. Но если бы у народа были те деньги, которые она получила с его пота и крови, мы бы имели свои собственные школы, ясли и столовые. Товарищ рабочий не прав. Народ должен учиться читать потому, что он имеет на это право, а не по милости или доброте какого-то одного человека.

Получив слово, Панина встала перед судьями и заявила, что она действительно взяла деньги и поместила их в банк, чтобы большевики не смогли ими воспользоваться. (Декрет о национализации банков еще не вступил в силу к тому времени.) Судьи удалились на совещание. Через полчаса они появились снова, и лица их были еще более торжественными. Бесси Битти, сгорая от нетерпения, пыталась предсказать приговор.

— Все говорят о гильотине,— шептала она мне на ухо,— но Петерс заверил меня, что казни не будет, скорее всего ее отправят в ссылку. Я убеждена, что приговор будет суровым.

В абсолютной тишине Жуков начал читать текст приговора. Он был длинным и изобиловал многоступенчатыми придаточными предложениями о священном характере народной собственности. Нам пришлось выслушать подробнейшую преамбулу, которая по своей обстоятельности вполне могла бы быть прелюдией к смертному приговору.

По этой преамбуле догадаться о мере наказания было совершенно невозможно. Но вот наконец Жуков тоном, который должен был внушить благоговейный страх, произнес:

— Революционный трибунал, кроме того, постановляет: вынести гражданке Паниной суровое порицание перед лицом революционных трудящихся всего мира.

Члены трибунала, ловившие каждое слово приговора, переглянулись с таким видом, будто поздравляли друг друга и будто говорили: «Вот как мы ее. А она-то надеялась своими слезами разжалобить нас! Вот это строгий суд!»

Несколько бестолковых поклонников Паниной захлопали, но их сразу же одернули более сообразительные друзья. (Через несколько дней деньги, похищенные Паниной, были переданы министру просвещения Луначарскому, и Панину освободили.)

Следующим судили какого-то генерала, которого защищали не только солдаты, служившие под его началом. Генерала, к ярости тех, кто хотел добиться для него сурового приговора за неподчинение приказу Крыленко, вызвавшего его на какой-то совет, приговорили к трем годам тюремного заключения. Приговор вызвал неодобрение обеих сторон. Раздались крики: «Позор! Позор!» Жуков пригрозил очистить зал, если беспорядок не прекратится.

Комендант объявил к слушанию дело Владимира Пуришкевича. Когда этот отъявленный монархист и воинствующий антисемит с самоуверенно-наглой улыбкой вышел вперед в сопровождении двух своих адвокатов — отца и сына Пушкиных, публика заволновалась. Этот самый надежный царский слуга, готовый совершить любое мерзкое преступление, инициатор многих грязных дел, в том числе знаменитой инсценировки процесса Менделя Бейлиса в 1913 году, был далеко не глупым человеком. Агурский — еврей по национальности — с возмущением прошептал мне, что Пушкины по рождению тоже евреи! В списке свидетелей обвинения было названо около 12 человек, трое носили еврейские фамилии. Одному из них защита заявила отвод, мотивируя тем, что он будет говорить неправду. Суд удовлетворил отвод, даже не выслушав свидетеля!

— Такая снисходительность пахнет либерализмом! Просто абсурд какой-то! — негодовал Агурский.

Но это было еще не все. Пушкины, опираясь на множество процессуальных правил, потребовали, чтобы рассмотрение доказательств было разделено на две части. Чтобы в первой части суд изучил прошлую деятельность

их подзащитного в той мере, в какой она имеет отношение к обвинению в принадлежности к контрреволюционному заговору. Здесь должны быть заслушаны и свидетели защиты, которые докажут, что он всегда был сторонником Временного правительства. (В действительности Пуришкевич играл ведущую роль в создании прокорниловской клики, господствовавшей на московском Демократическом совещании летом 1917 года.) Во второй части, говорили адвокаты, суд может заняться рассмотрением доказательств, которые якобы были найдены при аресте их подзащитного 3 (16) ноября.

Суд решил принять предложение адвокатов и перенес рассмотрение второй группы доказательств на следующий день.

Агурский так и кипел:

— Если они начнут разбираться во всех прошлых преступлениях Пуришкевича, им не хватит и целого года!

Это было не таким уж сильным преувеличением. Среди многих «деяний» Пуришкевича была и организация заговора с участием великого князя, имевшего целью предотвратить революцию снизу «революцией сверху». Центральным звеном заговора было убийство Григория Распутина, неграмотного сибирского мужика, который подчинил своему религиозно-мистическому влиянию большинство двора, включая царицу. Убийство совершилось в декабре 1916 года во дворце князя Юсупова, вызвав вздох облегчения у либералов и на короткий срок обиадежив Пуришкевича и других монархистов, но спасти монархию уже не могло. (Пуришкевич был признан виновным в предъявленном ему обвинении, осужден на небольшой срок тюремного заключения, но вскоре бежал и участвовал в формировании полка из офицеров и юнкеров, который был послан в распоряжение Каледина. Некоторое время спустя Пуришкевич объявился на Кавказе, где присоединился к генералу Деникину, а позже стал издавать какой-то черносотенный журнал. Умер он естественной смертью в Новороссийске в 1920 году.)

После Пуришкевича суд с той же серьезностью занялся молодым парнишкой, который обвинялся в краже пачки газет из киоска, принадлежавшего одной пожилой женщине. Не спрашивая, правда это или нет, и не требуя от истицы особых доказательств, судьи сразу спросили у обвиняемого, что он сделал с газетами. Оказалось, что тот продал их, выручив один рубль шестьдесят копеек. Последовал новый вопрос: куда он дел деньги? Паренек отвечал

зойко и даже весело. У него было плохое настроение, и он пошел в Народный дом на какую-то оперу — он давно мечтал посмотреть, что это такое.

— Ну и как, легче тебе стало после оперы? — спросил один из судей.

Паренек, улыбаясь, кивнул головой. Суд обязал его возместить ущерб, нанесенный продавщице газет, напомнив, что иметь киоск еще не значит быть капиталистом. Так как у парня не было ни копейки за душой, ему предложили продать что-нибудь из имущества. Он ответил, что все его имущество на нем. Тогда судьи внимательно посмотрели, в чем он одет, и выбрали галоши — они стоили приблизительно столько, сколько требовалось. Печально вздохнув, паренек неохотно снял их и передал женщине. Потом он улыбнулся и сказал:

— Зато я видел оперу.

* * *

Рабочие трибуналы были для меня примером «расширения горизонтов», о котором я говорил Риду, и в тот период примером более наглядным, чем кампания по ликвидации неграмотности, приостановившаяся из-за забастовки старых учителей и отсутствия новых. Мягкость приговоров, выносимых трибуналами, отражала сознательную политику большевиков, которые, казалось, были одержимы идеей лучезарной справедливости, расцветающей пышным цветом под солнцем их революции. Только что одержана победа, народ пропитан духом международной пролетарской солидарности, поэтому большевики, оказавшись в новом для себя качестве вершителей правосудия, сочли возможным проявить снисхождение к своему классовому врагу. Рабоче-крестьянским судьям, наверное, и в голову не приходило, что стоявших перед ними «буржуев» и монархистов абсолютно не волиует «суровое порицание» международного пролетариата.

Во что обошлась им чрезмерная снисходительность первых дней? Если бы вначале они были менее милосердными, нам, возможно, не пришлось бы писать кровавую историю контрреволюции и интервенции. Милосердие притупило жажду мщения, которая сопутствует всем революциям. С другой стороны, если бы они не проявили эту чрезмерную мягкость, мы не смогли бы сегодня рассказывать о том, как они вначале пытались вести гражданскую войну мирным оружием.

Я не отрекаюсь от своих слов, написанных много лет тому назад в книге «Сквозь русскую революцию», и могу повторить их снова: «Революция не везде была достаточно сильной, чтобы смирить дикие порывы толпы. Не всегда ей удавалось вовремя остановить кровопролитные расправы. Хулиганы нападали на ни в чем не повинных граждан. В захолустье бандиты, назвавшись красногвардейцами, совершали гнусные преступления. На фронте генерал Духонин был вытаскен из своего вагона и, невзирая на протесты комиссаров, растерзан в клочья. Даже в Петрограде разбушевавшиеся толпы забили до смерти нескольких юнкеров, а некоторых побросали в Неву.

...Но страшной кровавой бойни не последовало. Напротив, мысль о репрессиях меньше всего занимала рабочих»¹.

Однако очень скоро и неизбежно наступит момент, когда от мягкости и снисходительности первых послеоктябрьских месяцев придется отказаться. В течение двух-трех лет в стране будет установлен суровый военный порядок. В инструкциях начнет применяться сталь, железный режим не дрогнет перед пролитием крови. Но это будет потом, после принятия жестоких условий унижительного Брестского договора, который к тому же постоянно нарушался немцами, и после того, как страны Антанты, объединившись с самыми реакционными белыми генералами — кандидатами в военные диктаторы — Колчаком, Деинкиным и другими, начнут открытую интервенцию против молодой республики.

Правда, еще в декабре, вскоре после победы большевиков, Ленин счел необходимым предупредить товарищей против мягкотелости и всепрощения. Вот что он говорил в пересказе Воскова: рабочие еще не совсем осознали свою власть, и это естественно, но «горе-революционеры» хотят, чтобы мы, поймав саботажника или Пуришкевича с документами контрреволюционного заговора, подставляли бы им для удара вторую щеку. Нет, говорил Ленин, не щеку им подставлять, а расстреливать их надо! Где же у нас диктатура? И что будет с нашей революцией без нее? Вместо диктатуры — растерянность и болтовня. Если мы не проявим твердости, враг нас сломит.

Тем не менее в те голодные, но счастливые дни и недели после отпора войскам Керенского — Краснова, пытав-

¹ Вильямс А. Р. О Ленине и Октябрьской революции. М.: 1960, с. 184—185.

шимся захватить Петроград, новая власть проявляла необычайное великодушие и мягкость, несмотря на все предупреждения Ленина.

* * *

Петерс был назначен заместителем председателя только что созданной Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (сокращенно ВЧК). Новые обязанности поглощали все его время, однако, если выдавалась свободная минутка, он по-прежнему охотно с нами беседовал. Когда встревоженная слухами Бесси Битти спросила его, правда ли, что будет введена казнь на гильотине, он ответил:

— 25 октября было свергнуто Временное правительство. 26 октября была отменена смертная казнь. И мы никогда ее не восстановим... разве только,— поколебавшись, добавил он,— разве только нам придется применить ее к предателям из наших собственных рядов. А как иначе можно поступить с предателями? Нас ведь так мало для выполнения стоящих задач, что мы вынуждены брать всех, кто к нам идет.

Как-то раз мы с Ридом, закончив работу в Наркоминделе, решили по дороге домой зайти к Петерсу в ЧК. Он сидел на самом верхнем этаже дома на Гороховой...

ЧК выполняла главным образом следственные функции и придерживалась при этом определенных социалистических принципов, хотя мы с Ридом часто поддразнивали Петерса, подвергая это сомнению. (Даже анархист Махио, описывая свое пребывание в тюрьме летом 1918 года в качестве политического заключенного ЧК, рассказывает, как ЧК создала комиссию из бывших политических узников московских тюрем с целью разоблачения наиболее жестоких тюремщиков, которые были потом арестованы и привезены на допрос в ЧК.)

В тот вечер Петерс выглядел усталым, был явно чем-то расстроен и не склонен вступать в споры. Он рассказал нам об одном офицере, который под видом советского комиссара появлялся в дорогих отелях и реквизировал кошельки и бумажники. Прежде чем его поймали на месте преступления, он успел награть довольно крупную сумму денег.

— И что же с ним сделали? — спросил Рид.— Вынесли суровое порицание перед лицом международного рабочего класса? Или, может быть, включили его имя в список врагов народа?

Это были самые распространенные в те дни наказания.

— Пожизненное заключение,— лаконично ответил Петерс. Я был ошеломлен.

— Но ведь другие за более тяжкие преступления получали лишь несколько недель!

— Дело в том, что этот офицер совратил шестнадцатилетнюю девочку и вообще отъявленный негодяй. Я бы сгноил его в тюрьме,— сказал Петерс.

— Так за что же он все-таки получил пожизненное заключение: за совращение девочки, за грабеж или за то, что изображал из себя комиссара? — пытался выяснить Джон.

Но прежде чем Петерс успел ответить, Рид неожиданно изменил направление атаки, как это часто с ним бывало.

— Впрочем, меня совершенно не волнует, что вы сделаете с каким-то мелким мерзавцем,— сказал он,— но вот чего я никак не могу понять, так это вашего отношения к мерзавцам крупного калибра. Почему они остаются ненаказанными? Корнилов, например. Большевики приходят к власти, заключенный Корнилов узнает об этом и просто покидает тюрьму, будто снимается с бивуака. Керенский открыто выезжает из Петрограда, а потом в костюме матроса проскальзывает мимо постов, в двух шагах от Дыбенко, пока тот ведет с казаками переговоры о его выдаче. А Краснов! Стоило ли его сажать под арест, чтобы затем выпустить? Мы пишем листовки, объясняя немцам, как избавиться от угнетателей. А как прикажете объяснить им, почему русские отпускают своих на свободу?.. Ладно, черт возьми,— неожиданно засмеялся он и хлопнул Петерса по плечу,— подождем, пока мы сами совершим у себя революцию, тогда уж и будем вас учить.

— Интересно, что бы сказали немецкие солдаты, если бы узнали, что эти листовки, в которых говорится, насколько легко свершается революция, пишут два американца? — задал я риторический вопрос.

Мы действительно это писали. Вот как, например, объяснялась природа революции в одной из наших листовок: «Революция свершается легко. Власть аристократии держится только на рабстве и покорности, на пассивности народа. Когда они исчезают, исчезают и цари».

Мой рассказ о листовках наконец развеселил Петерса. У нас действительно все выглядело гораздо проще, чем у Ленина, подтвердил он, смеясь, и напомнил одно место из недавней речи Ленина на съезде военного фронта: «Если было так легко справиться с шайкой жалких, полоумных

людей, как Романов и Распутин, то зато неизмеримо труднее бороться с организованной и сильной кликой германских коронованных и некоронованных империалистов»¹.

— Не менее трудно,— продолжал Петерс, уже совсем успокоившись,— проводить политику нейтрализации генералов и контрреволюционных лидеров, не теряя при этом из виду основные цели революции и не позволяя себе захлебнуться в волне анархистской распушенности. Но вы правы: мы многих выпустили из наших рук. Все это не так просто...

Мы молчали. Возразить было нечего. Генерал Н. Н. Духонин, последний начальник штаба верховного командования при Керенском, стал после бегства Керенского первым верховным главнокомандующим нового режима. 8 (21) ноября Духонин получил приказ Совета Народных Комиссаров немедленно начать переговоры о перемирии. В то время мало кто из генералов воспринимал Октябрьскую революцию и советских комиссаров всерьез. Духонин отказался выполнить приказ, а когда ему было заявлено об отстранении его от должности за неповиновение предписаниям правительства, он не признал законности этого распоряжения. Совет Народных Комиссаров клеймил его поведение как «несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям»² и назначил новым главнокомандующим прапорщика Н. В. Крыленко, который тут же с военным отрядом отправился в Могилев, в ставку главноверха. 9 (22) ноября «всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота» была послана радиотелеграмма за подписью Ленина и Крыленко, которая излагала суть дела и призывала солдат и матросов не дать «контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира», окружить их стражей, «чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда». Радиотелеграмма настойчиво убеждала: «Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок». И с той же настойчивостью предлагала выбирать уполномоченных «для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем»³.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 117.

² Там же, с. 82.

³ Там же.

Когда Крыленко прибыл в ставку, Духонин не оказал никакого сопротивления. Некоторые офицеры и небольшая часть войска, не симпатизирующие большевикам, ушли из Могилева. 19 ноября по решению местного Совета власть в городе была передана в руки большевистского Военно-революционного комитета. Крыленко обосновался в штабе, большинство офицеров, арестованных вместе с Духониным, было выпущено на свободу. Казалось, все шло спокойно, и вдруг — самосуд над Духониным. Это было полной неожиданностью. Группа разъяренных солдат вытащила его из вагона, где он содержался под стражей, и убила. Потом выяснилось: солдаты узнали, что по приказу Духонина Корнилов, Деникин и другие офицеры были выпущены из тюрьмы. Это и послужило причиной расправы. Освобожденные генералы отправились на Юг, в Донскую область, и вместе с генералом Алексеевым начали создавать добровольческую белую армию. Контрреволюция собирала силы.

— Конечно, нельзя пока ожидать, чтобы каждый солдат понимал значение слов «революционная дисциплина», — сказал Рид, — но они прекрасно поняли, что приказ Духонина создал угрозу для их революции.

— И все-таки, — заметил я, — несмотря на отдельные эксцессы, которые, конечно, сразу же попадают на первые полосы всех газет мира, русскому народу в целом глубоко чужда мстительность, он очень легко и быстро прощает зло. Мне рассказывали, что в провинции крестьяне-присяжные, как правило, сочувствовали подсудимому. Помню, Янышев даже говорил мне, что в русском языке нет точного эквивалента слову «криминал». Когда мы были в суде, я не мог отделаться от ощущения, что рабоче-крестьянские судьи и не считают стоящих перед ними представителей буржуазии лично ответственными за свои антисоветские действия.

Рид поморщился и стал обвинять меня в идеализации крестьянина и в романтизме. Он особенно охотно критиковал романтизм в других.

— Но вы, большевики, действительно слишком далеко заходите в своей доброте, — снова переключился он на Петерса...

Позже, уже в 1918 году, когда петроградскую ЧК возглавлял Урицкий, Восков рассказывал нам, как однажды к Урицкому привели какого-то царского родственника, чье имя и титул я не записал. Только что вышел декрет, запрещающий всем лицам мужского пола из семьи Романовых проживать в Петрограде и его окрестностях.

— Урицкий очень вежливо объяснил Романову, что декрет, помимо всего прочего, обеспечит ему большую безопасность. «Но я не могу покинуть город, не могу никуда уехать, так как у меня не осталось ни одного слуги»,— ответил тот. «Ну, это не беда,— сказал Урицкий,— вон он,— показывая на меня,— обходится без слуг, я тоже обхожусь без них. Попробуйте и вы, поезжайте куда-нибудь, устройтесь на работу, а там видно будет, может быть, вам потом разрешат вернуться».— «Да ведь мне не дадут должности в Советском правительстве»,— с поразительной логикой возразил родственник бывшего самодержца. «Есть же и другие виды деятельности, помимо политической»,— ответил Урицкий.— Можно поработать и в огороде. Весна вон на носу».

* * *

25 октября Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию, в которой отмечалось, что восстание было на редкость успешным и на редкость бескровным. Проект резолюции, составленный Лениным, внес на заседании Совета Володарский. И он же стал первой жертвой кровавого террора против большевистских вождей, организованного эсерами. Его убили в Петрограде прямо на улице 21 июня 1918 года. А 30 августа убили Урицкого и тяжело ранили Ленина. Только после убийства Володарского начались репрессии, и только в ответ на белый террор был объявлен красный террор. Глубоко взволнованный убийством Володарского, Ленин написал Зиновьеву, который с февраля 1918 года был председателем Петроградского Совета:

«Только сегодня (письмо датировано 26 июня 1918 г.— А. Р. В.) мы услышали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя... *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную.

Это не — воз — мож — но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего *решает*»¹.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 106.

Много раз видя собственными глазами отношение рабочих к Володарскому, я считаю тон письма еще довольно сдержанным. Жаль только, что Ленин не выступил с таким предупреждением в январе 1918 года после первого покушения на него самого.

Английский историк Чарльз Тревельян писал: «Революция не рождает ни святых, ни дьяволов». Я не собираюсь бросаться в бой, чтобы доказать обратное (тем более что среди всех критиков, откликнувшихся на выход в свет моей книги «Сквозь русскую революцию», Тревельян был, пожалуй, единственным, кто так тонко почувствовал сам и так ясно показал другим то главное, что я пытался выразить в книге,— причем сделал он это в период, который им же самим был охарактеризован как «новый период враждебности к Советскому правительству»). И все же справедливости ради не могу не высказать по этому поводу своего мнения. В те дни, когда революция еще не была вынуждена ответить террором на террор, когда интервенция и гражданская война еще не отравили горечью сердца и не ожесточили их, сравнительно небольшая горстка людей — некоторых я знал лично, вместе с ними работал, недоедал и недосыпал, а позже и шагал рядом в строю,— те, что самоотверженно пытались бороться с хаосом, создавая из него порядок, бескорыстно шли за самым бескорыстным и самоотверженным из них, за Лениным,— казались мне почти святыми.

Хаос был во всем, хаос и саботаж. (Шли дни и недели, а Советы все никак не могли получить деньги из банков, ни кредитов, ни наличными. для выдачи зарплаты рабочим. Финансовое положение было такое же, как во время американской революции, когда у главного квартирмейстера армии не было денег, чтобы получить на почте корреспонденцию, и когда Джордж Вашингтон слал во все штаты отчаянные письма, умоляя прислать продовольствие, фураж и ром, так как все запасы уже истощились.)

«...Перескочить сразу к социализму мы не можем»¹, — сказал Ленин, а тем, кто обвинял большевиков в терроре, диктатуре, гражданской войне, он ответил в январе 1918 года, за шесть месяцев до введения красного террора: «Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров. Чем прямее мы это скажем, тем скорее эта война кончится, тем скорее все трудящиеся и эксплуатируемые массы нас пой-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 267.

мут, поймут, что Советская власть совершает настоящее, кровное дело всех трудящихся»¹.

Да, хаос был во всем, но Ленин продолжал верить и убеждать других, что народ найдет правильный выход.

— Как мы сможем все это объяснить у себя дома? — завел однажды разговор Рид, когда мы сидели в своей рабочей комнате и отбирали фотографии для очередного плаката.

Как? Мы были согласны в том, что никакие объяснения не смогут удовлетворить всех, но, как бы кто к этому ни относился, революция свершилась, стихийная народная ярость взорвала вековечный порядок, и чем бы сейчас это ни кончилось, даже если кончится поражением, мир уже никогда не будет прежним. И все мы, кто видел, слышал и пережил этот взрыв, считали своим долгом объяснить революцию — каждый со своей предвзятой точки зрения. Мы никогда не делали вида, будто наша может быть какой-нибудь иной. Но как объяснить все это Америке? Вызовет ли русская революция сочувствие к себе или ей не простят выхода России из войны?

— Да не это ей не простят! Правительство никогда не простит русским революционерам то, что они бросили вызов всей капиталистической системе в целом, — сказал Рид.

— Для нас главное — отношение народа, — возразил я. — В сущности, у американцев очень много общего с русскими. Мы тоже многонациональный народ: фактически только нас и можно назвать европейцами. В Европе есть англичане, французы, немцы, датчане, ирландцы, поляки, русские и т. д., и только в Америке они составляют единую нацию.

— И оба народа — пионеры-землепроходцы, — подхватил Рид. — Мы двигались на запад, к Тихому океану, а они — к нему же, на восток. Но, кроме сходства, есть и различия. Наши фермеры непохожи на здешних крестьян, у нас нет того самого «мира», о котором ты так часто говоришь. да и освоение новых земель только-только кончилось.

— Ну и что же, а разве шведы, немцы и норвежцы, поднимавшие целину в степях Дакоты или Миннесоты, не привезли с собой вековую крестьянскую жажду земли, не утоленную на родине? Сколько лишений они перенесли, прежде чем эта земля начала плодородить!

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 268.

— А потом разбогатели, стали крайними индивидуалистами и вырастили сыновей и внуков, которые теперь пишут законы, управляют банками и охраняют статус-кво,— парировал Рид.

— И даже посылают своих детей учиться в Гарвард,— добавил я, смеясь.

— Или в духовные семинарии с филиалом в Европе.— подхватил Джон.

— Хорошо, ну а как ты объяснишь успех тех маленьких социалистических еженедельников, которые все время, хоть и на короткий срок, появляются у нас на Западе и Среднем Западе? — не унимался я.— А существование ежедневных социалистических газет? А число голосов, поданных за Дебса?

— Америка сейчас одержима главным образом машинами и деланием денег. Социалистические идеи волнуют пока только определенную часть рабочих и тех, что привезли эти идеи из Европы — из России после 1905 года, из Германии, из Австрии,— ответил Рид.

Мы оба хорошо понимали, что самым трудным вопросом будет для нас вопрос о свободе. Американцы, так же как и русские, народ глубоко демократичный и свободолюбивый. Как объяснить, чтобы американцы поняли: одно дело — свобода в Америке XX века, а другое — свобода в России? Особенности истории России сделали русского большим экстремистом и большим абсолютистом, чем американец. Воспитанный в условиях самодержавия, он страстно жаждал свободы, но для него это означало свободу чего-то: свободу жизни, труда, образования независимо от пола, религии и национальности, свободу выбора и возможность применить свои способности на пользу себе и обществу. Для американца же свобода скорее означает свободу от чего-то, то есть отсутствие ограничений.

Между тем в тот ранний период революции мы видели, как понимает свободу петроградский пролетариат, и долгое время это понимание, воплощенное в самой революции, будет в представлении рабочих той социалистической нормой, к которой они вскоре вернуться. Это было выражено в статье, опубликованной в № 1 газеты «Красный меч» в августе 1919 года. «У нас новая мораль,— говорилось в статье.— Наш гуманизм абсолютен, так как основан на светлых идеалах уничтожения всякого насилия и угнетения. Нам позволено все, потому что мы первые в мире, кто поднимает меч не ради порабощения и подавления, а во имя всеобщей свободы и освобождения от рабства».

Как скоро им придется «поднять меч» и как скоро они смогут его поднять (армия развалена, крестьянские массы жаждут лишь мира) — эти вопросы ни в ноябре, ни даже в декабре почти ни у кого из нас не возникали. Но жаркие споры вокруг Брестского мира уже велись (временное перемирие было подписано, а в декабре начались официальные переговоры о прекращении войны): в январе — замаскированно, в феврале и марте — открыто. Сегодня историки единогласно признают, что ленинская политика, требовавшая заключения немедленного мира для создания новой армии, которая могла бы бороться с империалистами, спасла революцию. То, с каким трудом он победил, как его трезвая, реалистическая программа еле-еле одержала в марте верх над эмоциями многих членов партии, представляет собой одну из самых драматических страниц истории.

Что касается меня, то в декабре началось мое настоящее знакомство с Лениным, а в последующие месяцы тяжелых испытаний я узнал его еще ближе и глубже понял.

Интернационализм в январе

Начавшийся в январе брестский кризис усугублялся тем, что все споры вокруг мирного договора проходили в особых условиях: большевики еще не остыли от возбуждения, вызванного победой, вино успеха ударило в голову, и по мере того, как поступали вести о торжестве революции в провинции и в деревне, его пьянящее действие усиливалось.

По словам Ленина, большевики «в несколько недель, свергнув буржуазию, победили ее открытое сопротивление в гражданской войне» и «прошли победным триумфальным шествием большевизма из конца в конец громадной страны»¹.

Революционный пыл не остывал. Вера в пролетариат других стран, которую я впервые ощутил еще в июне, стала неотъемлемой частью революции. Этой верой были охвачены не только сознательные революционеры, но и самые широкие массы народа. Даже «умеренные» вынуждены были с ней считаться, иначе чем объяснить тот факт, что председатель I Всероссийского съезда Советов Чхеидзе обратился ко мне с просьбой выступить на съезде?

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 79.

И разве не этой горячей верой в рабочих всех стран можно объяснить те бесчисленные приглашения, которые буквально сыпались на нас с Ридом в сентябре,— приглашения выступить на заводских и рабочих собраниях? «Мир без аннексий и контрибуций» — часть большевистской программы, открыто провозглашенной большевиками после Апрельских тезисов Ленина,— был теперь узаконен Декретом о мире, утвержденным фактически прежде, чем над Зимним дворцом стих гул артиллерийских залпов.

Однако в январе, когда казалось, что уверенность в поддержке пролетариата всего мира господствует среди большевиков сверху донизу, Ленин этой уверенности не разделял. Если в октябре он призывал к смелости, к «тройной смелости», то сейчас, по его мнению, настало время осторожности.

А между тем весь мир лихорадило. Не один монарх и не одна «либеральная» партия Запада, стоявшая в то время у власти, дрожали от страха: большевистский «вирус» легко мог перекинуться на их страны, на рабочие партии и союзы, настроенные до сих пор патриотично. В Америке привлекли к суду редакторов журнала «Мэссиз» (и в их числе Джона Рида), одновременно поднялась истерическая кампания против «Индустриальных рабочих мира» и против иностранцев вообще. Все это было лишь прелюдией к антикоммунистическому «крестовому походу» 1919—1920 годов.

Внешне же дело выглядело так, будто американское правительство ни капли не было озабочено угрозой большевиков. Ведь еще в первомайском приветствии Временному правительству президент Вудро Вильсон изложил свои взгляды на цели войны, которые прозвучали для всего мира подобно словам Ленина из Апрельских тезисов о самоопределении¹.

А разве знаменитые «четырнадцать пунктов» Вильсона не были попыткой изложить те же самые принципы, что

¹ Здесь автор, очевидно, имел в виду характеристику В. И. Лениным в этом документе войны как грабительской, империалистической и его требование об отказе от завоеваний и аннексий. Отдельные слова Вильсона (о суверенитете, свободе) лишь звучали наподобие ленинских требований, в действительности же, руководствуясь тезисом: «война положит конец войнам», — он проводил политику продолжения войны. (Здесь и далее к текстам А. Р. Вильямса примечания П. С. Петрова, научного редактора, автора комментариев и примечаний к книге Альберта Риса Вильямса «Путешествие в революцию». М.: Молодая гвардия, 1972.)

легли в основу русского Декрета о мире? ¹ И хотя с этими пунктами президент обращался к конгрессу Соединенных Штатов, а не к Советскому правительству, он считал нужным особо остановиться на проходящих в Бресте мирных переговорах, и было совершенно ясно, что Вильсон рассматривал большевистских делегатов как законных представителей России ².

Каковы бы ни были причины, побудившие Вильсона произнести эту «сочувственную» речь, она сама по себе доказывала, что многие положения Апрельских тезисов Ленина, начиная с определения мировой войны как «грабительской», попали в самую точку: все вещи были названы своими именами. А наглядным подтверждением тому и весьма чувствительным ударом явилась неслыханная до сих пор в истории встреча за линией германского фронта в маленьком сожженном городке, где совершенно неискушенные дипломаты — рабочий, крестьянин и интеллигент — сели за стол переговоров с представителями германского верховного командования. Более того, благодаря последнему достижению тогдашней техники — радио — их выступления звучали на весь мир.

Именно выступлениям большевиков отдавал должное Вильсон, когда говорил, что речи делегатов в Бресте были искренними и честными. Президент, который в 1916 году баллотировался на второй срок под лозунгом «Он спас нас от войны», заявил конгрессу: «Это голос русского народа. Может показаться, что русские повергнуты ниц и беспомощны перед мрачной силой Германии, не знавшей до сих пор ни угрызений совести, ни жалости. Их силы, видимо, на исходе. Но душа их не покорилась. Они не уступят ни в принципах, ни на деле. Их концепция справедливости, гуманности, чести — того, что они считают для себя приемлемым, — была высказана с такой откровенностью, широтой

¹ Вильсон лишь касался вопросов о мире в своих «четырнадцать пунктов» (январь 1918 г.), противопоставив их декрету Советского правительства о справедливом и демократическом мире, стремился тем самым нейтрализовать революционизирующее влияние декрета и факта публикации тайных договоров, а также других революционных действий Советской России.

² Утверждения автора не имеют оснований. В действительности официальная Америка враждебно встретила победу большевиков в Октябрьской революции 1917 года и их мирную политику. Неоднократные обращения к правительству США и других стран советских представителей на мирных переговорах в Бресте и после их окончания с целью поддержания борьбы за мир не нашли понимания и не получили даже ответа.

взгляда, душевной щедростью и таким общечеловеческим пониманием, которые не могут не вызвать восхищения всех, кому дороги судьбы человечества... Поверят ли нам теперешние лидеры России или нет, но мы от всей души желаем и надеемся, чтобы открылся какой-нибудь способ, который дал бы нам почетное право помочь русскому народу осуществить его главную мечту о свободе, мире и порядке»¹.

Нетрудно понять, почему в тот период так легко было поддаться любым иллюзиям. Они были распространены не только среди большинства советских лидеров, но, как я обнаружил спустя шесть месяцев во Владивостоке, проникли и в массы. Надо ли говорить, что от них не убереглись двое американцев, которые, хотя и считали себя сверхпроницательными, тем не менее не были лишены общих человеческих слабостей. По крайней мере, я могу твердо сказать, что в то время лелеял всякого рода тщетные надежды, что Соединенные Штаты каким-либо путем пойдут на сближение с Советами. Эти надежды стали особенно радужными после одной беседы с Раймондом Робинсом. А после встречи с военным атташе французского посольства Жаком Садулем (который, как и Робинс, придерживался независимых от своего посольского окружения взглядов) я даже поверил в возможность создания франко-американской Красной гвардии для вооруженного выступления против немцев. С другой стороны, на нас с Ридом огромное влияние оказывала та работа, которую мы выполняли. Изодня в день мы призывали немецких братьев — рабочих и солдат — к восстанию, и нам наконец стало казаться, что они просто не могут поступить иначе.

Когда было разрешено распространение «четырнадцати пунктов» Вильсона, их стали печатать в той же типографии, где печаталась наша ежедневная газета на немецком языке. Листовки с «четырнадцатью пунктами» грузились вместе с пачками этой газеты и отправлялись по одному адресу — на фронт. Наши простые, безыскусные слова распространяли тем же способом, что и красивые слова президента-златоуста. (Кто мог тогда подумать, что эти

¹ Это были только слова президента. На самом деле уже в начале 1918 года правительство США выступило против свободы, мира и порядка, за расчленение Советской России и признание временных правительств отдельных национальных территорий страны, а затем весной начало совместно с другими империалистическими государствами интервенцию в Мурманске, Архангельске и во Владивостоке с целью уничтожения власти Советов.

Красивые слова так и останутся словами, что они введут в заблуждение не только рабочих и крестьян, но и британских лордов и политиков?) Листовки и газеты разбрасывались над немецкими окопами или передавались солдатам в намеченных пунктах братания. Наша газета «Факел» с 19 декабря 1917 (1 января 1918) года стала называться «Мир народов», и, так как временное перемирие облегчило ее распространение, значение этой газеты сильно возросло.

Газета рассылалась также во все лагеря военнопленных на территории России. Карр¹ пишет, что до 10(23) января 1918 года вышло 13 номеров (в библиотеке Британского музея это последний номер); после заключения Брест-Литовского мира газета прекратила свое существование. Я должен внести поправку. У меня сохранилось несколько разрозненных номеров «Факела», где над немецким названием напечатано мелким шрифтом русское — «Мир народов». Последний номер датирован 11 (24) февраля 1918 года, но не совсем уверен, что не было более поздних выпусков. Зато с другим утверждением Карра я полностью согласен. Он пишет: «В этих изданиях больше всего поражал интеллектуальный характер обращения к читателю, как будто предполагалось, что читатель знаком с основными положениями марксизма». В отношении газеты это утверждение абсолютно справедливо. Но мы с Ридом работали также над плакатами и листовками, которые по нашему настоянию были менее интеллектуальными, более наглядными, со множеством фотографий и очень простыми подписями к ним, — такие издания легче находили путь к широким массам. Об их эффективности свидетельствовала реакция австро-венгерских военнопленных, которые заявили, что в случае возобновления военных действий они повернут штыки против армии кайзера.

Рассказывая об этом периоде, многие исследователи цитируют знаменитую фразу генерала Гофмана: «Сразу же после победы над большевиками мы потерпели от них поражение. Наша доблестная армия на Восточном фронте заразилась большевизмом». Без ложной скромности можно сказать, что и мы сыграли в этом небольшую роль. Каждый день из Народного комиссариата иностранных дел отправлялось свыше полумиллиона газет на немецком,

¹ Э. Карр — английский буржуазный историк, автор трехтомной истории Октябрьской революции, в которой он рассматривает события с консервативных позиций.

венгерском, польском, сербском, чешском, а иногда к этому добавлялись листовки на румынском, турецком, хорватском и других языках.

Широкое распространение речи Вильсона в России и в немецких войсках можно было рассматривать как определенный успех нас — американцев. Оно имело также весьма интересное последствие — встречу Робинса и Эдгара Сиссона с Лениным. Встреча, устроенная Гамбергом, состоялась 29 декабря 1917 (11 января 1918) года. Бывший сотрудник газеты «Чикаго трибюн» и журнала «Космополитэн» Сиссон был в то время петроградским представителем комитета общественной информации, созданного президентом Вильсоном во время войны.

Беседа представляла интерес и по другим причинам. Для Робинса это была первая встреча с Лениным (для Сиссона, кажется, единственная). Она обнаружила, что, несмотря на некоторый скептицизм, Ленин был готов пойти Робинсу навстречу. Он оценил речь Вильсона как большой шаг вперед к установлению мира, сказал, что не возражает против ее распространения, и заинтересовался возможными практическими результатами речи. Судя по всему, Робинс и Сиссон уклонились от ответа на этот вопрос.

7 января Троцкий вернулся из Бреста с докладом о ходе переговоров. За два дня до этого генерал Гофман положил на стол карту с обозначенной линией фронта и напомнил русской делегации, что «победоносные германские войска находятся на русской земле» и не намерены отходить от этой линии, пока Россия не произведет полной демобилизации. (По ту сторону фронта оставались почти вся Польша, Литва, Белоруссия, половина Латвии.) По вопросу об Украине генерал занял уклончивую позицию: это, дескать, надо решать с Украинской (антибольшевистской) радой. Выслушав отчет Троцкого, Ленин сразу же стал писать «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира». Уже на следующий день «Тезисы» обсуждались на заседании руководящих деятелей партии, однако в печати они появились лишь 24 февраля. (С 1 февраля был введен новый календарь, и 1 февраля стало 14-м.) Только к 23 февраля Ленину удалось наконец добиться, чтобы его предложение о мире было принято большинством голосов в Центральном Комитете. До этого вокруг его тезисов был, как Ленин впоследствии охарактеризовал, «заговор молчания». Вполне естественно, что в тот период нас с Ридом, как и многих наших

товарищей, раздирали противоречия и колебания. Несмотря на усилия военной цензуры, в газеты всего мира просачивались сообщения, свидетельствующие о том, что продолжение войны становилось одинаково ненавистным обоим воюющим сторонам.

Когда 16 октября 1917 года Ленин объяснил своим товарищам, почему создавшаяся в тот момент обстановка была наиболее благоприятной для захвата власти, он ссылаясь на восстание в германском военном флоте, которое давало основания предполагать, что на стороне молодой Советской республики будет вся пролетарская Европа. С тех пор признаки революционного кризиса множились, хотя еще и не достигли январских и февральских масштабов. По некоторым намекам наших друзей-большевиков мы могли предполагать, что Ленин пока не возражал против тактики затягивания Брестских переговоров и выигрыша времени, но относился к этому весьма скептически. По существу дела он был решительно не согласен с большинством руководителей партии. Ленин знал, что в скором времени жизнь неизбежно разобьет все иллюзии его товарищей.

А иллюзий было немало. Одна из них внушала надежду, что беспокойная обстановка в тылу вынудит германское верховное командование пойти на уступки по многим вопросам, поднятым в Бресте. Другая — что Вильсон порвет с Ллойд Джорджем¹ и признает Советское правительство независимо от Англии. Во всяком случае, почти все были уверены, что Вильсон не допустит высадки японцев на Дальнем Востоке. Однако все эти иллюзии затмевала горячая вера в то, что Европа, и прежде всего Германия, находится накануне революции.

Кто мог тогда поверить, что, если Советы отклонят германские условия и объявят «революционную» войну, немецкие рабочие и крестьяне будут выполнять приказы своих офицеров и стрелять в русских братьев.

Не было недостатка и в объективных обстоятельствах, которые служили пищей для всех этих иллюзий и тем самым придавали Брестским переговорам особо драматический характер.

Поначалу, когда стоял вопрос о перемирии, дела в Бресте шли хорошо. Первая русская делегация в составе

¹ Д. Ллойд Джордж (1863—1945) — государственный деятель Великобритании, лидер либеральной партии. В 1916—1922 годах — премьер-министр Англии.

Иоффе, Сокольников, Биценко, Карахана (секретаря) и капитана Мстиславского, которых везде сопровождала четверка, символизирующая новый строй: рабочий, солдат, матрос и крестьянин,— изложила позицию Советского правительства, отражавшую дух Декрета о мире и подчеркивавшую принцип национального освобождения, и глава германской делегации фон Кюльман¹ согласился принять ее за основу переговоров. Русские смогли включить даже такие пункты в договор о перемирии: не производить переброску своих войск с русского фронта на Западный, кроме тех частей, которые уже получили приказ о передвижении (Гофман впоследствии свел выполнение этого обязательства до минимума, но тогда оно было принято с полной серьезностью), оглашать ход переговоров и проводить братание солдат на фронте².

1 января меня пригласили выступить в Михайловском манеже, и я в тот день впервые встретился с Лениным (если не считать короткого разговора, когда он отказал мне в пропуске на фронт). Я имел тогда весьма смутное представление о внутрипартийной борьбе по вопросу о Брестском договоре.

Мне было известно, что, когда 9 декабря начались официальные переговоры об условиях мира (перемирие было заключено со всеми центральными державами, и теперь в переговорах, помимо немецких генералов и дипломатов высшего ранга, участвовали представители Австро-Венгрии, Турции и Болгарии), сразу же возникли противоречия по вопросу о самоопределении. Центральные державы твердо заявили, что Литва, Курляндия, части Эстонии, Ливонии и Польши должны быть освобождены от России. По предложению большевиков переговоры отложили на 10 дней, чтобы в третий раз официально пригласить державы Антанты. Как тяжело было молодому социалистическому государству в одиночку добиваться мира! Когда переговоры были возобновлены, Англия, Франция и США по-прежнему отсутствовали, хотя во всех столицах мира еще звучали слова из речи Вильсона, произнесенной накануне. Теперь генерал Гофман и фон Кюльман заговорили другим языком — жестким и требовательным.

Утром 1 января на завтраке в представительстве Красного Креста я с гордостью заявил Робинсу, что должен

¹ Р. Кюльман — министр иностранных дел Германии; возглавлял германскую делегацию на переговорах в Бресте вместе с начальником штаба Восточного фронта генералом Гофманом.

² Договор включал пункт о сношениях между войсками.

буду произнести речь на первом митинге бойцов социалистической армии.

Батальон броневиков — первенец организованной революционной армии — отправлялся на юг. С половины третьего начали собираться солдаты батальона, преимущественно бывшие красногвардейцы, то есть рабочие фабрик и заводов — молодые парни, некоторые еще вчерашние подростки, но среди них встречались и опытные, революционно сознательные солдаты. Электричества не было, а обогревалось все это огромное помещение одной-единственной печкой, находящейся в самом дальнем углу. Чтобы согреться, люди топтались на месте, стуча ногой об ногу. Ждали Ленина и напутственных речей. Кроме нескольких шинелей, никакой общей формы одежды не было. Винтовки, жестяные котелки да крестьянские котомки — вот и все снаряжение.

Кое-где на стенах висели кумачовые плакаты, но они не могли скрасить обстановку: в зале царили мрак и холод. Молодые лица выражали угрюмую решимость. Эти люди еще не знали, куда их пошлют, но были готовы идти куда угодно, чтобы сражаться с врагами революции. Два броневика, украшенные плакатами и свежими еловыми ветвями, стояли перед входом в манеж, третий, украшенный таким же образом, вкатили внутрь, чтобы использовать в качестве трибуны. Остальные машины, тускло поблескивая серовато-коричневой броней, выстроились грозными рядами по обе стороны длинного здания.

В ожидании Ленина некоторые бойцы задавали вопросы своему командиру. На все вопросы был один ответ: они идут воевать с контрреволюционерами и империалистами. К четырем часам в зале стало совсем темно. Спели несколько революционных песен. Потом на броневик взобрались трое парней с балалайкой, бубном и гармошкой, откуда-то появились свечи. Чтобы занять время и согреться, люди образовали полукруг и, не снимая амуниции, начали плясать кто во что горазд. Трижды звуки автомобильного гудка с улицы прерывали песни и пляски, все готовились приветствовать Ленина, но сигналы оказывались ложными. Наконец машина Ленина въехала в манеж. Самодеятельный оркестр спустился с броневика, отряд построился для приветствия. Было уже семь часов вечера. В честь Ленина прозвучало громкое «ура!». Ленин быстро поднялся на броневик и начал говорить. Все пока идет хорошо, даже очень хорошо, сказал он, но они всегда должны быть готовы к любым неожиданностям. Потом он

спокойно и беспристрастно обрисовал текущее положение, как он его понимал, и если он тогда еще не дал полного анализа обстановки, то зато ничего и не приукрашивал. Впрочем, Ленин никогда ничего не приукрашивал, и в этом была еще одна особенность его как руководителя. Он сказал своим слушателям, что им предстоит бой с империалистической буржуазией всех стран. Так у меня записано на сохранившихся до сих пор листках почтовой бумаги со штемпелем гостиницы «Регина», Мойка, 61, где я тогда жил. (Эта гостиница называлась также «Военно-революционным отелем».)

Я много раз слышал Ленина, и единственным выступлением, которое, мне казалось, не зажгло аудиторию¹, была его речь в Михайловском манеже. Я не понимал в то время — почему? Истинная причина осталась для меня неясной и в 1919 году, поэтому в книге, которую я тогда выпустил, я пытался объяснить это сильным переутомлением Ленина. Оглядываясь теперь на то героическое время, я понимаю, что ждал от Ленина слов, к которым успели привыкнуть эти еще не оперившиеся бойцы новой армии. (Их впервые называли не Красной гвардией, а социалистической армией.) Я ожидал заверений, что международный пролетариат на подходе, громких фраз о том, что немецким генералам и дипломатам в Бресте придется туго и они вынуждены будут уступить по вопросу о самоопределении оккупированных стран, заявлений, что, хотя они, бойцы новой армии (тогда еще не носившей имени Красная Армия), отправляются на фронт, воевать им пока не придется, так как заключено перемирие, что их в скором времени ждут обратно, и тогда они смогут жить и трудиться, пользуясь славными плодами Октября.

Ничего похожего Ленин не говорил. К сожалению, мне не удалось найти официального текста этого выступления, если он вообще существует², а мои дневниковые записи оказались весьма скудными.

Когда Ленин спустился вниз, Подвойский сухим, сдержанным тоном объявил:

¹ Это субъективное впечатление автора. В действительности после речи В. И. Ленина аудитория бурно приветствовала его, что и нашло отражение в газетном отчете о выступлении В. И. Ленина с речью на проводах первых эшелонов социалистической армии I (14) января 1918 года. Слова В. И. Ленина были покрыты приветственными криками и долго не смолкаемыми аплодисментами. (См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 35, с. 216—217.)

² Официальный текст речи опубликован в виде краткого газетного отчета (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 35, с. 216—217).

— Сейчас перед вами выступит американский товарищ.

Поднимаясь на огромный броневик, я лихорадочно думал, что же мне делать. Может, попробовать говорить по-русски? Хватит ли у меня смелости? Я уже семь месяцев жил в России. Как всякому валлийцу, мне легко давались иностранные языки, а к тому же в России этот вопрос тогда стоял так: выучить язык или погибнуть. В первые же дни я узнал два слова — «долой» и «да здравствует». С их помощью я мог выразить самое главное: «Долой старое! Да здравствует новое!» И все же должен признаться, что четыре года изучения греческого, шесть лет — латыни и год древнееврейского почти ничем не могли мне помочь, особенно сейчас, в Михайловском манеже. Я стоял в нерешительности, с видом мрачной отчаянности, будто все это было для меня вопросом жизни или смерти. Толпа выжидательно притихла. Заметив мое состояние, Ленин мягко сказал:

— Говорите по-английски, а я, с вашего разрешения, буду переводить.

Это предложение решило дело. Нельзя было не воспользоваться великолепным эффектом, который должен был произвести мой ответ:

— Нет,— храбро и, наверное, даже с некоторым вызовом заявил я,— я буду говорить по-русски.

Ленин был в восторге. В его глазах появились веселые искорки, лицо осветилось лучиками морщинок, заиграло от еле сдерживаемого смеха. Он явно предвкушал удовольствие повеселиться за счет моего русского языка.

Я начал с нескольких избитых фраз, которые знал к тому времени наизусть. Вернувшись вечером домой, я записал их по-английски вместе с корявым русским подстрочником, поэтому могу точно воспроизвести эти первые фразы своей речи:

«Да здравствует славная, непобедимая русская армия! Да здравствует единая и могучая Россия!» Потом, вспомнив «четыренадцать пунктов» президента Вильсона, я воскликнул: «Да здравствует прочный союз между Америкой и Россией!»

Конечно, все это вызвало гром аплодисментов, но я понимал, что произнес лишь общие фразы. Мне хотелось сказать что-нибудь очень важное, а пока почему бы не занять слушателей шуткой? Уже не так бойко, но все же достаточно внятно я сказал примерно следующее:

— Я, конечно, плохо говорю по-русски, причина тут одна: русский язык очень трудный. Вчера я обратился к

извозчику по-русски, а он решил, что я говорю по-китайски. Даже лошадь немного испугалась.

В зале раздался хохот. Снизу до меня донесся выразительный смех Ленина. Только лицо Подвойского, как я заметил, оставалось серьезным.

А потом начались мои мучения. Я достиг своего предела в русском языке, но именно теперь мне надо было выразить самое важное. Я пытался сказать, как глубоко взволновала меня встреча с ними, молодыми новобранцами, только что покинувшими свои станки. По какому-то вдохновению или наитию (хотя я и знал о разногласиях в партии и в народе относительно сепаратного мира с Германией, полной ясности в этом вопросе у меня не было) я хотел показать им, что сознаю опасность, угрожающую революции и самому Петрограду. Слушали меня пока вежливо: как бы иностранец ни корежил их язык, русские всегда проявляют снисходительность. Больше того, когда я останавливался в поисках нужного слова, они награждали меня аплодисментами, и это давало мне возможность передохнуть. Но вот я подошел к кульминационной точке своей речи. Если дело дойдет до крайности, если придется принять бой, пусть они знают, что я...

Все взоры устремлены на меня. Зал затих. Мне вдруг стало жарко. И тут я почувствовал (не в последний, кстати, раз) острый взгляд Ленина и повернулся к нему.

— Какого слова вам недостает? — тихо спросил он. Лицо его больше не сияло. Однако взглядом, в котором еще не потухло веселье, он ободрил меня и как бы попросил продолжать.

— Инлист, — сказал я по-английски (он великолепно знал этот язык).

— Вступить, — перевел он.

Подхватив это слово, я сказал, что вступлю в социалистическую армию. Остальная часть речи ничего особенного собой не представляла, но теперь, испытывая затруднение, я поворачивался к Ленину, и он тут же подбрасывал необходимое русское слово. Таким образом, я смог закончить выступление без длинных, неловких пауз.

Более или менее случайно я попал в самую точку, произнес именно те волшебные слова, которые массы хотели тогда услышать. Уже само мое присутствие являлось наглядным свидетельством популярного в те дни интернационализма. Оно поднимало их собственный революционный дух. Аплодисменты становились все громче, сливались с

дружелюбным смехом, возникавшим всякий раз, когда я коверкал подсказанные Лениным слова.

Этот американский товарищ — социалист (а в том, что он американец, сомневаться было невозможно), предложивший в случае необходимости вступить в их армию, сам того не подозревая, по-новому осветил для них возможности интернационализма, который был на устах у стольких ораторов того времени. Перед ними стоял человек и говорил не о том, что революция неуязвима для врага в лице германской армии, не о том, что немецкие братья никогда не нападут на социалистическую страну, беспомощную и призывающую все государства к миру, а о том, что, если на их страну нападут, он встанет рядом с ними на ее защиту.

Потом на чудовищно исковерканном русском языке я заверил их, что и в Америке будет революция, только неизвестно когда.

— К сожалению,— объяснил я,—американский рабочий класс очень консервативный.— Закончил я лозунгами: — Да здравствует революция! Да здравствуют социалистические войска! Да здравствует Интернационал!

Тот, кто увидел бы, как эти лозунги были записаны у меня по-русски, понял бы, почему я затронул педагогическую струнку Ленина: с тех пор я как бы стал его учеником, и довольно трудным учеником.

Когда я спустился вниз, Ленин был со мной очень сердечен. Он старался говорить попроще, ограничиваясь доступным мне запасом русских слов. Он стоял и говорил с нами несколько минут (с Бесси Битти и со мной).

— Ну что же,— мягко сказал он, обращаясь ко мне,— начало в освоении русского языка сделано.— Потом он добавил с особой серьезностью, в которой виден был Ленин-учитель: — Но вы должны продолжать упорно заниматься.

Я боялся, что мы его задерживаем, и потому не решился ничего ответить, но он, очевидно, не очень спешил. Обратившись к Бесси Битти, Ленин серьезно сказал:

— Вы тоже должны изучать русский язык. Дайте в газете объявление, что хотите обмениваться уроками. Потом просто читайте, пишите и говорите только по-русски.— Лукаво улыбаясь, он добавил, обращаясь к нам обоим: — С американцами не разговаривайте. Пользы от этого ни с какой стороны не будет.— И уже специально для меня сказал: — При следующей нашей встрече я устрою вам экзаме́н.

Мы попросились. Ленин сел в автомобиль, и машина выехала из манежа. Мы медленно двигались в толпе к выходу, как вдруг с улицы донеслись резкие звуки трех выстрелов. Три пули пробили стенки автомобиля. Сидевший рядом с Лениным на заднем сиденье швейцарский левый социалист Фриц Платтен¹ был ранен в руку. Это было первое покушение на жизнь Ленина. Трусливому убийце, стрелявшему из-за угла, удалось скрыться.

Потрясенные, мы с Бесси Битти стали пробираться сквозь толпу, чтобы поскорее убедиться, что Ленин не пострадал. Бесси плакала.

— Ведь он только что стоял здесь и разговаривал с нами. Быть может, если бы он уехал сразу, ничего бы не случилось. Быть может, убийца опоздал бы.

Эта наивная и бесполезная мысль мучила и меня, поэтому, выговаривая Бесси, я успокаивал и себя самого.

— Типично женская логика,— зло сказал я.— А может, наоборот, от долгого ожидания убийца так разнервничался, что промахнулся.

Наши собственные нервы были напряжены до предела.

Помню, как огромное облегчение, вызванное известием, что Ленин не пострадал, сменилось яростным гневом.

— Ну, теперь-то он будет более осмотрительным, более осторожным? — донимал я Воскова, который прекрасно знал, что за несколько недель до покушения мы с Ридом рассказали нашим близким друзьям-большевикам, как один богатый спекулянт совершенно серьезно заявил нам, что заплатит миллион тому, кто убьет Ленина, и что он знает еще девятнадцать человек, готовых дать такую же, если не большую, награду. (Это был один из молодых предприимчивых дельцов, разбогатевший на военных поставках и контрабандной продаже товаров в Германию, который любил принимать у себя журналистов.)

Я продолжал атаковать Воскова:

— Когда мы спросили тебя и других товарищей, признает ли Ленин грозящую ему опасность, ты ответил: «Признает, но это его не пугает. Его по-настоящему ничто не пугает».

Восков задумался. Он хотел, чтобы мы поняли. Дело вовсе не в том, что Ленин недооценивает значение своей личности.

¹ Ф. Платтен (1883—1942) — деятель швейцарского и международного рабочего движения. В 1917 году организовал переезд В. И. Ленина из Швейцарии в Россию. С 1923 года жил в СССР.

— Но разве было бы лучше, если бы он все время боялся за свою жизнь?

Тогда от Воскова я впервые услышал неизвестный мне раньше эпизод из биографии Ленина. Это было в декабре 1907 года. Ленин должен был попасть в Стокгольм, но, если бы он отправился обычным путем, то есть сел на пароход в Або (Турку), его немедленно бы арестовали. Но в Ботническом заливе, недалеко от Турку, находился островок, куда не доходила власть русской полиции, и он решил идти туда пешком по льду, хотя лед кое-где был непрочный. Ему удалось найти двух финских крестьян, которые взялись его провести, но сами они настолько нетвердо стояли на ногах, что переход оказался еще более опасным. Шли, конечно, ночью. Ничего почти не было видно, и в одном месте Ленин вдруг почувствовал, что льдина под ним куда-то поплыла. Ильич потом сам рассказывал, продолжал Восков, что в тот момент он решил: ну все, конец, и подумал — какая нелепая смерть!

— Вы знаете, что Ленин все умеет организовать, даже свое время,— сказал Восков.— Когда ему дали три дня на сборы перед отправкой в Сибирь, он закрылся в Публичной библиотеке, чтобы собрать материал для книги, начатой им в тюрьме.

Конечно, такой организованный человек мог бы сделать больше для того, чтобы в него не стреляли, но,— широко улыбнулся Восков,— смотрите, сколько раз в него могли или должны были стрелять, а не стреляли!

Потом Восков стал рассказывать про июльские дни, когда встал вопрос: должен ли Ленин выдать себя властям или, наоборот, скрыться от ареста. После двухдневных дебатов его убедили скрыться. «Ну что ж, подполье так подполье,— согласился он и шутливо добавил: — Они, наверное, и так смогут нас всех перестрелять». Работая в подполье над книгой «Государство и революция», он больше беспокоился о том, чтобы она дошла до товарищей и была ими использована, чем о собственной безопасности. Он понимал, что восстание произойдет в любом случае — с ним или без него,— и считал, что книга поможет большевикам выбрать правильный курс для революции. В записке Камениеву он просил («если меня укокошат») забрать из Стокгольма маленькую тетрадку в синей обложке, на которой написано: «Марксизм о государстве». В этой тетрадке были собраны все относящиеся к теме цитаты из работ Маркса и Энгельса. Неделя работы, и можно издать.

— Он не хотел быть убитым,— сказал Восков,— но это мало от него зависело, а вот устроить так, чтобы его заметки увидели свет, он мог. И это он сделал. А о своей вполне возможной гибели он предпочитал не распространяться.

Только все это должно оставаться «абсолютно между нами», заключил Ленин свою записку.

Бесси Битти не удовлетворял такой, как она говорила, «философский» подход Воскова. В разговоре с Петерсом она выложила все, что думала по этому поводу:

— Неужели вы не можете теперь заставить Ленина ходить с охраной? Ведь в Америке ни одному президенту не разрешили бы появляться на людях без отряда тайной полиции. А когда президент выступает в каком-нибудь зале, все ходы и выходы охраняются так, что ни одна мышь не проскользнет. Конечно, доверие к народу и все такое прочее — неплохая штука, но «черная сотня» ушла в подполье и только ждет случая расправиться со своим врагом.

— Ну а ваш Линкольн или Маккинли? Их все равно убили,— парировал Петерс.— Так что никакой гарантии не существует. А потом Ленин есть Ленин — он не относится к числу слабонервных людей. Он просто иначе создан. Он беспокоится за других, но и при этом не нервничает, а сочувствует. Он совершенно не выносит назойливости и не смог бы жить так, чтобы вокруг него все время кто-то сутился, ходил по пятам, присматривал за ним. К тому же Ленин никогда не думает о себе. А что касается репрессий, то он пойдет на это только в том случае, если инициатива будет исходить от народа. Мстительность не в его натуре.

Вот увидите, в следующий раз, когда вы с ним встретитесь, он будет спокоен, как всегда.

* * *

Я уже говорил, что это был период расцвета самых различных иллюзий. Просматривая свои записи тех дней, я вижу, насколько распространенной была недооценка угрозы гражданской войны. Даже Ленин заявил в марте, что открытое сопротивление буржуазии сломлено. 27 января на спектакле «Севильский цирюльник» в Мариинском театре (у нас были хорошие места) мы встретили Билла Шатова. Он был встревожен и считал, что в Смольном преуменьшают опасность — генерал Алексеев создавал на Кавказе добровольческую белую армию.

— Конечно, его силы пока незначительны, но эти люди сожгли за собой мосты. Они будут драться не на жизнь, а на смерть, для них жить под властью большевиков — значит отказаться от всех привилегий, ради которых, по их мнению, и стоит жить.

После спектакля мы пошли в кафе «Империя», которое было национализировано и называлось теперь «Интернационал». Шатов продолжал:

— Франция осыпает деньгами этих белогвардейских подонков, англичане тоже уже прикидывают, не последовать ли ее примеру.

На следующий день я спросил обо всем этом Петерса. В своем дневнике я записал: «Петерс не видит сегодня особой опасности с этой стороны, считает, что главная опасность — нехватка хлеба. Ругает органы снабжения за сокращение хлебной нормы до четверти фунта в день, говорит, что два дня тому назад запасов было достаточно, чтобы обойтись без этого урезывания».

Действительно, у только что родившегося государства было так много забот, что растущая вера в интернационализм находила весьма благоприятную почву. И чем хуже складывались дела в Бресте, тем более необходимой становилась эта вера. Как бы советские участники переговоров ни старались сохранить лицо, положение для страны оставалось унижительным. Чтобы отклонить условия этого «разбойничьего», по словам Ленина, мира, Советы должны были получить хоть какую-нибудь поддержку. Они нуждались в помощи или сотрудничестве — своего рода «братании» — в более широких, международных масштабах. Без такой поддержки им угрожала гибель. Интернационализм поэтому представлялся теперь не просто светлым, желанным идеалом — он стал необходимостью. Если этот идеал не претворится в реальность в форме немецкой, французской, болгарской, английской, венгерской или всеобщей революции, вопрос жизни или смерти Советов может решиться не в их пользу.

Но не всегда необходимое можно получить по заказу. Ленин это очень хорошо понимал, но все же был готов ждать.

К моменту, когда в здании цирка «Модерн» состоялся крупнейший интернациональный митинг, посвященный Дню международной солидарности трудящихся, суть всех споров свелась к вопросу: можно ли ждать? Стоит ли рисковать революцией? Однако споры еще не велись в открытую. Отнюдь нет. Ленин давал пока возможность

советским представителям в Бресте использовать все клавиши пропагандистского инструмента. Но делал он это лишь потому, что его точка зрения еще не завоевала большинства в Центральном Комитете. Интернационализм, который в июле, когда я только приехал, был едва заметным ручейком, теперь превратился в могучую реку со своими собственными водоротами, и, пожалуй, высшей точкой этого интернационализма был митинг в цирке «Модерн». С другой стороны, интернационализм был, не мог не быть, составной частью революции, и только люди, которые тем или иным образом пытались использовать его в демагогических целях, не поняли этого, в чем Ленина обвинить никак нельзя.

Что касается Рида и меня, то митинг в цирке «Модерн» произвел на нас глубочайшее впечатление и заставил осознать нашу собственную ответственность перед революцией.

Этот митинг был единственным в своем роде — дело было даже не в энтузиазме аудитории, а в том, что его вызывало: новый общественный строй, осуждение захватнических войн, необычное для рабочих и солдат ощущение своей собственной значимости, идея всеобщего братства трудящихся. Некоторые говорят, что дух интернационализма, охвативший обе русские столицы и перекинувшийся в провинцию, был временным явлением. Не спорю. Но разве плохо, что на какое-то, пусть короткое, время простыми солдатами, рабочими и работницами владели чувства, которые, очевидно, в более или менее отдаленном будущем станут движущей силой всего человечества. С представления о мелкой человеческой общине («мир») они сразу же перешли к понятию о такой общине, которая объединяла бы в себе всех людей, живущих на земле. Пройдет некоторое время, и ненависть, порожденная интервенцией, несколько ослабит их пыл. Дух интернационализма уже никогда не восстановится в первозданности тех дней, когда отсталая, искалеченная войной, голодная Россия стала не только «авангардом революции» — Маркс в последние годы предвидел такую возможность, — но и предтечей того общества, в котором когда-нибудь, надо надеяться, будет жить человечество.

Не помню ни одного собрания или митинга в Петрограде, где бы не присутствовала тема международной солидарности трудящихся. А мое выступление на митинге 1 января в Михайловском манеже! Если единственный, никому не известный американец мог вызвать столь бурную

оляцию, то это было лишь потому, что американец в своей речи подчеркнул, что новая социалистическая армия создавалась в России для защиты интернационализма и мира — так оно и было на самом деле.

Интерес к митингу в цирке «Модерн» усиливался еще и тем, что ему предшествовала мощная демонстрация 17 декабря. Накануне демонстрации «Правда» писала:

«Рабочие и работницы, солдаты, матросы и крестьяне— все трудящиеся! Выходите все революционными рядами на улицы городов и деревень — празднуйте победу Советской власти и мира над правительствами капиталистов и войны!

Демонстрируйте свою волю и решимость всеми средствами поддержать рабочую и крестьянскую власть в ее борьбе за окончательное достижение демократического мира!

Лесом алых знамен, громом революционных песен, мощной ратью отрядов явите врагам мира и революции свою непоколебимую силу и призовите пролетариев всех стран следовать вашему революционному почину в деле свержения империалистов и создания нового революционного Интернационала.

Все завтра, в воскресенье, на улицу, все под знамена!»

А в день демонстрации в «Правде» было опубликовано еще одно воззвание:

«Сегодня рабочие, солдаты и крестьяне, все честные граждане демонстрируют на улицах Петрограда за мир и братство народов.

Буржуазия пытается обмануть население Петрограда и сорвать манифестацию трудовых масс. Попытка ее обречена на жалкий и постыдный провал.

Все на улицу! Против бойни народов, против буржуазного грабительства, против предательства и бесчестной печати, против саботажников — лакеев капитала!

Да здравствует международный пролетариат!

Да здравствует Третий Интернационал!

Да здравствует международная революция!»

Демонстрация, потом митинг в цирке «Модерн» и, наконец, официальное совещание в Смольном были этапами на пути к созданию III Интернационала. Однако в 1918 году из-за брестского кризиса и начавшейся интервенции он

еще не смог встать на ноги¹. Отчет о митинге в цирке «Модерн» был опубликован в «Правде» (24 января) под заголовком «Борцы за III революционный Интернационал в цирке „Модерн“». В отчете говорилось, что митинг, устроенный Петербургским комитетом большевиков, «прошел необычайно подъемно». Наплыв публики был так велик, что пришлось прекратить продажу билетов. «Более чем десятитысячная аудитория горячо, восторженно встречала гостей — товарищей, приехавших из Швеции, Норвегии, Америки и Румынии...». Далее следовала фраза о том, что с Россией «золотыми нитями братской солидарности связаны сердца пролетариев всего мира». Среди выступивших были «Либкнехт Скандинавских стран» Карл Хеглунд, мэр Стокгольма Линдхаген, мэр норвежского города Ставангера Эгед Ниссон, Раковский из Румынии, а также Джон Рид и я. «Правда» с уважением и сочувствием отметила, что Хеглунд и Ниссон за свою революционную деятельность сидели в тюрьме. А когда стало известно, что Рида привлекают к суду, репортер «Правды» в своем энтузиазме зашел так далеко, что уже приговорил его к двенадцати годам тюремного заключения.

Выступление каждого иностранного оратора сопровождалось таким взрывом аплодисментов, что тот краснел от гордости, как будто произнесенные им слова были из чистого золота. На каком бы языке оратор ни говорил: на шведском, норвежском, французском или английском, — переводила всех Коллонтай, которая владела многими языками. Но если бы даже она совсем ничего не переводила, если бы наши слова звучали абсолютной бессмысли-

¹ III, Коммунистический Интернационал был создан в марте 1919 года в Москве. Ему предшествовало развитие левого революционного течения интернационалистов в международном рабочем и социал-демократическом движении во время первой мировой войны и особенно после Октябрьской революции, положившей начало возникновению коммунистических групп и партий в ряде стран и создавших условия для объединения их в революционный Интернационал. Значительную роль в создании Коминтерна сыграли иностранные группы интернационалистов при ЦК нашей партии. В январе 1918 года в Петрограде по инициативе большевиков состоялось первое международное совещание левых интернационалистских сил по подготовке Коммунистического Интернационала. 24 октября 1918 года РКП(б) обратилась к коммунистам разных стран с призывом быстрее объединиться в III, Коммунистический Интернационал. Состоявшееся в январе 1919 года в Москве новое международное совещание приняло предложение В. И. Ленина о созыве в ближайшее время учредительного конгресса III Интернационала, который состоялся 2—6 марта 1919 года.

цей, результат получился бы почти тот же. Мы были живыми, реальными, подлинными иностранцами.

Меня, конечно, интересовали не ораторы, а аудитория. Цирк «Модерн» казался изнутри темной пещерой. Люди видели только лицо выступавшего в слабом свете свечи, а выступавший вообще ничего не видел. Он не видел аудиторию, но он ее чувствовал. Я вспомнил восточную пословицу: «Вся темнота мира не может потушить свет одной свечи». Мы, иностранцы, чувствовавшие нашу невидимую аудиторию, лучше всех могли судить о степени интернационализма. Мы были катализаторами, активизирующими его проявление. Гром аплодисментов звучал для нас как откровение. Он был бы таким же откровением и для людей в зале, если бы они над этим задумались. Тогда еще плакаты с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не украшали залы собраний. Но темный холодный зал цирка «Модерн» был согрет теплом доверия. Казалось, этих людей не тяготил вопрос о том, придут ли немецкие рабочие им на помощь. И Рид и я чувствовали это доверие и в своих речах, возможно, невольно приукрашивали действительность. Было ли это продиктовано добротой? Нет, человеческой слабостью!

В подробном отчете, который опубликовала «Правда», почти не было прямых цитат из выступлений ораторов, и я не совсем уверен, что Рид преувеличил настолько, насколько можно об этом судить по отчету. После слов о том, что Рид приговорен к двенадцати годам тюрьмы «за свою борьбу против американских империалистов и за поддержку большевиков в России» и что «в его лице аудитория цирка «Модерн» приветствовала революционный авангард американского пролетариата», шел следующий абзац:

«Тов. Рид сообщил в своей речи, что американская Социалистическая партия окрепла и выросла за год империалистической войны и что события в России дадут могучий толчок дальнейшему развитию классовой борьбы в Америке, достигающей особенно острых форм».

Действительно, было много признаков обострения классовой борьбы в Америке. История США не знала такого количества ожесточенных забастовок, как в период с 1913 по 1917 год. Но американская Социалистическая партия, так же как социалистические партии Европы, раскололась по самому главному вопросу: об отношении к войне. Если одна часть американских социалистов оставалась верной интересам международного рабочего класса, другая часть превратилась в «патриотов». Я сильно сомнева-

юсь, чтобы Рид, который болезненно переживал отступничество многих, воздавал бы хвалу Социалистической партии.

«Правда» только упоминает о моем присутствии, но так как я написал свое выступление заранее и эта запись сохранилась, то могу сейчас сказать, что, хотя в моей речи не было таких конкретных утверждений, как приводимые «Правдой» утверждения Рида, она грешила обилием красивых фраз. Однако пальму первенства по этой части, безусловно, следует отдать Линдхагену, единственному оратору, которого цитирует репортер «Правды». Вот как выглядят в газете заключительные слова его выступления:

«Весна социалистической эры, занявшаяся над Россией, совершит свое победоносное шествие через все остальные страны, вызывая к жизни новые, застоявшиеся, оцепеневшие за время долгой зимы буржуазно-капиталистического строя силы. «Да здравствует социалистическая весна», — закончил свою образную речь тов. Линдхаген».

Считая, что у меня уже есть некоторый опыт выступления по-русски, и вспомнив, как Ленин смеялся над моей шуткой об извозчике, я начал свою речь тоже с шутки, сказав:

— У нас в Америке на Диком Западе был один кабачок (салун). В этом кабачке стояло пианино, а над пианино висел плакат: «Пожалуйста, не стреляйте в музыканта — лучше он играть не умеет». Поэтому, выступая по-русски, я тоже прошу: товарищи, пожалуйста, не стреляйте в меня — лучше я говорить не умею.

Сейчас я уже не помню, насколько хватило моих познаний в русском языке и в каком месте я перешел на английский, но можете быть уверены: тема интернационализма не была опущена. Вот главная часть моей речи:

«Мы видели, какие тяжкие испытания и трудности вам пришлось перенести. Мы также знаем, что страдали вы не только ради себя. И ваша победа уже не за горами. Германский флот восстал. А теперь искры огромного пожара летят за десять тысяч верст через Атлантику и зажигают огонь в сердцах американских рабочих». Я предсказывал, что американские женщины по всей стране получат право голоса, и сообщил, что, как мне стало известно, во время последних выборов социалисты несли плакаты с надписью: «В России женщины голосуют. Почему они не голосуют в Америке?» Мы хотим хлеба, тепла в жилищах и одежды. Мы хотим права на жизнь, счастье и отдых. Мы знаем:

каждый голодный в Америке получит больше хлеба потому, что вы свершили свою революцию.

После митинга я узнал, что именно в тот день хлебный паек в Петрограде был сокращен наполовину (норма в полфунта, установленная Военно-революционным комитетом во время корниловского мятежа, была срезана до четверти фунта). Дневник напоминает мне, как мерзко я себя чувствовал от своей невольной бестактности: с моей стороны было по меньшей мере неблагородно даже упоминать о голоде.

Впрочем, кто знает?

Может, не так уж плохо сказать людям, что даже в богатой Америке есть голодные и что со временем мои соотечественники, глядя на русских, отважатся потребовать большего и могут даже припугнуть правящий класс. Запись в дневнике служит некоторым подтверждением этих мыслей. Я тогда с гордостью и восхищением записал: «Ни единого протеста не услышал я из огромного зала, где сидело 12 тысяч человек, которые знали, что по крайней мере сегодня они, свершившие революцию, получили не больше, а меньше».

На одной из полок нью-йоркской публичной библиотеки можно найти потрепанный экземпляр небольшого журнала, который является теперь библиографической редкостью. Редактором журнала был Юджин Дебс. Он успел выпустить один-единственный номер, и этот номер был посвящен первой годовщине образования Российской советской республики. В журнале опубликована моя статья с описанием митинга в цирке «Модерн». Так как впоследствии многие авторы заимствовали материалы из этой статьи и так как она лучше всего написанного мною потом передает аромат той атмосферы, которая дает заглавие статье — «Дух интернационализма», — я без колебаний привожу из нее большой отрывок:

«Был самый разгар зимы. На улицах стояла дикая стужа. В широком людском потоке мы пересекали Троицкий мост. За рекой возвышались минареты и голубой купол старинной мечети и сверкал золотом шпиль Петропавловской крепости. Где-то между ними находился новый собор пролетариата. Это большое, приземистое, отделанное серым камнем и довольно бесформенное сооружение называлось цирком «Модерн». У входа уже теснилась масса народа.

— Почему не открывают и не впускают людей внутрь? — спросил я, когда мы, пройдя мимо толпы, вошли через заднюю дверь в огромную мрачную пещеру.

Это было колоссальное, вырытое в земле углубление с сотнями балок по краям и перекладин, поддерживающих громадный купол. Но мы не видели ни пола, ни крыши, ни кресел, которые ярусами поднимались от арены к куполу. Мы почти вслепую, спотыкаясь на каждом шагу, следовали за Коллонтай по темным, сырым переходам, поднимались по каким-то лестницам, пока наконец не почувствовали под ногами несколько грубо сколоченных, необтесанных досок, служивших подмостками. Света не было, так как в тот день Петроград остался без угля.

— Почему не откроют дверь и не впустят сюда людей? — спросил я снова.

— Здесь уже и так почти пятнадцать тысяч, — ответила Коллонтай. — Все забито до отказа.

В зале стояла такая тишина, что этому трудно было поверить. Чтобы было видно лицо оратора, зажгли свечу — крохотный огонек в кромешной тьме.

— Начинайте, говорите! — сказала мне Коллонтай.

Мне было немного не по себе оттого, что приходилось говорить как бы в пустоту. Но, заставив себя поверить, что зал полон, я громким голосом бросил:

— Товарищи! Я выступаю от имени американских социалистов, интернационалистов!

И вдруг из глубины прогремел взрыв пятнадцати тысяч голосов: «Да здравствует Интернационал!» Эти слова были как спичка, брошенная в пороховой погреб. Ими всегда можно было зажечь аудиторию. А когда они на ломаном русском языке слетали с уст иностранца, то начинался просто пожар. А как они пели «Интернационал»! Не так, как мы поем здесь, когда одна часть зала с трудом вспоминает слова, другая — мелодию, а большинство и вовсе безмолвствует. Нет, в России каждый революционер твердо знает каждое слово и каждую ноту и поет так, как будто от этого пения зависит вся его жизнь... «Интернационал» служит для них источником силы, подтверждением воинственности их веры, закалкой боевого духа.

Чтобы быть честным до конца, я должен признаться, что в тот день в цирке «Модерн», так же как и в других подобных ситуациях, я испытывал не только глубокое волнение, но и чувство стыда. Впервые я ощутил это двойственное чувство, стоя на капитанском мостике крейсера «Республика», когда орудийные башни звенели от голосов 11 тысяч матросов, приветствовавших американских интернационалистов. Вера, которую они вкладывали в наш интернационализм, имела очень мало общего с реальностью.

Я чувствовал, что они видят во мне представителя миллионов американских матросов, солдат, шахтеров, железнодорожников, сталелитейщиков, грузчиков, горящих теми же идеями, что и они. Поэтому всякий раз, как нас с Ридом приветствовали в качестве представителей «великого революционного пролетариата мира», я остро осознавал несоизмеримость этих слов с действительностью, вспоминая мелкие группки интеллигентов, перед которыми я выступал в Нью-Джерси в местных ячейках социалистической партии во время предвыборной кампании в пользу Юджина Дебса.

И все же главным для меня в этих встречах было тесное общение с людьми, сделавшими революцию. Голод, холод, повседневные трудности быта, минуты злости и раздражения после столкновения с каким-нибудь бюрократам — все в эти часы отступало на второй план, казалось мелким и незначительным. Большая часть аудитории скорее всего впервые видела перед собой интернационалистов. Мы, маленькая группа социалистов разных стран, были живыми символами из плоти и крови, реальными, осязаемыми. В нашем лице идея словно обрела материальность. Столько доверия вкладывалось в аплодисменты, которыми нас встречали, что трудно было избавиться от ощущения, что мы недостойны такого доверия. Мы даже внешне не подходили к своей роли! И все-таки, оглядываясь назад, можно сказать, что мы хоть в какой-то мере оправдали это доверие. Мы выполнили свое обещание рассказать Америке и всему миру о Великой Октябрьской революции. Мы рассказали всё, что видели. Здесь, в Америке, мы не испытывали никакой неловкости. Когда в России мы выступали перед народом, мы знали, что, хотя революционное движение в Соединенных Штатах сила, безусловно, важная, это движение не такое уж мощное, как думают наши слушатели. Наоборот, когда в Америке мы рассказывали о революционном движении в России, мы видели, что наша аудитория не представляет себе, не может представить истинный размах и мощь этого движения.

Прощальная встреча с Лениным

Был конец апреля, таял снег, и в воздухе пахло весной. Каждую неделю я собирался поехать в деревню, но дела Интернационального отряда не отпускали меня из Москвы. Немцы оккупировали Украину, белые, поощряемые союз-

никами, формировали на Кавказе новую армию. Им давали золото и обещали открытую интервенцию. Города голодали, в деревне было неспокойно. Опытных кадров большевиков на всю страну не хватало. В Мурманске и Архангельске высадились английские и французские войска, а потом и американские, которые якобы охраняли от немцев военное имущество. Однако главная угроза шла с Дальнего Востока, и именно туда мы отправились с «профессором» Кунцем — наш путь на родину лежал через Владивосток...

Мне уже было известно о предательской роли союзнических представителей, которые, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, всячески подстрекали контрреволюционные силы к мятежу. И только вид широкоплечей фигуры Робинса, выходящего из Кремля в своем мундире полковника американского Красного Креста, давал мне некоторую уверенность, что моя страна не выступит на стороне белых генералов. Впрочем, кто знает, что делалось за его спиной. Во всяком случае, он продолжал обсуждать с Лениным и Чичериным вопрос об угрозе японской агрессии и прилагал все усилия к тому, чтобы с помощью посла Фрэнсиса — по крайней мере, он на эту помощь рассчитывал — добиться от президента Вильсона выступления против японской интервенции.

Чем сильнее пахло весной, тем больше мне хотелось отправиться не во Владивосток и не в Америку, а в провинцию, в деревню. Там лежал ответ на самый кардинальный вопрос: выживут ли Советы? Однако стремление сделать что-нибудь на родине для предотвращения интервенции отодвинуло на второй план все остальные замыслы. Я все-таки решил ехать домой, отказавшись от своего красноармейского жалованья — целых 60 рублей в месяц, — предоставив Интернациональному отряду действовать без нас с Кунцем.

Не имея уже времени самому съездить в провинцию, я старался выяснить как можно больше у всех, кто там бывал. Яркую картину общей неразберихи дал мне, в частности, корреспондент «Манчестер гардиан» Филлипс Прайс, который несколько недель изучал обстановку в деревне и вернулся оттуда крайне обеспокоенным. Прайс был великолепным журналистом и так же, как Рансом, во многом придерживался взглядов, не расходящихся с моими. Его тоже глубоко тревожили надвигавшиеся тучи интервенции.

Он объездил несколько губерний и нашел там полнейший хаос и анархию. Ленин настаивал, чтобы по крайней мере один пункт Брестского договора (в отношении остальных он был менее требователен) выполнялся неукоснительно, — чтобы красные партизаны не нападали на немецкие войска. Получив приказ распустить отряды и разойтись по домам, некоторые партизаны хотя и с неохотой и с недовольством, но подчинились, другие же отказывались прекратить борьбу и, пользуясь симпатией и поддержкой части крестьян, продолжали воевать с немцами, которые постепенно забирали в свои руки власть даже там, где сами же до этого восстановили власть рады. В партизанских отрядах было много и большевиков, и они, одержав победу над радой в январе и феврале, не хотели добровольно отступить. Были и такие отряды, где верх взяли анархистские элементы, открыто поставившие себя вне закона. Они останавливали поезда, бесцеремонно высаживали пассажиров и заставляли машинистов везти их туда, куда им надо было.

Новый закон о земле, введенный в действие 19 февраля, ровно через 57 лет после отмены крепостного права, начал кое-где уже проводиться в жизнь, особенно в бедных деревнях и волостях, где большинство крестьян-бедняков на основании этого закона создавали новые земельные комитеты или преобразовывали старые, и эти комитеты становились частью местной Советской власти. Однако во многих местах, сказал Прайс, земельные комитеты оставались в руках правых эсеров. А левые эсеры, выступая под маской патриотизма и прикрываясь ненавистью к немцам, разжигали среди крестьян оппозицию к большевикам. Во всех случаях их истинной целью была защита своих мелкобуржуазных сторонников от растущей организованности бедного крестьянства, руководимого большевиками.

В некоторых районах землю расхватали еще до Октябрьской революции, причем, конечно, кто был половчее, тот побольше и захватил, поэтому крестьянским комитетам мало что осталось распределять. Безземельные и малоземельные крестьяне, вынужденные батрачить на более богатых, начали объединяться.

Деревня созрела для «второй революции», которую предвидел Ленин.

В апреле в деревне появились первые продотряды городских рабочих. Они привезли текстиль, лопаты и другие промышленные товары, чтобы обменять их на хлеб. Одиа-

ко трудовые крестьяне, приветствовавшие Советскую власть за то, что она узаконила захват земли и подтвердила их право на нее, теперь, добившись своей главной цели, встретили продотряды враждебно. Приветствия и товары были приняты, а самих рабочих выгнали с пустыми руками. «Слишком дорого обойдется земляца, если Советы будут отбирать то, что мы на ней вырастим», — говорили не только кулаки, но и середняки. Ряды середняков значительно выросли и за счет захвата земель, и за счет грабежа помещичьих усадеб летом 1917 года. Однако даже в апреле в некоторых местах, как писалось в газетах, беднякам удалось создать сильные земельные комитеты и произвести передел земли. Среднякам в некоторых случаях пришлось даже часть земли уступить беднякам. Но кулаки оказались более твердым орешком, а объединение деревенской бедноты и полупролетариев еще только начиналось. Скрытое недовольство вскоре перейдет в открытые кулацкие мятежи.

Я не мог согласиться с Прайсом, что ситуация действительно выглядела мрачно. В своей книге «Воспоминание о русской революции», в главе, посвященной этому периоду, Прайс писал:

«Дух мятежа по-прежнему бушевал по всей стране. Не было больше ни помещиков, ни банкиров-кадетов, но оставались немцы, для которых договор был «клочком бумаги», и советские комиссары в Петрограде и Москве. Последние представляли власть, и всякая власть в те дни была анафемской. Вулканическое пламя, веками тлеющее под поверхностью, вырвалось наружу. Прimitивная жажда мести классовым угнетателям была настолько сильной, что не останавливалась ни перед чем... Однако чрезвычайно важно понять, что эти символы мятежа были одновременно символами той самой недисциплинированности, против которой большевикам пришлось начать беспощадную борьбу».

Казалось, не было конца осложнениям, встававшим на пути этой первой пролетарской республики!

Ленин настойчиво придерживался теории, выработанной им еще в 1905 году! Для успеха революции необходимы два фактора, первый из них — союз рабочего класса и крестьянства. Этот союз прошел первую стадию, когда рабочие вместе со всем крестьянством свергли власть помещиков. Теперь наступила вторая стадия — рабочие вместе с беднейшим крестьянством должны начать борьбу против кулака. К лету и осени необходимость этой борьбы

станет особенно актуальной, а позже в деревне развернутся жестокие классовые битвы.

А как обстоит дело со вторым фактором? С поддержкой международного пролетариата? Не забыл ли Ленин про этот фактор? Нет, он все еще упоминал о нем даже в августе. В «Письме американским рабочим» он писал, например: «Мы находимся как бы в осажденной крепости...» — но он знал, что передовые рабочие других стран придут на помощь, поэтому с уверенностью утверждал: «Одним словом, мы непобедимы, ибо непобедима всемирная пролетарская революция»¹. Должен признаться, что, думая о доме и представляя себе свою будущую аудиторию, я меньше всего имел тогда в виду американский пролетариат. (Как потом оказалось, моими слушателями были люди самых различных социальных слоев: священники и бизнесмены, рабочие и интеллигенты, но среди двух миллионов американцев, купивших мою маленькую книжицу², подавляющее большинство были, конечно, рабочие.)

Враги Октябрьской революции, презрительно пожимая плечами, заявляли, что Советская власть не продержится и нескольких дней, потом они начали говорить о нескольких неделях. К апрелю 1918 года даже кое-кто из большевиков, по крайней мере из тех, с кем я беседовал на эту тему, в глубине души опасался, что их период власти будет коротким. При этом, однако, они не считали свою борьбу напрасной. Даже если они потерпят поражение, все равно их опыт был огромной победой. Подобно Парижской коммуне, Советская власть станет источником, из которого человечество будет черпать опыт при своей следующей попытке построить социалистическое общество. Брестский договор дал им отсрочку, но зловещие действия Антанты ставили под угрозу даже эту короткую передышку.

Луначарский, который выглядел в эти дни более мрачным, чем когда бы то ни было, сказал: «Нам, может быть, придется оставить Москву, но, если перед уходом мы и хлопнем дверью, мы все равно вернемся назад!»

Робинс бомбардировал Фрэнсиса телеграммами в надежде, что Вашингтон изменит свое отношение к японской интервенции. Он предупреждал, что ненависть к японцам

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 64.

² Имеется в виду брошюра А. Р. Вильямса «76 вопросов и ответов о большевиках и Советах», изданная двухмиллионным тиражом в 1919 году в Нью-Йорке.

объединит все враждующие сейчас между собой силы, и указывал на более выгодный для самой Америки выход — признание Советской власти. Мне он сказал, что, по его мнению, без американской помощи большевики обречены:

— Что ж, они сделали все, что могли. Ваша задача теперь оправдать их перед историей. Как, впрочем, и моя.

— Нет, полковник, эта работа мне не по душе, — ответил я. — Я хочу, чтобы они сами делали историю. Меня не интересует посмертное выяснение причин их гибели. Ее надо предотвратить.

Я тогда, конечно, не знал, что Вильсон уже принял решение. И русскому народу, который не хотел никакой войны (и в октябре пошел за большевиками, в частности, и потому, что все остальные партии не смогли дать ему мира), — этому народу так и не суждено было тогда пожить хоть немного без войны. Снова надо было проливать кровь, умирать и убивать...

Не могу точно назвать дату нашего отъезда из Москвы. Помню, как за несколько дней до отъезда я рассказал Кунцу о настроениях среди некоторых товарищей, к которым я приходил прощаться. Сам я чувствовал себя усталым, подавленным и мучился сознанием какой-то вины. Мне казалось, будто я бегу с поля боя. Кунц реагировал с необычной для него резкостью. Он напомнил, как сразу же после Октября многие ожидали немедленного построения социализма. Но был человек, который понимал, что это сразу невозможно. И прежде чем отправиться домой, мы увидим этого человека, добавил «профессор», уже улыбаясь.

— Ленина? — спросил я с сомнением. Ведь я помнил, как доказывал Кунцу, что мы не имеем права отнимать у Ленина время и претендовать на прощальную встречу.

— Да, Ленина, — ответил «профессор» как ни в чем не бывало. — Все уже устроено.

Оказывается, он звонил в Кремль и разговаривал с секретарем Ленина. Ответ был дан сразу же: «Он может уделить вам не более пяти минут». Был назначен день приема. Вечером того дня мы уезжали из Москвы.

Наша беседа с Лениным началась около десяти часов утра. Когда мы вышли из его кабинета, был полдень!

Мы прибыли в Кремль задолго до назначенного срока. Секретарь Ленина сказала нам, что он еще занят. Мы сели в приемной и стали ждать. Время шло, и нас начало раздражать любопытство: с кем это так долго беседует глава правительства? Наконец в дверях кабинета появились два

посетителя, двое крестьян, типичных русских мужиков, миллионы которых можно было видеть по всей России. Одеты они были в старенькие овечьи полушубки, ноги обуты у одного в лапти, у другого в валенки.

Здороваясь с нами, Ленин продолжал улыбаться. Я убежден, что он позволил нам отнять у него так много времени главным образом потому, что крестьяне оставили его в самом хорошем расположении духа. Он извинился за то, что заставил нас ждать, и добавил: «У нас был очень интересный разговор по некоторым важным вопросам». Заложив руки за спину, он быстрым шагом прошелся несколько раз взад и вперед по комнате. Мы следовали взглядом за его плотной невысокой фигурой и крепко посаженной лысой головой с высоким, по меткому определению Горького, «сократовским» лбом. Ленин так и светился радостью. Крестьяне приехали из Тамбовской губернии, пояснил он, один из них — удивительно умный и хитрый старик, но и другого стоило послушать. Ленин был страшно доволен тем, что двое крестьян разоткровенничались с ним и выложили все свои обиды и жалобы. Он долго и жадно расспрашивал их обо всем, что его волновало и что должно было волновать русских крестьян.

Теперь я знаю, что вскоре после этой встречи Ленин принимал делегата с Путиловского завода, который рассказал ему о страшном голоде в Петрограде. Через несколько дней, 24 мая, Ленин опубликовал в «Правде» письмо к питерским рабочим, озаглавленное «О голоде». Путиловец сказал, что от 40 тысяч рабочих завода осталось только 15 тысяч, «но это — пролетарии, испытанные и закаленные в борьбе.

«Вот такой-то авангард революции — и в Питере и во всей стране — должен кликнуть клич, — писал Ленин, — должен *подняться массой*, должен понять, что в его руках спасенье страны, что от него требуется героизм не меньший, чем в январе и октябре пятого, в феврале и октябре семнадцатого года, что надо организовать великий *«крестовый поход»* против спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников, великий *«крестовый поход»* против нарушителей строжайшего государственного порядка в деле сбора, подвоза и распределения хлеба для людей...»¹

Он призывал к «крестовому походу» во все концы страны для водворения порядка, для укрепления местных Со-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 361—362.

ветов, для надзора «за каждым пудом хлеба, за каждым пудом топлива». «Нужны десятки тысяч передовиков, закаленных пролетариев, настолько сознательных, чтобы разъяснить дело миллионам бедноты... и встать во главе этих миллионов...»¹. Продовольственные отряды не новость, продолжал он и, основываясь, очевидно, на некоторых жалобах крестьян (возможно, кстати, и тех же тамбовских), ссылаясь на неправильное поведение отдельных отрядов в прошлом.

«Рабочий, став передовым вождем бедноты, не стал святым»², — писал он, подтверждая то, о чем рассказывал Прайс и с чем печально соглашался Петерс: не хватало не только закаленных большевиков, но и просто дисциплинированных красногвардейцев.

С тех пор прошло несколько десятков лет, и теперь, рассказывая о нашей долгой беседе, я, конечно, не претендую на точную передачу всех ленинских слов, за исключением цитат, опубликованных мной в ранних статьях и книгах. Факсимильная запись этого прощального интервью вместе с другими документами была отобрана у меня по возвращении на родину агентами военно-морской разведки и так и не возвращена. Восстанавливая в последующие годы эту запись по памяти, я в большинстве случаев просто излагал мысли, высказанные Лениным.

В беседе с нами, состоявшейся после разговора с тамбовскими крестьянами, Ленин откровенно сказал о серьезной проблеме безработицы в городах, о голоде. Голод для бедной России не новость, говорил он, но сейчас, когда большевики держат власть в своих руках, а у богатых крестьян амбары ломятся от зерна, голода быть не должно — этого терпеть никак нельзя. Употребляя свое любимое выражение, он сказал, что теперь «сама жизнь» заставит большевиков сделать то, что они должны были сделать еще в самом начале революции, — организовать комитеты деревенской бедноты.

Первые попытки в этом направлении были предприняты еще в январе (у меня даже сохранились пожелтевшие от времени листовки с инструкциями красногвардейцам, «идущим в народ», как когда-то шли в народ народники, и перевод этих инструкций, сделанный моим переводчиком, в самом возвышенном стиле), но события, связанные с брестским кризисом, на время прервали эту работу...

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 362.

² Там же, с. 364.

Все больше и больше рабочих железных батальонов должно отправиться в деревню. Таких же батальонов, какие боролись с белогвардейщиной и одержали над ней победу. Только их потребуется гораздо больше, чтобы повести беднейшее крестьянство на борьбу с кулаком. В процессе этой борьбы они выработают самодисциплину и преодолеют свои собственные недостатки и пороки. Я всегда с тех пор помнил, что Ленин, требуя от рабочих самого активного участия в управлении, не идеализировал их как людей. Какие же пороки он имел в виду? Неожиданное ощущение власти способствовало проявлению у рабочих мелкобуржуазной психологии, это выражается, например, в том, что они стремятся добыть хлеб для себя или только для своих заводов. Революция не рождает чистые души за одну ночь; жадность и другие пороки не являются принадлежностью одной лишь буржуазии или спекулянтов и мешочников. Чтобы провести в жизнь великий социалистический принцип «Кто не работает, тот не ест», люди, которые его провозгласили, должны прежде всего сами проникнуться идеей труда для всего общества.

Разговор о деревне и крестьянах полностью захватил меня, мне хотелось задать еще несколько вопросов и, как прирожденному любителю поговорить, высказать свою точку зрения. Но прежде чем я успел вставить слово, Ленин окинул нас оценивающим взглядом и спросил, знаем ли мы, что такое Сибирь, и достаточно ли хорошо подготовились к длинной и трудной дороге. Его действительно волновало предстоящее нам путешествие. Подойдя к карте, он стал показывать наш маршрут. Глаза его загорелись, будто он сам собирается совершить эту поездку, и он, несомненно, с удовольствием бы ее совершил, если бы не был занят другими делами. Потом он снова спросил, все ли у нас есть, что нужно.

Я сказал, что везу с собой целый чемодан дневников, записей, документов, газет, листовок, экземпляров «Факела», то есть материалы для будущей книги, и что я надеюсь благополучно довести все это до Америки. «Профессор» Кунц, будучи настолько же непрактичным человеком, насколько Ленин практичным, только улыбнулся и пожал плечами, как бы говоря, что не видит ничего особенного в нашей поездке (мы ехали целых три недели). Поезд уходит сегодня вечером, сообщил он Ленину, и, если окажется, что мы ничего не забыли, это будет поистине «редким явлением в истории революции». При всех обстоятельствах, добавил «профессор», наше путешествие будет более

удобным, чем поездка Ленина в 1897 году в дикую глушь Енисейского края. Ленин, откинув голову назад, расхохотался. С каким удовольствием он всегда смеялся!

Помнится, он подошел к окну, посмотрел на улицу, потом обернулся и с оживлением сказал:

— А вы знаете, это красивейший край. А какие там люди! Впрочем, вы сами увидите, когда познакомитесь с товарищами из Владивостокского Совета. Но имейте в виду,— продолжал он, обращаясь лично ко мне (возможно, потому, что моя деятельность в большей степени, чем деятельность Кунца, должна была интересовать американское и другие посольства),— направляясь в Сибирь, вы направляетесь также в первый пункт интервенции Антанты. Японцы и англичане уже готовятся встретить вас там. Смотрите, как бы американские войска вас тоже не опередили. Мой совет — постарайтесь добраться туда как можно скорее.

Я опешил.

— Вы, конечно, шутите! Ведь совсем недавно, когда я прощался с полковником Робинсом, он даже питал некоторые надежды, что Америка признает Советское правительство или, на худой конец, окажет ему какую-нибудь помощь,— запинаясь от растерянности, проговорил я.

— Видите ли, Робинс представляет либеральную часть американской буржуазии, а политику Америки определяет не либеральная буржуазия, а финансовый капитал. И этот финансовый капитал стремится захватить контроль над Сибирью.

Эту часть беседы я приводил в своей книге «Ленин — человек и его дело». Чтобы быть полностью справедливым к Робинсу, должен здесь сказать, что тогда, весной 1918 года, он не испытывал особой необходимости посвящать меня в свои дела или даже делиться своими мыслями, поэтому, когда он высказывал какие-нибудь надежды, я чувствовал, что это были лишь общие фразы, ничем реальным не подкрепленные. (Позже, уже в Америке, мы сошлись гораздо ближе, переписывались почти до самой его смерти; при этом он часто вспоминал в своих письмах Ленина, и я не раз бывал у Робинса во флоридской усадьбе.) И все-таки Робинс оставался Робинсом, он боролся до самого конца, а я тогда не мог даже подозревать, что конец наступит так скоро. 25 апреля он написал прощальное письмо — корректное во всех деталях.

Короткий ответ Ленина был внешне так же корректным, но по существу язвительным. Примечательно, однако,

что предложения о советско-американском экономическом сотрудничестве, которые были разработаны и которые Робинс должен был представить своему правительству, были отправлены Робинсу из Москвы в мае! Значит, Ленин все-таки разделял главную надежду Робинса, что в Америке найдется достаточное количество проникательных промышленников и банкиров, способных повлечь на «идеалистов» Вильсона. По логике вещей так могло бы и быть. В книге Карра отмечается, что этот документ явился, в сущности, прообразом тех экономических соглашений, которые позднее стали типовыми в советской практике предоставления концессий иностранному капиталу.

— Так как же насчет вашего чемодана с литературой, дневниками и прочим? — снова спросил Ленин. — Будет очень обидно, если с ними что-нибудь случится. У вас в стране ему, наверное, не очень-то будут рады, ну а мы, поскольку это будет в нашей власти, обеспечим ему благополучный выезд из страны.

Удивительно, как точно Ленин предугадал встречу, которая ожидала меня на родине! Чемодан у меня, конечно, отобрали, а когда я получил его обратно от военно-морской разведки через министерство юстиции, в нем не оказалось части дневников за последние два месяца в России и почти законченной первой черновой рукописи книги о революции...

Без лишних слов Ленин взял в руки перо, быстро написал записку и подписался именем, которое, как волшебное слово, устраняло потом все препятствия на нашем шеститысячемильном пути. В записке он просил железнодорожных служащих оказывать нам всяческое содействие и обеспечить сохранность нашего багажа. Передавая мне записку, Ленин сказал, что она может пригодиться нам в советской Сибири и в том случае, если мы действительно встретимся с американскими морскими пехотинцами, у которых может не оказаться должного исторического чутья в отношении рукописей журналиста. (По иронии судьбы большая часть дневников и документов, находившихся в чемодане, после долгих странствий и злоключений все-таки вернулась ко мне, а вот коротенькое письмо Ленина, адресованное мне, и его охранную записку относительно нашего багажа и бумаг я потерял безвозвратно. Оба эти драгоценных документа были отданы мной на хранение одному товарищу во Владивостоке.)

В ходе нашей беседы я упомянул, между прочим, о том, что по возвращении на родину надеюсь осуществить план,

который обсуждал со мной Чичерин,— создать и возглавить Русское бюро общественной информации.

Ленин почему-то никак не выразил своего отношения к этому проекту, хотя, очевидно, знал о нем. Возможно, что и в этом случае он более трезво оценивал обстановку, чем мы с Робинсом, и не питал особых надежд на успех этого плана. (Он еще раз оказался прав. Государственный департамент решил, что, коль скоро Советы не признаны, значит, они не существуют, а раз они не существуют, то у них не может быть и никакого бюро информации в США.)

Вместо комментариев Ленин еще раз спросил меня о литературе, которую я везу с собой. Я ответил и рассказал также о небольшой киноленте, которая была сделана с помощью артистов Московского Художественного театра и показывала революцию в ее художественном аспекте. Я с жаром говорил, как буду демонстрировать этот фильм по всей Америке... Нетрудно, конечно, догадаться, что фильм так и не доплыл до наших берегов, по крайней мере, я его никогда больше не видел. Ленин, наверное, догадывался об этом еще тогда. Погладив рукой лысую голову, он поднял глаза к потолку, явно забавляясь моей наивностью, и сказал:

— Боюсь, что ни вашу литературу, ни фильм не пропустят в Америку. Они, должно быть, и в самом деле ужасно опасны...

Наш разговор происходил 43 года тому назад¹. В своей маленькой книжце, которая в большой спешке была выпущена в 1919 году², я уделил этому прощальному интервью незаслуженно мало места. Мне тогда казалось, что мысли и рассуждения Ленина, то есть наиболее трудоемкая для меня часть работы, были бы менее интересными для читателя, чем рассказ о его жизни и о чертах характера. Кроме того, я в тот момент вообще считал устные выступления наиболее коротким и верным путем к сердцам миллионов американцев, которым я должен был рассказать правду об интервенции. Когда же я вернулся в Россию в конце августа 1922 года, с тем чтобы собрать материалы для второго издания книги, о новой беседе с Лениным не могло быть и речи. Он был серьезно болен,

¹ Вильямс начал писать эту книгу в 1961 году и имеет в виду свой прощальный разговор с В. И. Лениным в апреле 1918 года.

² Имеется в виду очерк «Ленин — человек и его дело», в русском переводе вышедший последний раз в 1960 году в книге «О Ленине и Октябрьской революции».

серьезнее даже, чем нас старались убедить. И хотя к осени ему стало лучше, я все-таки не осмелился просить о встрече. Всю жизнь я жалел об этом.

Как жаль, что интервью не записывали тогда так, как записывают сейчас, на пленку! Много раз начинал я рассказ о последнем интервью. В своем архиве я нашел несколько разных вариантов. Все они верны, потому что отражают разные проблемы, обсуждавшиеся в ходе беседы. И во всех вариантах неизменно присутствует слово «если» — если только им не придется отступить за Урал и ждать более благоприятной международной обстановки. Это «если» простиралось даже до возможности — Ленин упомянул о ней вскользь — объединения сил воюющих между собой империалистических государств для совместного подавления Советской власти. В таком случае другие подхватят знамя единственно справедливой власти (потому что она власть большинства), знамя подлинной демократии — диктатуры международного пролетариата. Какова бы ни была их собственная участь, движение пролетариев будет отныне нести гибель власти имущим классам, власти меньшинства.

В следующий момент, после паузы, которая заняла пропорционально еще меньше времени, чем переход буржуазно-демократической революции в социалистическую, Ленин с полной верой в будущее уже говорил о развитии социалистического государства — и не где-нибудь, а здесь, в России. Он так образно и конкретно обрисовал нам перспективы, что много лет спустя всякий раз, когда я читал о строительстве в СССР новых каналов, плотин и гидроэлектростанций, я удивлялся: «Странно! А я готов был поклясться, что они уже давно существуют». И вспоминал Ленина, показывающего на карте, где будут строиться эти объекты.

Позабыв, казалось, о том, что Россия находится в огненном кольце, что города изнемогают от голода, а продовольственная проблема нигде даже не близится к разрешению, Ленин рассказывал нам, какой станет Сибирь при социализме. Он говорил о ее величайших богатствах: это и обилие полезных ископаемых от платины до угля, и необъятные просторы, и девственная тайга, и, главное, длинные могучие реки. Покоренные и обузданные плотинами, они смогут быть использованы для электрификации страны. Он видел огромные доменные печи, заводы и города, возникающие в диких, безлюдных местах.

В его картине будущего не только промышленность Петрограда, но и не построенных еще городов Сибири

работала на электричестве, а все шахты Урала были модернизированы по самому последнему слову науки и техники.

Может показаться странным, что Ленин говорил об этом с нами тогда, но надо вспомнить, что документ, содержащий сходные идеи и положенный в основу его программы рационального размещения промышленности и изучения природных богатств России, был написан им в апреле 1918 года, хотя впервые был опубликован только после его смерти¹.

Во время беседы проявилась еще одна черта ленинской натуры — та «мужицкая» пронизательность и чувство реальности, по поводу которых ходило выражение, что «он видит на два аршина в глубь земли». Это чувство реальности давало ему возможность видеть все последствия иностранной интервенции, а его непоколебимая вера в русский народ не позволяла смириться с несчастной судьбой России.

Он рассмеялся, когда я сказал, что его, видно, не очень страшит перспектива оказаться в ловушке за Уралом. О, Урал — обширная территория, ответил он, там можно вздохнуть свободно.

Им предстоят тяжелые испытания. Улыбка сошла с лица Ленина, но печальным оно не стало. Он повторил то, что уже неоднократно говорил в своих выступлениях. Советская власть столкнулась с проблемами, которые Маркс не мог предвидеть. Тем не менее интервенция встретит сопротивление не только в Советской республике, но и внутри капиталистических стран и будет тем сильнее, чем более развиты там трудящиеся классы.

Вот почему мы и едем домой, сказал я. Будем стараться усилить протест против политики, ведущей к интервенции, в надежде, что ее удастся предотвратить.

Ленин подвинул свой стул поближе к моему. Когда он так делал, это могло означать: ему нужно все внимание собеседника, чтобы его мысли полностью дошли до слушателя и чтобы ни одна из них не затерялась по дороге в отделяющем его от собеседника пространстве. Я уже однажды испытал это на себе, когда хотел записаться в Красную Армию, а он убедил меня, что для нас, иностранных доброжелателей, вполне достаточно будет находиться

¹ Очевидно, имеется в виду «Набросок плана научно-технических работ», написанный В. И. Лениным в апреле 1918 года и опубликованный в марте 1924 года.

в рядах Интернационального отряда. В таких случаях он не просто выкладывал свои мысли, он вкладывал их в вашу голову. Ну а если он начал задавать вопросы, вы — в его власти. Без особых усилий и без всяких ухищрений он как-то незаметно, просто благодаря своей любознательности совершенно обезоруживал человека, пришедшего задавать ему вопросы. Направив на собеседника вопрошающий, слегка иронический, будто видящий все насквозь взгляд своих прищуренных глаз, он задает вопрос за вопросом, вытягивая факты даже из интервьюера.

Как сказал мне Майнор¹, «Ленин заставлял других развязать язык, а сам использовал свои уши». (Боб тогда был анархистом и к большевикам относился враждебно. Он добивался встречи с Лениным, чтобы «разоблачить» его, но эта встреча оказалась первым шагом Боба к коммунизму, а вскоре ему пришлось даже отложить карандаш и кисть, чтобы стать профессиональным деятелем компартии, в результате чего страна потеряла своего лучшего карикатуриста.) Во всяком случае, все корреспонденты, с которыми я обменивался впечатлениями по этому поводу, испытывали на себе способность Ленина «развязывать языки». Мы могли быть очень опытными репортерами, а Ленин был лучшим репортером всех времен и народов.

И вот уже Ленин спрашивает меня об американских инженерах и ученых — «нам нужны тысячи специалистов», — а я отвечаю и сам удивляюсь, откуда что берется. Этот живой магнит вытягивал из закоулков моего подсознания (по современной терминологии, тогда еще не вошедшей в моду) факты и сведения, которые я где-то когда-то нахватал, а потом, казалось, начисто забыл. Вопрос следует за вопросом, еще ближе придвигается стул, еще сильнее действует на собеседника излучаемое Лениным тепло и притягательная сила этого человеческого магнита. И вдруг собеседник испытывает непреодолимое желание разделить его энтузиазм.

Но Ленин был не только жаден до информации, он умел с жадностью ее выслушивать — если, конечно, было что слушать, — но такого же внимания требовал и к себе. Тот же Майнор рассказывал мне, как однажды он по обычной американской манере покидать любое собрание,

¹ Р. Майнор (1884—1952) — американский карикатурист и журналист. В 1918-м и последующие годы встречался с В. И. Лениным. Был активным деятелем Компартии США и ее печати.

если подходит время идти в какое-нибудь другое место, встал и бесцеремонно направился к выходу мимо трибуны, с которой в тот момент выступал Ленин. Услышав скрип ботинок, Ленин обернулся и наградил Майнора суровым взглядом.

Потом наступил момент, когда мне нечего было сказать. Ленин хотел обсудить внутреннюю обстановку в Америке, перспективы развития там социалистического движения, характерные особенности классовых противоречий. Увы, у меня по этим вопросам не было никаких — не только блестящих, но даже просто интересных — мыслей. Ведь я в теории совершенно не разбирался. Видя, что здесь от меня ничего путного не услышишь, Ленин перевел разговор на другую тему.

Некоторое время Ленин и Кунц, переходя с русского языка на немецкий и наоборот, обсуждали какие-то философские проблемы. Мне трудно было следить за разговором, который полностью захватил собеседников. Они горячо спорили о непонятных для меня философских тонкостях, а я между тем обдумывал свой вопрос Ленину.

Я вспомнил слова Робинса о том, что у Ленина есть две любимые темы: Арктика и электрификация. Поэтому, удовлетворив Ленина рассказами о своей жизни на Клондайке и о золотоискателях, он считал себя вправе потихоньку перейти к темам, которые представляли особый интерес для него, Робинса, например к религии. Как только Ленин начинал проявлять нетерпение, Робинс тут же подбрасывал ему несколько фактов об электрификации.

...Я вспомнил прием Робинса и, воспользовавшись паузой, заговорил.

Я сказал, что, как только позволят обстоятельства (мне тогда и в голову не могло прийти, что интервенция продлится до 1920 года, а во Владивостоке и того дольше) и как только я выполню свой долг, рассказав американцам все, что знаю о революции, я вернусь в Россию. Будет ли к тому времени так называемый «середняк», которого Ленин в одной из своих ранних работ определил как крестьянина, владеющего парой лошадей, но едва сводящего концы с концами, — будет ли этот середняк настолько социалистически сознательным, чтобы не презирать меня как «безземельного крестьянина»? Мой вопрос послужил началом оживленной дискуссии. Разгадав, что именно этого я и добивался, Ленин взглянул на меня с новым интересом, как бы говоря: «А ты, оказывается, тоже хитрый мужик!» Тем не менее он ответил на мой вопрос. Пока в деревню не

придет свой «Октябрь» («красные петухи» по всей России были формой крестьянской «Февральской революции»), такая сознательность не может быть широко распространенной. Однако и теперь уже имеются признаки ее появления. Пример тому вот эти тамбовские крестьяне, что были сегодня здесь. (Неудивительно, что ему так понравилась беседа с ним.)

Нет, нам решительно повезло: Ленин сегодня был явно в настроении поразмышлять. Его рассуждения о предстоящей классовой борьбе в деревне — борьбе, в которой, как он это себе представлял, рабочие будут союзниками беднейшего крестьянства, — совершенно естественно привели нас к еще одной теме.

Социализм не может просуществовать долго в одной стране, а окончательная победа Октября, то есть построение бесклассового общества — коммунизма, дело далекого будущего, оно зависит от революции международного пролетариата, и Ленин не может установить никаких сроков. Об этом будущем он говорил нехотя, между прочим, как о роскоши, о которой непозволительно даже думать сейчас, когда марксистам надо решать сегодняшние и завтрашние проблемы.

Безо всяких экивоков он признал, что диктатура пролетариата, коль скоро в ней имеется необходимость, будет, как и в любом государстве, диктатурой правящего класса, с одной только очень важной разницей: в других государствах меньшинство, составляющее правящие классы, осуществляет насилие над угнетенным большинством, а здесь угнетенное большинство стало правящим классом, хотя оно еще недостаточно полно осознает себя хозяином государства. Ленин при этом добавил, что чем сильнее будет сопротивление потерявших власть классов, тем беспощаднее оно будет подавляться. Парижская коммуна потерпела поражение потому, что сразу же не подавила сопротивление буржуазии. Эти слова Ленина мне были известны и раньше. Но лишь некоторое время спустя после нашей беседы я нашел у него формулировку одной важной мысли Энгельса: «Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».

Я нашел ее в книге «Государство и революция», написанной им в подполье. В те дни, когда мы с Ридом кружили по петроградским улицам и мыслями витали в облаках, хотя ноги уже твердо стояли на булыжной мостовой, Ленин писал, что только когда исчезнет государство, можно говорить о свободе, «люди постепенно *привыкнут* к

соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, *без особого аппарата* для принуждения, который называется государством»¹.

Теперь же, говоря об этом Кунцу и мне, он на минуту задумался, будто мысленно представляя себе это счастливое время, когда все общественные пороки будут изжиты и человек станет тем, чем он рожден быть.

Когда это будет? Он прищурил глаза, задумчиво повторив мой далеко не легкий вопрос. Это зависит не от одной России, ответил он. Россия — пока единственная страна, где осуществляется диктатура пролетариата, и, несмотря на слабость и теперешнее бессилие России, могучие капиталистические державы, похоже, дрожат от страха и полны решимости стереть Советскую власть с лица земли.

В каком-то месте беседы он сказал, что Октябрьская революция все равно победит и что это будет «скоро». В другом месте он говорил о «целом периоде войн и революций, который будет длиться пятьдесят-семьдесят лет», и тогда слово «скоро» означало просто окончательную победу. На этот раз речь шла о «когда», а не о «если».

Однако гораздо раньше будут ликвидированы эксплуатация человека человеком и частная собственность. Этот процесс уже полным ходом осуществляется. В сложившихся условиях разрушение старого государственного аппарата шло, пожалуй, слишком быстро: левые коммунисты даже горят нетерпением изменить новый земельный закон. Они, например, объявили, что план создания государственных хозяйств будет возвратом к батрацкому труду. Ленин рассказывал об этом сухо, без эмоций, а я вспомнил, как он уговаривал рабочих не брать управления заводами в свои руки, пока они не научатся искусству управления.

Мы победим, продолжал Ленин, если сейчас уцелеем, а чтобы уцелеть, нам придется сделать кое-какие временные уступки: мы должны хоть как-нибудь наладить производство. Однако в любом случае, победим мы или нет, сказал Ленин, наш пример будет вдохновлять на революцию народы Азии, Южной Америки и Африки. И недалек тот час, когда к нам присоединится пролетариат Европы. Ленин посмотрел на нас испытующим взглядом, как бы читая наш мысленный вопрос, и, хотя у меня в

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 89.

голове действительно возник этот вопрос, я бы не стал его задавать: слишком он был болезненным. Но Ленин тем не менее на него ответил. Он не может сказать «когда». Многие уже совершали эту ошибку. «Но я вам скажу другое. Кайзер будет свергнут в течение ближайшего года. Это абсолютно точно». Я впервые слышал, чтобы Ленин делал определенные прогнозы во времени. Он оказался прав. Через семь месяцев, 10 ноября 1918 года, кайзер Вильгельм бросил свою армию и бежал в Голландию.

А в конце концов через 75—100 лет, с твердой уверенностью сказал Ленин, страны объединятся в великую социалистическую федерацию или сообщество.

То обстоятельство, что Ленин говорил о революции в Азии и даже в Африке и при этом словом не обмолвился о революции в Америке, не произвело на меня тогда такого впечатления, как его слова в начале беседы об американской интервенции. Сознывая, что мы и так долго засиделись, я задал последний вопрос:

— Все, что вы говорите, касается будущего. Ну а все-таки, если интервенция станет реальностью? Если моя страна не только не попытается ей помешать, но и сама примет в ней участие, что тогда?

Тогда, ответил Ленин, будем организовывать защиту. Мы к этому готовимся. Все остальное будет подчинено этой главной задаче. Ход революции может в таком случае замедлиться, ее формы могут быть даже на некоторое время искажены, но цель ее, ее идеалы останутся прежними, только достижение их отодвинется.

Если начнется иностранная интервенция, наш безмерно усталый народ найдет в себе новые силы для борьбы. Крестьяне будут защищать свою землю, они поймут, как это уже поняли те, кто попал к немцам, что приход японцев, англичан, французов или американцев будет означать возвращение помещиков. Каждый интервент должен на кого-то опереться, и единственно, на кого он может опереться в России,— это белогвардейщина. Так что, кто знает, может быть, ваше империалистическое правительство еще ускорит революцию. Однако все же интервенция будет большой ошибкой и несчастьем как для вашей страны и вашего народа, так и для нас.

Но в конце концов мы победим, в этом можете не сомневаться, заключил свой ответ Ленин.

Потом совершенно неожиданно после трех крупных вопросов, которые только что обсуждались, Ленин, повернувшись ко мне, выразил сожаление по поводу потери потен-

циального члена марксистского кружка. Сказано это было так, будто мы с ним не попали на интересный концерт или не успели доиграть партию в шахматы. Была ли в его голосе хоть маленькая нотка досады? Нет, глаза его были добрыми, и мне, во всяком случае, показалось, что Ленин действительно сожалел. Он сказал, что все понимает, что я типичный американец, но что я скоро сам почувствую необходимость изучать теорию: переломные моменты истории — наиболее подходящее для этого время.

Помню, что всю дорогу от Кремля мы с Кунцем почти не разговаривали. Каждый думал о своем, но никому из нас даже в голову не приходило чувствовать себя польщенным тем, что Председатель Совнаркома целых два часа говорил с нами и слушал нас. Думаю, что и тамбовским крестьянам это также не пришло в голову. Мои мысли были поглощены невероятными трудностями, которые ждут Советскую Россию впереди. Простота обращения Ленина в сочетании с его исключительной целеустремленностью, проявляющейся даже в вещах, казалось бы, незначительных, рождали у слушателей какой-то особый строй мысли и зажигали огонь в их сердцах. Я навсегда запомнил голос Ленина, высокий, резковатый, невыразимо дорогой и близкий, и слова, отчетливо прозвучавшие в пустой комнате, выбранной им в Кремле для своего кабинета: «В конце концов мы победим!..»

Джером ДЭВИС

Джером Дэвис — американский рабочий. В качестве члена молодежной организации США «Христианский союз молодых людей» работал в России в 1916—1918 годах.

«Национализация женщин» — просто розыгрыш

Я всецело против большевиков, но считаю, что никому не следует предъявлять обвинения, которые заведомо ложны. Поскольку великое множество различных доказательств, видимо, представлены для того, чтобы подвергнуть сомнению политику президента Вильсона, направленную на то, чтобы вывести наши войска из России и начать переговоры со всеми политическими группировками русского народа, то, вероятно, стоит обратить внимание на одно ложное сообщение. Как сообщает «Таймс» от 18 февраля 1919 года, м-р Симмонс заявил, что 15 марта 1918 года Саратовский Совет национализировал женщин.

Получилось так, что я был в городе Самаре¹, неподалеку от Саратова, вскоре после того, как был опубликован декрет, который зачитал Симмонс. В порядке выяснения истины насчет этого декрета я отправился в штаб-квартиру анархистов в Самаре и спросил, действительно ли издан ими такой декрет. Они категорически заявили, что никакая анархистская группа никогда не публиковала такой декрет, и сообщили, что он был опубликован богачами-толстосумами, которые стараются дискредитировать Советскую власть. Вскоре после этого они опубликовали небольшой листок, в котором, отрекаясь от декрета, что был зачтен мистером Симмонсом, они заявили, что этот декрет был сфабрикован контрреволюционными элементами. У меня сохранился один экземпляр этого листка.

Вскоре после этого один из самых богатых людей в городе Самаре признался мне, что декрет о национализации женщин был выпущен, как шутка, некими молодыми

¹ Самара — ныне город Куйбышев. (Прим. переводчика.)

людьми из состоятельных семей города. О втором таком декрете, якобы имевшем место в городе Владимире, я никогда не слышал. Возможно, что такой декрет был, но я уверен, что ни один достойный доверия вождь большевиков, такой, как Ленин или Чичерин, никогда не одобряли национализацию женщин. Где бы я ни упоминал советскому человеку об этом декрете, мне всегда отвечали, что это слишком смешно, чтобы говорить об этом всерьез.

Дать возможность лжи о большевиках пройти незамеченной — это лишь значит вызвать подозрение к тем вещам, которые действительно у большевиков плохи. Поскольку такие недостоверные утверждения, как национализация женщин Саратовским Советом, видимо, направлены на подрыв русской политики президента Вильсона, то, я полагаю, их следует нейтрализовать.

*Газета «Нью-Йорк таймс»,
23 февраля 1919 года¹*

Красная гвардия получает пятьсот новобранцев

Как только из Вашингтона поступит разрешение, так сразу же Американская Красная гвардия предполагает отправиться в революционную Россию для защиты первой в мире социалистической революции.

Пятьсот «стражей революции», завербовавшихся на сегодня, а также радикалы всех направлений города с нетерпением ожидают телеграммы от президента Вудро Вильсона. Как полагают, радикалы устроят демонстрацию с призывом записываться в армию для защиты родины пролетарской революции.

¹ 19 сентября 1918 года был утвержден подкомитет сената США под председательством сенатора Овермана для расследования дел о пивоваренни и изготовлении самогона, а также германской пропаганды. По окончании войны этот подкомитет «занялся большевизмом», и перед ним прошло большое число антисоветских свидетелей. Общим пунктом, на который обращали особое внимание эти свидетели, был пункт об установлении большевиками института «свободной любви». Роджер Симмонс, бывший представитель министерства торговли США в России, заявил, что «анархистский Совет» издал декрет, объявляющий женщин собственностью нации. И этот Симмонс зачитал сей неправдоподобный декрет перед комитетом Овермана.

Джером Дэвис, рабочий, член «Христианского союза молодых людей» (международной организации. — Н. К.), который был в России с апреля 1916 года по ноябрь 1918 года, подверг крикике показания Симмонса в своем заявлении, сделанном через газету «Нью-Йорк таймс». (Прим. Ф. Фонера.)

Организация этой армии началась вчера вечером на самом восторженном массовом митинге, состоявшемся во дворце «Парквью», что на углу 110-й стрит и Пятой авеню, под руководством Лиги социалистической пропаганды.

Более трех тысяч социалистов набились в зал, и столько же народа устроило грандиозный митинг на улице.

Оба митинга торжественно поклялись оказать «моральную, духовную и материальную» поддержку делу русской революции против германского самодержавия.

В конце митинга, в ответ на призыв добровольцев, социалисты под восторженный рев толпы ринулись к подмосткам. На призыв собрать деньги — посыпался дождь купюр; женщины швыряли на сцену свои драгоценности: кольца, булавки и сережки. Энтузиазм достиг апогея, когда с пола подобрали детское кольцо. Затем с галерки была брошена завернутая в носовой платок пачка денег со словами: «У меня осталась только мелочь на метро, чтобы добраться до дома». Один рабочий пообещал отдать всю свою зарплату с момента вступления в ряды добровольцев и до того, как он уедет с Американской Красной гвардией.

Президенту Вильсону была послана телеграмма с просьбой разрешить набор в Красную гвардию для прохождения действительной военной службы, включая телеграмму для посылки в Россию, следующего содержания:

«Две тысячи рабочих и социалистов, собравшихся на массовом митинге, требуют, чтобы вы разрешили вербовать добровольцев в Американскую Красную гвардию из лиц, освобожденных от призыва в армию по закону о воинской повинности, для несения военной службы в России против германского империализма. Мы также требуем, чтобы вы передали следующую телеграмму Совету Народных Комиссаров — Петроград, Смольный институт:

„Две тысячи социалистов и рабочих, собравшихся на массовом митинге, посылают братский привет и поддержку революционным рабочим и крестьянам в их героической борьбе против германского империализма. Мы утвердили набор в Американскую Красную гвардию для прохождения действительной военной службы в России.

Да здравствует революция!“»

Был создан митинг с целью обсудить целесообразность вербовки добровольцев в Американскую Красную гвардию для несения действительной военной службы в России. На митинге выступили Луи С. Фрейна, председательствующий, Артур Джиованнити, Андре Тридон, Генри Джагер,

Грегор Вейнштейн из «Нового мира» — русской социалистической газеты, издаваемой в Нью-Йорке, и А. Шварценфелд.

Тридон сообщил собравшимся, что человек, который пару недель назад разговаривал с президентом Вильсоном, сказал ему, что, по словам президента, он готов признать большевиков, но «я должен быть принужден к этому общественным мнением».

Это сообщение было встречено приветственными возгласами с криками: «Мы — общественное мнение!.. Мы!..»

Все ораторы настойчиво повторяли, что если Россия пострадает, то рабочие всего мира также пострадают; но последний оратор, Дживаннити, вот кто выразил основную идею собравшихся на митинге, заявив, что теперь «германская империя находится в состоянии войны с пролетариатом всего мира».

Ораторы, которые не назвали своих имен, заявляли, что, если социалисты и радикалы в Германии не откажутся от борьбы против революционных рабочих и крестьян России, чье дело — их дело, они должны быть заклеены позором, как «предатели и изменники» международного социалистического движения.

Фрейна в своей страстной речи заявил, что эта демонстрация является вкладом в дело солидарности рабочих с интернациональным братством и ответом на обвинения в «трусости» и «предательстве», которыми осыпались многие люди, что сейчас предлагают отдать свою жизнь за свои принципы.

Американская Красная гвардия и тысячи сочувствующих обращаются к рабочим Германии с призывом «отказаться от борьбы против революционных рабочих и крестьян России, чье дело — их собственное дело, смести в сторону позорный империалистический «социализм» Шейдемана и всех социал-патриотов и тесно сплотиться вокруг знамени Карла Либкнехта и Розы Люксембург за социалистическую революцию».

Около пятисот добровольцев записалось в Красную гвардию, а после митинга масса других лиц внесли свои имена в этот список. Кольца, как было упомянуто, были быстро проданы с аукциона на митинге в парке «Мэдисонсквер».

*Газета «Нью-Йорк ивнинг колл»,
1 марта 1918 года*

Раймонд РОБИНС

Раймонд Робинс — полковник, руководитель миссии Американского Красного Креста в России в 1917—1918 годах. Встречался с В. И. Лениным.

Обращение к деловым кругам США

Вы все верите, что в этом мире частная собственность выполняет высокую и полезную миссию. Я стою на такой же точке зрения. Вы все верите, что свободный капитал — вещь абсолютно необходимая для наиболее лучшего развития мира. Я также с этим согласен. Вот почему я говорю с вами сегодня. Под этим залом, да и везде в мире, заложена бомба, и она может взорвать нашу систему — вашу и мою — и отправить ее к праотцам навек, к Бурбонам и фараонам.

Я видел, как эта бомба произвела свой первый взрыв в России. Я не ответствен за то, что у меня не больше мозгов, чем богу было угодно вложить их в мою голову, и я не могу описать вам полностью положение в России со всеми нюансами и подробностями, но скажу вам по прошествии полутора лет только одно об этой бомбе, и каждое новое крупное достижение в России доказывает, что я прав. Эта бомба — вещь реальная. Это не просто масса мятежников и грабителей, бесчинствующих мародеров и убийц. Если бы дело обстояло так, то никакая это не была бы бомба вообще. Мы сейчас говорим о таком предмете,

В 1919 году Раймонд Робинс давал перед сенатским подкомитетом Овермана показания под присягой и описал с большими подробностями свою поездку в Россию. В речи, произнесенной перед группой американских бизнесменов в июне того же года, он указал, что им не следует полагаться на рассказы о большевиках, публикуемые большинством американских газет, и настоятельно советовал им четко понять, что они имеют дело с хорошо организованным, дисциплинированным движением. (Прим. Ф. Фонера.)

что может разрушить всю существующую социальную систему. Мятельники и грабители, воры и убийцы не могут разрушить существующую, да и любую другую, социальную систему. Их можно остановить силой. Их может остановить сильной рукой любое правительство, у которого под властью находится физическая сила. Единственное, что может разрушить социальную систему,— это другая конкурирующая социальная система, настоящая система, система, до конца продуманная и отработанная, способная построить свою собственную правильно организованную спокойную социальную жизнь.

Джентльмены!

Бомба эта — именно такого рода штука. Опасность советской социальной системы для американской системы заключается в том, что советская система — по-своему настоящая система.

В Петрограде и Москве больше законности и порядка под властью Ленина, чем это было при антибольшевике Александре Керенском. Я видел это своими собственными глазами. Меры, применяемые большевиками, чтобы добиться установления законности и порядка, были крутые. Они были жестокими. Я не говорю сейчас о терроре. Об этом я скажу несколько позже. Здесь я говорю об осуществлении закона против чинящих беззаконие элементов, будь то бунтовщики, карманные воры, поездные грабители или лица, продолжающие потреблять спиртные напитки, когда их потребление было (и продолжает быть) запрещено. Все такие лица преследуются с величайшим усердием (и самое удивительное, это делается в то время, когда существует масса других проблем и неприятностей); с пойманными расправляются очень быстро и коротко. Правопорядок был восстановлен. Я видел это своими собственными глазами до конца мая 1918 года.

Год спустя мистер Фрейзер Хант из газеты «Чикаго трибюн» и мистер Айзек Дон Левин из газеты «Чикаго дейли ньюс» поехали в Россию. То был 1919 год. Там был террор. Шла война. Там была блокада. Там был голод. Там каждый день был ад, и было время, когда сердца мужчин стыли от страданий их жен и детей, когда руки людей инстинктивно тянулись к любым запасам продовольствия и топлива, где бы они ни находились: в государственном складе или в частном погребе. И что же тем не менее видели мистер Хант и мистер Левин? Они видели то же самое, что и я. Они видели людей, в которых инстинкт самосохранения от голода и страданий постоянно и успеш-

но сдерживался общественным контролем Советской власти. Они видели население такое спокойное и так же глубоко дисциплинированное, как население городов Нью-Йорка или Сан-Франциско.

Джентльмены!

Люди, которые говорят вам, что советская система ничего собой не представляет, а является просто сборищем бунтовщиков и грабителей, воров и убийц, ведут вас к вашей собственной гибели. Они дают вам ложный адрес вашего врага и отправляют вас в экспедицию, которая никогда до этого врага не доберется и никогда не сможет причинить ему вред. Чтобы причинить вред большевикам, вам нужно по крайней мере установить их численность. Большевизм — это система, которая на практике, по своей сути, может собрать вместе людей миллионами, сбить их в организованную социальную группу и может добиться от них преданности и покорности, организованного согласия, иногда по доброй воле, иногда по принуждению, но всегда с помощью организующей идеи — идеи продуманной и отработанной, уже существующей в головах людей и в их намерениях, как план города, который еще не начал строиться, но уже отпечатан на синьках, улица за улицей, чтобы стать тысячелетним городом живущего в мире и согласии человечества.

Джентльмены!

Это настоящая борьба. Мы должны бороться с большевиками с таким оружием в руках, которым можно его побить. Идее должна быть противопоставлена идея. Тысячелетнему плану противопоставлен тысячелетний план. Против самопожертвования ради мечты нужно самопожертвование ради более высокой и более благородной цели. Почему вы говорите, что Ленин ничего не значит без своей Красной гвардии? Господа, позвольте мне сказать вам кое-что. Я видел маленький листок бумаги с парой слов на нем, написанных Лениным, весь читанный и перечитанный, а затем мгновенно и скрупулезно точно выполненный в русских городах за тысячи миль от какого-либо отряда Красной гвардии в ленинской армии.

Советы

На сегодня в мире Советы безусловно самые ненавидимые и самые любимые и наиболее ошибочно понятое политическое учреждение. Русский народ любит их, капита-

листы всех стран — ненавидят. Большинство людей не понимают их потому, что каналы, по которым они получают информацию, целиком и полностью контролируются врагами Советов — капиталистами.

Советская система управления сходна в основных чертах с нашей американской демократией, которая является самой прочной и стабильной. Советская система покоится на местных органах самоуправления, схожих со знаменитыми городскими собраниями Новой Англии. Вышеназванные местные органы самоуправления состоят из рабочих и крестьян местных общин. Эти местные органы посылают своих делегатов на Всероссийский съезд советских депутатов, который в свою очередь выбирает Центральный Исполнительный Комитет в составе примерно 250 членов. Этот ЦИК и является законодательным органом русского народа.

ЦИК выбирает так называемых народных комиссаров, которые подобны членам кабинета министров в Англии, Франции и Италии, подобны президенту и членам кабинета в Соединенных Штатах Америки. Народные комиссары всегда ответственны перед законодательным органом, который выбирает их.

Где тогда основания для криков о беспорядке и анархии в России? Ничего не может быть более упорядоченного или более стабильного по демократичности, чем та демократия, что есть в России!

Здесь делегаты русского народа как отбираются, так и избираются народом, в то время как во всех капиталистических странах делегаты отбираются капиталистами, а избираются народом.

Разумеется, капиталисты утверждают, что в России анархия, потому что свергнутые опозорившие себя Романовы и их прихвостни больше не грабят, не эксплуатируют, не надувают и не обворовывают 180 миллионов русских крестьян.

Господствующий класс в Германии, Франции и Америки пребывает в состоянии страха и отчаяния, боясь, что часы демократии пробьют последний час царствования правящего класса в их странах также.

Порядок! Кто требует порядка в России? «Пусть тот, кто без греха, бросит первый камень». Под порядком разве мы не означаем государство, в котором жизнь, собственность, свобода и поиски счастья гарантированы и находятся в полной безопасности? Если так, то можно ли говорить

о порядке в Америке, где с момента начала войны были линчеваны 280 негров, где свобода речи, свобода печати и свобода собраний больше не существует, где в Висби (штат Аризона) 1200 шахтеров, членов профсоюза «Индустриальные рабочие мира», были разлучены с семьями, засунуты в вагоны для скота и отправлены в жалкую пустыню нанятыми капиталистами убийцами и бандитами; где люди были лишены свободы, потому что они осмелились цитировать Декларацию независимости или выдержки из речи о новой свободе президента Вудро Вильсона; где Верховный суд, решением пяти против четырех, признал закон о детском труде неконституционным? Имеет ли право Англия внести в «Парламент мира» предложение о порядке, та самая Англия, которая свыше 800 лет железной пятой давила горло Ирландии и чьи руки обогреты кровью индийского народа и народов других малоразвитых стран.

После революции 1789 года Франция годы пребывала в состоянии хаоса и меняла правительства непрерывно, переходя от монархии к республике и обратно.

Германия стала организованным, упорядоченным государством только в 1871 году. Северная германская конфедерация объединила мечом непокорные герцогства, королевства и княжества в единое прочное государство, и тем не менее «Цабернский инцидент» известен каждому, изучавшему всемирную историю.

Что касается негров, то ни собственность, ни их жизнь, ни свобода, ни поиски счастья, которое, между прочим, возможно только при обладании первым, не обеспечены на Юге наших Соединенных Штатов Америки.

Журнал «Мессенджер»¹ отрицает право каждого капиталистического лицемера и ханжи в христианском мире вносить предложения о порядке в Советской России.

Да здравствуют Советы!

*Журнал «Мессенджер»,
май—июнь 1918 года*

¹ «Мессенджер» — негритянский социалистический ежемесячник, издававшийся Филиппом Рэндольфом и Чендлером Оуэном, характеризовался как «единственный в мире радикальный негритянский журнал», постоянно защищающий большевистскую революцию. Эта редакционная статья — типичный пример позиций, занимаемой журналом. (Прим. Ф. Фонера.)

Банкир перевозит большевистских вождей

Россия — страна не анархистская. Россия — не страна беззакония. Презренные большевики не являются и никогда не были прогерманскими элементами, и лишь позиция, занятая американской печатью, мешает понять, почему они вели переговоры с кайзером. Дело в том, что Россия вот уже несколько месяцев как находится под властью самой радикальной общественной группы, но в этом факте нет ничего противоестественного и нет ничего такого, от чего следует прийти в отчаяние. Россия указывает путь к новому общественному порядку во всем мире — с большей свободой, с более полным равенством и, как мне кажется, с более чистой демократией, чем мир когда-либо знал до этого. Русский народ принес огромные жертвы ради этой цели, но русские счастливы в своих страданиях и не променяют свою вновь обретенную свободу на условия, которых нигде в мире еще нет.

Все это говорит не социалист. Это говорит человек с Уолл-стрита, банкир и миллионер, промышленный магнат, «горнорудный король», полковник Уильям Бойс Томпсон¹, который только что возвратился из шестимесячной поездки в Россию, будучи там одним из руководителей американского Красного Креста. Не в пример большинству американских миллионеров, он не стал доказывать свои положения до тех пор, пока не ознакомился лично с русским народом, не просто с теми 10 процентами, которые составляют так называемую респектабельную публику. Когда он говорит о России, он говорит о 90 процентах русских. Они счастливые люди, эти 90 процентов, с которыми никто не считался, но теперь считаются самым решительным образом.

«И настоящие прогерманские элементы в России,— говорит Томпсон,— находятся не среди массы рабочих и крестьян, которых подозревают в сговоре относительно заключения сепаратного мира. Такие элементы находятся среди наиболее респектабельных капиталистов и помещиков... Цены на недвижимость сразу подскочили в Петрограде, когда Рига была захвачена немцами».

¹ По возвращении из России полковник Уильям Бойс Томпсон, член миссии американского Красного Креста, был интервьюирован Чарлзом В. Вудом. Сделанный Томпсоном отчет о положении в России резко отличался от тех сообщений, которые публиковались в то время на страницах большинства коммерческих газет.

«...Следует сказать о большевиках, что они поддерживают в стране наиболее полный порядок. У нас распространено мнение, что они набросились, словно воровская шайка, на Петроград, терроризируя порядочных людей, грабя дома и потворствуя всеобщему буйству, мятежу и кровопролитию. Но если говорить о фактах, то о смене правительства, например, было объявлено официально во всех районах Петрограда. Город был поделен на районы с управлениями во главе, и каждый человек в Петрограде знал управление того района, где он живет. Были изданы инструкции и директивы о том, что в тех случаях, когда нужна помощь, следует обратиться в районные управления. По такой просьбе всегда за считанные минуты на место действия прибывал автомобиль, наполненный солдатами. Грабежи были полностью пресечены, и в течение первых месяцев ноябрьской революции, я могу сказать на основе собственных наблюдений, в России было больше порядка, чем в любой другой период времени в течение моего четырехмесячного пребывания.

Вот та ситуация, которую в американской прессе, как правило, называют «анархией». В России имелась самая большая возможность воцарения анархии, какая когда-либо существовала с тех времен, как мужчины носят ботинки, и тем не менее — если учесть тягу к беззаконию и к потворствованию ко всяческим привилегиям, а не к свободе — порядок и хорошее поведение, которые преобладали там, удивительны.

Никогда с тех пор, как царь был свергнут, там не было случая, который можно было бы сравнить с эксцессами времен Великой французской революции...»

«...Тем не менее русскую революцию следует рассматривать как спокойный большой переходный период. Примите во внимание те несправедливости, которые чинились с незапамятных времен, полное отрицание всякой свободы и прав человека. В России с трудящимся человеком обращались «как с собакой». А во многих отношениях даже хуже. И вот затем эти 180 миллионов униженных и угнетенных человеческих существ вдруг обнаружили, что они обладают полной свободой, а ведь из них под ружьем было 10 миллионов. Столкнувшись с таким положением, образованные классы стали поговаривать о необходимости посадить на трон великого князя или каким-то другим путем сохранить меры принуждения старого режима. Но несмотря на этот дополнительный стимул для насильственной мести, Россия практически была свободна от избиения

привилегированных слоев общества. Это вообще крайне удивительно, если мы вспомним, что страна только что претерпела трехлетнее жестокое правление...»

«...Я искренне верю, что Россия указывает путь ко всеобщему миру, равно как она указывает путь к большим и радикальным изменениям мира...»

«...Я рад, что это так. Когда я наблюдал за этими демократическими действиями в России, я чувствовал, что с большим удовольствием увидел бы подобные сцены в Соединенных Штатах. Какому-нибудь ученому профессору или крупному промышленному магнату, сидящему сейчас в конгрессе, стал бы отвечать какой-то кочегар паровоза в толстых, подбитых гвоздями ботинках, и часто эти «толстые ботинки» оказались бы более лучшим оратором. Хотел бы я также видеть побольше представителей трудящихся в сенате Соединенных Штатов; не каких-то наемных адвокатов фирм вместо рабочих, а людей, чьи загрубелые, мозолистые руки или грубые, но эффективные методы показывают, что они действительно делают полезную миру работу. Затем мне хотелось бы увидеть в конгрессе США вместо платных адвокатов настоящих предпринимателей, которые сидели бы бок о бок с этими рабочими. Тогда, мне кажется, мы все стали бы лучше понимать друг друга...»

Полковник Томпсон порицал естественный консерватизм, не немецкую пропаганду, благодаря которой мы неправильно понимаем Россию. И он подчеркивал, что это неверное понимание льет воду на мельницу кайзера.

«Президент Вильсон,— сказал он торжественно,— доказал, что он понимает всю ситуацию. В его послании к конгрессу есть как раз то, на основе чего простые люди всех стран могут прийти к взаимному пониманию. Это послание будет воспринято рабочими Германии с таким же энтузиазмом, с каким оно было воспринято в Петрограде; и ничего неожиданного не будет, если это окажется смертельным ударом по германскому империализму».

*«Сан-Франциско экземинар»,
19 января 1918 года*

Луиза БРАЙАНТ

Луиза Брайант (1890—1936) — американская журналистка, жена Джона Рида. Вместе с ним приехала в Петроград в августе 1917 года, где пробыла до января 1918 года. Пережитое и увиденное запечатлела в книге «Шесть месяцев в Красной России» (1918). В это время была близка по своим взглядам к Джону Риду, смело выступала против антибольшевистской истерии в США. В 1920 году вторично приехала в Россию, была принята В. И. Лениным, который дал ей интервью; в 1921 году совершила поездку в Среднюю Азию. В ее книге «Зеркала России» (1923) содержатся воспоминания о В. И. Ленине, М. И. Калинине, Г. В. Чичерине, Ф. Э. Дзержинском и других деятелях революции. Публикуемый отрывок взят из книги «Шесть месяцев в Красной России».

Революционный трибунал

Сравнивая французский революционный трибунал с русским революционным трибуналом, нельзя не поражаться полным несходством этих двух учреждений. Ни один из известных институтов не является более полным выражением революционной мысли, более верным указанием на особенности характера народа, чем революционный трибунал. Принципиальной задачей французского суда было приговаривать подозреваемых лиц к смерти с помощью гильотины. За все время пребывания в России, пока я наблюдала за деятельностью этого удивительного учреждения, ни один человек не был приговорен к смерти.

Я думаю о двух типичных делах.

Первым было дело графини Паниной. Когда большевики пришли к власти, Панина присвоила себе девяносто тысяч рублей, принадлежащих правительству. Она отказалась передать их новым властям, поскольку хотела сохранить их до созыва Учредительного собрания. Она не захотела признать иск Советского правительства. В итоге она была арестована и заключена в Петропавловскую крепость.

Начало процесса над ней вызвало заметное возбуждение. Зал суда был заполнен разношерстной публикой, рабочими, сторонниками реформ, монархистами. Большинство заседаний проводилось в новом дворце Николая Николаевича¹. Это была круглая, очень светлая комната с красными портьерами, выглядевшая несколько странно,

¹ Имеется в виду великий князь Н. Н. Романов.

словно сцена небольшого современного театра. За длинным столом из красного дерева, покрытым красно-золотой скатертью, сидели семь судей. Жуков, рабочий, председательствовал. Двое судей были одеты в простую солдатскую форму. Поначалу они выглядели несколько растерянными, но в дальнейшем держались с удивительным спокойствием и достоинством.

Первым, кто выступил в защиту графини Паниной, был пожилой рабочий, который, в силу разных причин, питал к ней чувство благодарности. Он поднялся и сказал, что она внесла свет в его жизнь, которая была погружена во мрак. «Благодаря ей я стал мыслить,— сказал он.— Я не умел читать, а она меня научила. Тогда она была сильной, а мы — слабыми. Теперь она — слаба, а мы (т. е. масса) — сильны. Мы обязаны ее освободить. Мир не должен услышать о нашей неблагодарности, о том, что мы заключаем в тюрьму слабых». Говоря это, он все более и более возбуждался, пока в итоге не впал в какой-то безумный, истерический тон. «Я не могу видеть ее сидящей здесь в качестве подсудимой»,— вскричал он и, разразившись стенаниями, вышел из зала суда.

Профессиональные адвокаты не производят необходимого действия в судах такого рода; технические детали играют здесь второстепенную роль. Ловкий адвокат графини Паниной смертельно наскучил слушателям. Последним взял слово импульсивный молодой человек с одного из петроградских заводов. Он сказал в заключение:

— Давайте не будем сентиментальными. Перед нами — Панина не графиня, а обыкновенная гражданка, которая похитила народные деньги. Мы не хотим ее обидеть, проявить по отношению к ней какую-либо несправедливость. Все, что мы хотим,— это чтобы она возвратила деньги.

Старик благодарен ей за то, что она научила его читать. Но сейчас — другое время. И мы не хотим зависеть от чьих-либо подачек по части «просвещения». Мы верим, что каждый человек имеет право на образование. На деньги, которые Панина отняла у народа, мы построим школы, где каждый сможет учиться. Будучи революционерами, мы не верим в милостыню и не желаем благодарить за те случайные крохи, которые падают со стола богачей.

По его просьбе суд объявил перерыв и через несколько минут вернулся, вынеся следующее решение: графиня Панина должна находиться в Петропавловской крепости до тех пор, пока она не вернет народные деньги. В тот самый момент, когда подчинится этому требованию,

она получит полную свободу, но на нее обратится презрение народа.

Панина решила немедленно расстаться с присвоенными деньгами. В любой другой стране в столь суровое время Панина была бы казнена, особенно если учесть, что она являла собой одну из самых злостных саботажниц нового режима. С ее опытом она могла бы оказать неоценимую помощь, однако делала все от нее зависящее, чтобы сокрушить пролетарское правительство.

Другой процесс, проходивший в Выборгском районе Петрограда под председательством двух мужчин и одной женщины, иллюстрирует практику решения малозначительных дел. На этот раз зал суда был заполнен рабочей публикой. Обвинялся бедняк, совершивший кражу денег у женщины, продавщицы газет. Суд допрашивал обвиняемого, который защищался следующим образом: «Я очень плохо себя чувствовал,— жаловался он.— Я устал бродить по темным, холодным улицам. Я подумал, что если окажусь в теплом помещении, хорошо освещенном, и увижу улыбающихся людей, то почувствую себя счастливым. Я мечтал о Народном доме и решил, что было бы хорошо пойти туда и послушать Шаляпина».

— Почему вы решили обокрасть именно эту женщину?— поинтересовался судья.

— Я долго размышлял,— объяснял подсудимый.— Я стоял на углу и наблюдал, как она торгует газетами. Она продавала их в основном богатым людям, врагам бедняков, и я решил, что и она сама, в некотором отношении, монархистка и капиталистка. Разве она не торговала их газетами так же, как и нашими? И я взял ее деньги. В течение трех дней она не могла меня найти.

Суд посовещался в течение нескольких минут, и наконец один из судей спросил чрезвычайно торжественно:

— И вы почувствовали себя лучше после того, как побывали в театре?

Русские — понстине замечательные люди. Никто в суде не засмеялся, услышав этот вопрос. Вор ответил, что он действительно приободрился. Он сказал, что настроение не могло не повыситься, когда слушаешь столь прекрасное пение.

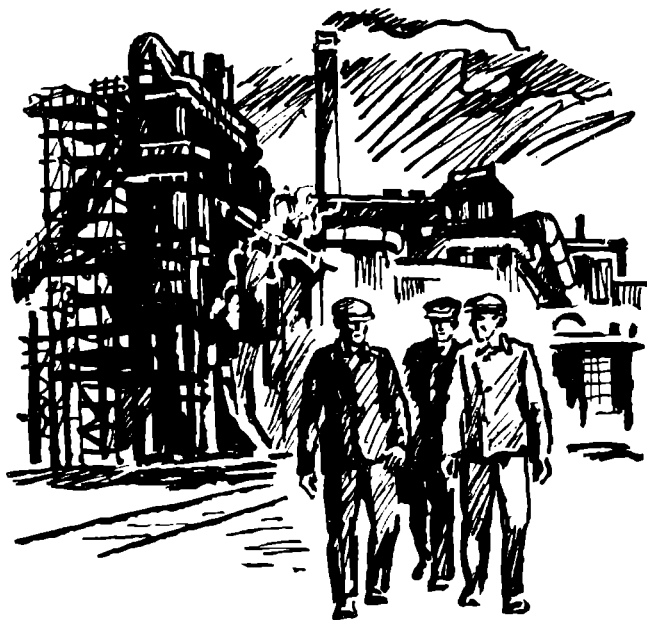
Затем продавщица газет выступила в свою защиту. Она настаивала на том, что ни в коей мере не является капиталисткой, а, напротив, человек, весьма полезный для своих ближних. Она называла себя революционеркой, поскольку верила в свободу слова и, следовательно, считала

справедливым делом распространение газет всех направлений.

Суд удалился на совещание. После возвращения судьи объявили, что считают аргументы женщины убедительными и серьезными. Доводы же подсудимого были признаны неосновательными и, следовательно, он должен был как-то возместить потерпевшей то, что он у нее взял. Они обратились к присутствующим в зале с просьбой решить, что же подсудимый, объяснивший, что у него нет денег, должен отдать взамен.

Собравшись небольшими группами, люди стали горячо обсуждать и спустя час пришли к следующему решению: мужчина должен отдать женщине свои галоши. Стоимость их примерно равна сумме похищенных денег. Женщина была этим весьма довольна, поскольку, как она сказала, у нее нет галош, а они ей очень нужны, так как она целый день стоит на мокром тротуаре. Подсудимый был также удовлетворен, ибо, как он сказал, его совесть теперь чиста. Он и потерпевшая пожали друг другу руки и расстались друзьями. Все отправились домой в веселом настроении.

Эти истории кажутся забавными, но если в них вдуматься, они вызывают совсем иное чувство. Справедливость, если она вообще возможна, должна быть наглядной. Сталкиваясь с замысловатым законодательством высокоцивилизованных государств, мы как-то полностью забываем об истинной справедливости. Мы поглощены разного рода хитросплетениями, доказательствами алиби, процедурой, уловками всех видов. Русские законы были очень плохи. Советское правительство решило перестроить всю систему, и в то же время был создан революционный трибунал. Это, разумеется, не означает, что в его намерение входило увековечить столь упрощенное представление о правосудии.



2 ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Элла БЛУР

Элла Рив Блур (1862—1940) — выдающаяся деятельница американского рабочего и коммунистического движения, одна из руководительниц Компартии США. Неоднократно подвергалась в США арестам и тюремному заключению за организацию и участие в забастовках. Трижды посетила Советский Союз, принимала участие в III и IV конгрессах Коминтерна. В настоящем сборнике печатаются отрывки из ее книги «Нас много». Нью-Йорк, 1972.

Россия — мое первое посещение социализма

Ирлу Браудеру¹ крайне хотелось, чтобы Уильям Фостер поехал в Россию на I конгресс Красного Интернационала профсоюзов (Профинтерн), где он мог бы воочию увидеть большие достижения русских рабочих после революции, их героическое культурное строительство нового общества, несмотря на иностранную интервенцию и голод, и Браудер был очень рад, когда Фостер согласился на поездку. В это время Фостер работал в Братстве железнодорожных кондукторов и был делегатом профсоюзного центра в Чикаго. После поражения в 1919 году крупной стачки рабочих сталелитейной промышленности, которой руководил Фостер, он был занят созданием Лиги профсоюзной пропаганды — революционной организации, выступая против двойного тред-юнионизма и будучи убежденным сторонником идеи создания сильного прогрессивного блока внутри старых профсоюзов. Эта политика нашла мощную поддержку в работе В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

Браудер и я поехали как делегаты Лиги профсоюзной пропаганды; Фостер — в качестве наблюдателя. Бил Хей-

¹ Ирл Браудер — в прошлом один из лидеров Компартии США, ее генеральный секретарь во время второй мировой войны. Именно в этот период выступил с теорией о «прогрессивности» империализма США, призывал к классовому сотрудничеству и ликвидации компартии, чего на короткое время добился. Вскоре она была восстановлена, и в 1946 году Браудер был исключен из ее рядов. В 1958 году в партии победило марксистско-ленинское крыло. Большую роль в воссоздании партии в 1945 году сыграл У. Фостер, один из основателей КП США и с 1957 по 1960 год ее почетный председатель. (Прим. составителя.)

вуд, вступивший в начале 1921 года в Коммунистическую партию США, возглавил делегацию от организации «Индустриальные рабочие мира». Кроме того, тут были также делегаты от Единого большого профсоюза Торонто, Детройтской федерации труда и Центрального рабочего совета Сиэтла.

Наша группа выехала вместе на скандинавском пароходе, который высадил нас в Либаве¹. Там мы пересели на поезд и отправились в Ригу, которая была тогда центром антисоветских группировок всех мастей и служила передаточным пунктом для корреспондентов клеветнических антисоветских газет. Нас затолкали вместе с нашим багажом, нагроможденным вокруг нас, в какой-то товарный вагон, и мы поехали через Латвию. Повсюду мы видели разрушительное действие мировой войны: разбитые, опрокинутые железнодорожные вагоны, разрушенные станции и мосты.

Два с половиной дня нам понадобилось, чтобы пересечь Латвию — путь, на который обычно уходило всего несколько часов. Поезд был полон русских иммигрантов, которые возвращались на родину в таком огромном множестве, что было совершенно немыслимо позаботиться о них в стране, разоренной гражданской войной и блокадой. В нашем вагоне находилось более двадцати человек, включая шестерых наших делегатов, одного человека с женой, которые и были нашими переводчиками. Мужчины устроили нам места для спанья, чтобы нам не пришлось лежать на полу вагона. На дворе стоял март, так что было очень холодно и окна приходилось держать постоянно закрытыми. Мужчины постоянно курили, и дышать было совершенно нечем. Иногда, когда все спали, я, чтобы впустить немного свежего воздуха, потихоньку вытаскивала щепки, которыми были заткнуты щели в нашем вагоне.

На советской территории, казалось, все мгновенно преобразились. Пока мы ехали через Латвию, никто не разговаривал с незнакомыми, но стоило только нам пересечь границу, как напряженность тотчас исчезла. Весь поезд мгновенно украсился красными флагами и шарфами, которыми пассажиры радостно размахивали из всех окон и дверей. В Петрограде нас, шесть делегатов на конгресс Красного Интернационала профсоюзов, встретил эскорт, который сопровождал нас вплоть до Москвы.

¹ Л и б а в а — ныне город Лиепая. (Прим. переводчика.)

Вследствие трудностей, с которыми многие делегаты из различных стран столкнулись, чтобы добраться до Москвы, открытие конгресса слегка задерживалось. Мы использовали свободное время, чтобы побывать на фабриках и заводах и в новых советских учреждениях. Переводчик Фостера рассказывал мне, что тот задавал вопросы непрерывно. Каждый вечер Фостер возвращался возбужденный теми удивительными новыми вещами, которые он видел. Браудер записывал на машинке те рассказы, что мы с Фостером живописали ему, так же как свои собственные наблюдения, и посылал их ежедневно в США. Вскоре Уильям Фостер сказал нам, что виденное и слышанное им убедило его в правильности политики коммунистов.

Наш приезд совпал с началом новой эры для этого рабочего государства. Дни войны, интервенции и блокады окончились, оставив после себя страшную разруху, и теперь в первый раз вожди рабочего класса могли сосредоточить свои усилия на задачах мирного хозяйственного строительства. Незадолго до нашего прибытия прошел X съезд партии, на котором была принята предложенная Лениным мудрая и дальновидная новая экономическая политика, заменившая собой старый режим военного коммунизма, который был необходим в стране во время войны и блокады. Крестьяне ворчали на реквизицию у них излишков хлеба и продовольствия и на недостаток товаров первой необходимости. Вновь завертели колеса промышленности, дававшей к тому времени всего лишь 15 процентов довоенной продукции. Требовалось покончить с царившей повсюду разрухой; население страдало от голода и болезней.

Ленин понимал, что страна нуждается в экономической передышке, точно так, как раньше, во время подписания с Германией Брестского мирного договора, она нуждалась в окончании войны. Нэп означал замену продразверстки хлеба продовольственным налогом, чтобы крестьяне могли продать излишки хлеба по своему усмотрению. Ленин и большинство членов Центрального Комитета партии знали, что это оживит сельское хозяйство, увеличит оборот товаров, упрочит союз рабочих и крестьян и создаст прочную базу для поднятия промышленности. Хотя это временное отступление означало определенное оживление частью торговли, партия оставалась достаточно сильной, чтобы контролировать это оживление, используя его только на тот период, который необходим для создания прочной экономической основы, на базе которой можно будет

начать окончательное наступление против всех остатков капитализма.

Мы достаточно много слышали об оппозиции Ленину по поводу нэпа и по вопросу о профсоюзах (Троцкий хотел сделать их государственными органами, уничтожив независимость профсоюзов). Однако мы видели, как партия сплотилась вокруг Ленина, и мы были уверены, что она стоит на правильной стезе. Мы видели, как отважные советские рабочие собрали всю свою силу, чтобы победить своих врагов и построить социалистическое общество. Я была удивлена и необычно счастлива той атмосферой свободы и спокойствия, которая царила на заводах и фабриках. Рабочие *пели* возле своих ткацких станков и машин. Слово, которое мы чаще всего слышали из их уст, когда задавали им вопросы, было слово «наше». Они управляли с помощью профсоюзов своими собственными условиями труда и отдыха,— профсоюзов, организованных по производственному принципу. Тут были, конечно, и свои трудности. Масса станков и оборудования стояла из-за нехватки запасных частей. Используемые методы труда казались страшно примитивными по сравнению с американскими стандартами. Однако первой задачей рабочих была задача восстановить все после многих лет мировой и гражданской войн. Тогда бы они смогли применить современные методы производства и технику. Они были полны величественных планов.

На текстильной фабрике я увидела множество стоящих без дела ткацких станков, и мне сказали, что хозяин фабрики убежал, захватив с собой самые важные части от станков. Я составила список тех деталей, которых не доставало, и по своему возвращению в Америку передала его профсоюзу Объединенных рабочих-текстильщиков (чьи лидеры тогда были более воинственны, чем сейчас), где мне обещали достать и отправить недостающие части фабрике. Какой прием оказали мне рабочие этой фабрики потом, когда я приехала к ним в следующую поездку в Россию!

Однажды группа делегатов побывала на большом заводе, находящемся в десяти милях от Москвы и заброшенном компанией «Интернешнл харвестр К°» во время войны, но теперь вновь пущенном и изготавливающим плуги. Меня просили не волиоваться из-за незнания языка и говорить так, как будто я у себя на родине. Человек, который переводил мою речь, говорил в два раза дольше, чем я, и делал удачные выпады от моего имени.

Несмотря на трудности, советский народ успел сделать многое для детей. На этом заводе были построены красивые детский сад и детские ясли. В специальной мастерской пожилые женщины кроили и шили, чинили и штопали рубашки для детей заводских рабочих.

Несмотря на скудный рацион, рабочие всегда ухитрились найти, чем угостить своих зарубежных гостей, и нас часто поражало их щедрое гостеприимство.

То был 1921 год — армия демобилизовывалась, и было неопишное количество тяжелой работы, которую следовало проделать. Каждую субботу вся нация отдавала один день, рабочий день, уборке, и мы, гости, также добровольно участвовали в этом мероприятии. Так, Ирл Браудер помогал убирать двор гостиницы, считая это своей обязанностью на «субботнике».

Каждый день в три часа пополудни какой-нибудь товарищ брал меня на какой-нибудь завод, выступать на митинге. Рабочие страстно слушали «американку». Информирование рабочих о том, что происходит в остальной части света, представляло собой большую политико-воспитательную работу, и я была горда тем, что есть и моя доля в этом труде.

Русские относились с большим уважением к американцам, и в особенности к американской технике. Однако имела также некоторая горечь из-за участия Америки в вооруженной интервенции. Часть русских парней носили американское военное обмундирование, которое, как они кисло сказали нам, попало к ним в руки от разгромленной армии Врангеля. Кроме того, масса оружия американского производства была найдена у контрреволюционных банд.

Я слышала выступление Горького на большом профсоюзном митинге. Я не понимала, что он говорил, но видела, что он был воодушевлен собравшейся толпой народа и самим митингом, что он глубоко любит рабочих и они отвечают ему взаимностью. Внешне он был похож, как мне показалось, на крестьянина. Когда я потом встретила его еще раз, то он расспросил меня об Америке и о том, читают ли еще его книги у нас. Я сказала, сколь много для меня значил его роман «Мать», для меня и для массы других американцев.

...Так мы провели наше время — весь март и апрель. Затем наступил день Первого мая.

Рано утром нас разбудили звуки знакомых песен на английском языке. Мы кинулись к окнам и увидели восемь или более русско-американских рабочих, которые приехали

в Россию, чтобы оказать помощь в восстановлении советской промышленности.

Мы стали им вторить из окон, и они попросили нас спуститься вниз и присоединиться к их параду.

С песнями мы промаршировали к зданию Московского Совета. Председатель горсовета подошел к окну, и мы обменялись с ним приветствиями. Затем мы вернулись в гостиницу к праздничному столу (все официанты и горничные, разумеется, отдыхали), после чего отправились на Пушкинскую площадь — широкий, с пышными деревьями сквер, переходящий в большой бульвар.

Огромные толпы народа хлынули на площадь, а автомобили, украшенные красными флагами и зелеными ветками, подъезжали и подъезжали к площади, привозя все новые группы людей из профсоюзных и других организаций и учреждений. На прицепленных к автомашинам платформах ехали духовые оркестры, акробаты и циркачи с дрессированными животными. Повсюду разыгрывались различные концерты и постановки, произносились речи. Вечером приехавшие иностранные делегаты выступали с пятиминутными речами со сцены самых крупных театров Москвы. Я говорила в Художественном театре.

Вскоре после этого открылся исторический I конгресс Красного Интернационала Профсоюзов. Образование Красного Профинтерна стало необходимым после того, как Амстердамский Интернационал профсоюзов, находящийся под контролем деятелей из II Интернационала, перестал представлять интересы рабочих. Кроме советских профсоюзов на конгрессе были представлены левые социалистические и синдикалистские профсоюзы различных стран, а также организованные меньшинства других профсоюзов. Примерно около дюжины синдикалистских делегатов из Франции, Италии и Испании оказались раскольниками: они постоянно стремились превратить конгресс в нечто вроде анархистской организации. Перед самым открытием конгресса Эмма Голдман и Александр Беркман, находившиеся тогда в Москве, попросили официально у американской делегации гостевые билеты на конгресс. Мы единодушно проголосовали за то, чтобы не давать им таких билетов, зная, что они присоединятся к раскольникам. Однако каким-то образом, каким неизвестно, они попали на конгресс и хотя не имели права голоса, однако старались сколотить на конгрессе антикоммунистический, антисоветский блок. Они науськивали синдикалистов внести на обсуждение предложение, осуждающее Советское прави-

тельство за подавление кронштадтского мятежа, спровоцированного за несколько месяцев до этого с иностранной помощью белогвардейцами, эсерами и меньшевиками. После провала этого предложения Эмма Голдман и Беркман пытались поднять бунт. Сейчас является установленным фактом, что в это время Голдман и Беркман активно поддерживали анархизирующего бандита Махно, который грабил крестьян на Украине и вел вооруженную борьбу против Советского правительства.

Эмме Голдман предоставили политическое убежище в СССР после того, как ее выслали из Соединенных Штатов, но, являясь анархисткой, она была как противником Советского правительства, так и противником правительств всех других стран. Когда она начала злоупотреблять гостеприимством Советского правительства, организуя контрреволюционные группы, то утратила свое право на политическое убежище, и ее попросили покинуть Советскую страну.

Право голоса на конгрессе Красного Профинтерна определялось размером представляемых делегатами стран и рабочего движения в них. Крупные страны, такие, как Германия, Россия, США и Великобритания, имели по шестнадцать голосов каждая. Никто не имел права сказать, что Россия или такая соседняя держава, как Германия, оказывали давление при голосовании. Поскольку у нас было всего лишь шесть постоянных делегатов, то было решено дать пятерым по три голоса каждому, а оставшийся голос — одному, шестому делегату. Один из наших делегатов от организации «Индустриальные рабочие мира» причинил нам массу неприятностей, активно противодействуя всем решениям конгресса. Однако Бил Хейвуд и прочное меньшинство «Индустриальных рабочих мира» поддержали Красный Профинтерн. Хейвуд, будучи серьезно болен диабетом и имея над головой приговор на двадцать лет тюремного заключения за свою активную деятельность против войны, остался в Москве, став в 1922 году главой американской колонии в Кузбассе. Впоследствии он участвовал в работе Международной организации помощи борцам революции, занимаясь оказанием помощи борцам революции, сидящим в тюрьмах во всех капиталистических странах. Он умер в Москве в 1928 году.

Один из вопросов, обсуждавшихся на этом конгрессе, который особенно волновал американских делегатов, касался двойственного тред-юнионизма. Наша политика работы в Американской федерации труда и независи-

ных профсоюзов одержала победу над линией работы проф-организации «Индустриальные рабочие мира». Красный Профинтерн утвердил Лигу профсоюзной пропаганды в качестве своей американской секции. Конгресс также решительно высказался за политические действия. Синдикалистская идея уничтожения государства и передачи промышленности в руки профсоюзов встретила резкий отпор.

На этом конгрессе я впервые встретила Тома Манна, работая вместе с ним в комитете по выработке устава. С тех пор мы навсегда остались сердечными друзьями.

Значение конгресса Профинтерна сказалось на рабочем движении всего мира. Он воодушевил профессиональные союзы всех стран мира объединяться по производственному принципу. Каждая страна на этом конгрессе выработала свою собственную программу, обязательной составной частью которой был призыв конгресса к организации производственных профсоюзов.

Всем делегатам Красного Профинтерна были даны билеты на III Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала, как раз в это время начавшего свою работу. Конгресс проводился в Кремле — во Дворце царей¹. Как волнующе было шагать по широкой мраморной лестнице в большой коронационный зал с его чудесными картинами и глядеть сквозь высокие ажурные окна, смотрящие на извиляющуюся Москву-реку. Отсюда были видны купола множества московских церквей — золотые, серебряные и голубые, — с их блестящими крестами. Трудно было поверить, что это не сон. В президиуме конгресса находились Ленин, Клара Цеткин и много других великих людей, о которых я читала. Тут были делегаты из Китая, Японии, Кубы, Мексики, Канады — из всех стран мира.

В большой столовой, находящейся рядом с залом заседаний, стояли длинные столы, уставленные чашками чая, пирожными и бутербродами; столы обслуживали красивые русские девушки в белых платьях и красных шапочках. Фотографии и революционные сувениры, которыми тогда были украшены стены, были потом переданы в Московский музей революции, чьи сокровища, я с гордостью упоминаю об этом, включают и две мои фотографии.

На второй день III конгресса Коминтерна я впервые увидела Ленина. Из боковой двери, расположенной вблизи трибуны, вышел очень тихо какой-то маленький человек,

¹ Дворец царей — имеется в виду Большой Кремлевский дворец. (Прим. переводчика.)

уселся за столом позади большой группы пальм и сразу начал что-то писать.

«Ленин здесь!.. Ленин здесь!» — пронесся по залу шепот; наконец делегаты больше не могли выдержать, встали и запели «Интернационал», каждый на своем языке одновременно. Ленин, склонившись над своими бумагами, не обращал внимания. Когда он поднялся говорить, делегаты начали снова петь пролетарский гимн и старались петь во всю мочь. Он ждал, когда они закончат, глядя задумчиво то вверх голов, то на свои заметки в некотором нетерпении начать и затем стал говорить прямо и просто, без каких-либо ораторских выкрутас и цветистых выражений. От него исходило чувство непреодолимой силы и такой глубокой искренности и самоотверженности, какой я еще никогда не встречала.

После заседания Ленин спустился в зал, чтобы пожать всем нам руки. Он особенно рад был видеть американцев и потому задал нам множество вопросов об Америке, в частности, как я помню, об американских фермерах.

Несколько дней спустя Ленин защищал тезисы, предложенные русской делегацией, от поправок, внесенных некоторыми делегатами. Конкретным пунктом расхождения был вопрос о необходимости вначале создать истинно революционную партию в каждой стране, а затем завоевать на свою сторону массы. Часть делегатов настанвала на том, чтобы требование о массах было опущено, указывая, что в России победа пролетарской революции была достигнута несмотря на то, что партия большевиков была очень маленькой. Ленин сказал, что тот, кто не может понять необходимости привлечь на свою сторону большинство рабочего класса, тот потерян для коммунистического движения. Да, действительно, Коммунистическая партия в России была маленькой во время революции, сказал он, но тут важно помнить, что в дополнение к этому большевики имели на своей стороне большинство Советов рабочих и крестьянских депутатов по всей стране.

Мы победили в России не только потому, сказал Ленин, что на нашей стороне было большинство рабочего класса (во время выборов в 1917 году с нами было подавляющее большинство рабочих против меньшевиков), но и потому, что половина армии, непосредственно после захвата нами власти, и 9/10 крестьянской массы в течение нескольких недель перешли на нашу сторону.

Ленин продолжал указывать, что понятие слова «массы» изменяется по мере изменения характера борьбы. Бы-

ло время, говорил он, когда достаточно было иметь несколько тысяч настоящих революционных рабочих на стороне партии и это являлось началом процесса завоевания масс. Однако в период, когда революция уже достаточно подготовлена, несколько тысяч рабочих не могут больше называться массами. Понятнее «масса» тогда означает большинство: не простое большинство рабочих, а большинство всех эксплуатируемых.

Снова и снова он повторял, что для того, чтобы добиться победы, необходимо иметь сочувствие масс, большинства эксплуатируемых и трудящихся сельского населения. Неумение понять и подготовиться к этому, объяснял он, было основной причиной слабости партий во многих странах.

Глубокое впечатление произвело на меня ленинское настойчивое требование, что мы должны всегда быть готовы признать наши ошибки и учиться на них тому, как лучше организовать борьбу. Закончил он следующими словами:

«Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим: «Да, мы совершили ошибки», то это значит, что впредь они не будут повторяться и что мы лучше сумеем выбрать момент. Если же во время самой борьбы на нашей стороне окажется большинство трудящихся,— не только большинство рабочих, но большинство всех эксплуатируемых и угнетенных,— тогда мы, действительно, победим»¹.

Женщины на конгрессе, включая Клару Цеткин и Александру Коллонтай, организовали Коммунистическую конференцию женщин. Как единственная женщина из Соединенных Штатов Америки, я представляла США в президиуме. Мы провели нашу конференцию в Свердловском зале, расположенном в маленьком здании в Кремле, на втором этаже которого Ленин, его жена и сестра имели маленькую простенькую квартиру. Огромное волнение охватило зал, когда группа делегатов женщин-мусульманок впервые перед нами сняли свою чадру и впервые взглянули на мир глазами свободных людей. Я доложила об условиях труда 8 миллионов женщин США, занятых в промышленном производстве, и я помню хорошо, как были потрясены делегатки, узнав, насколько высока степень детского труда в такой развитой стране, как наша.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 33.

Большая честь была работать так тесно с такими удивительными женщинами в нашем рабочем движении, как Клара Цеткин, которая является одним из выдающихся членов Коммунистической партии Германии, посвятившей всю свою жизнь работе среди женщин. Ее знали во всем мире за ее титаническую борьбу против мировой войны. Она была другом Энгельса, и Ленин очень гордился ею и любил говорить с ней. Она была прекрасным оратором и говорила сильным, звучным голосом. Хотя она страдала болезнью сердца, она никогда не жалела себя. Я видела, как она говорила до тех пор, пока не падала без сознания. В такие моменты ее сын, который всегда находился рядом с ней, приводил ее в чувство, и затем она могла вновь продолжать речь. Последний раз я ее видела в 1929 году. Она уже начала сдавать. Она сидела и отдыхала за дверью заседания комитета, и я помню, как она сказала мне, что хотела бы быть такой же крепкой, как я. На последних всенародных выборах в рейхстаг в Германии, до того как Гитлер стал диктатором, она была избрана в рейхстаг от Коммунистической партии и как старейший депутат рейхстага открывала сессию. Слабая и хилая, она совершила мощную атаку на жестокость нацистов, призывая германский народ объединиться против фашизма. В тот год мне было семьдесят, а ей семьдесят пять, и она послала мне поздравление с днем рождения. Последние дни свои она провела в Советском Союзе, где умерла в июне 1933 года.

Очень сильное впечатление произвела на меня также блестящая и страстно пылкая Александра Коллонтай, которая была активисткой в женском коммунистическом движении еще с дореволюционных времен. Одно время она работала народным комиссаром государственного призрения. Когда я впервые встретила ее, она была одним из лидеров «рабочей оппозиции», утверждавшей, что интересы профсоюзов противоположны интересам партии и Советского государства. Ленин, к которому она была очень привязана, убедил ее в ошибочности занятой ею позиции, и она отказалась от своих оппозиционных воззрений, став лояльным сторонником партии. Она стала полномочным представителем СССР в Норвегии — первой женщиной-послом в мире; была некоторое время послом в Мексике, а сейчас является советским посланником в Швеции.

Однако самой большой честью для всех нас, и меня в том числе, была встреча с Надеждой Крупской, женой

Ленина, одной из самых самоотверженных, преданных людей, каких я только знала. Она работала вместе с Лениным, помогая ему во всех его делах, и была техническим секретарем Центрального Комитета партии во время эмиграции, в ее обязанности входила обработка огромной корреспонденции в условиях жесточайшей конспирации и очень утомительная работа с шифрами и кодами. Учительница по образованию, она всегда больше всего интересовалась делом народного просвещения, и ее первые шаги в революционном движении состояли в организации рабочих кружков образования. Как заместитель народного комиссара просвещения, она отвечала за ликвидацию безграмотности среди взрослого населения в СССР. Она рассказывала мне о сложной задаче ликвидации безграмотности, унаследованной от царского режима. Во время моих последних посещений Советского Союза она всегда посылала за мной, чтобы расспросить о различных новых идеях в Америке, которые можно было бы использовать с пользой в советской системе просвещения.

* * *

К концу нашего визита в Россию мы начали получать сообщения о действительно отчаянном голоде в ряде районов страны. Голод был извечной проблемой в царской России. Так, страшный голод был в 1891 году, 1906 и 1911 годах. В данное же время, до того как молодая Советская республика могла наладить производство зерна, как это сделано очень эффективно теперь, частичный недород в 1920 году сопровождался летом 1921 года одной из самых свирепых засух в истории России, причинившей полную гибель всего урожая в основных зерновых районах страны. На тысячах квадратных миль не созрело ни единого колоска пшеницы или ржи. Тысячи людей умирали от истощения, а тысячи других уезжали в города, которые не в силах были им помочь чем-либо.

Когда я покидала Москву, чтобы возвратиться в Америку, наш старый товарищ Борис Рейнштейн, занимавшийся в то время изучением народного просвещения в Москве, увидел меня в вагоне поезда. Рейнштейн был членом социалистической рабочей партии в Соединенных Штатах и приехал в Россию во время революции 1917 года. Он был переводчиком на конгрессе, на котором я присутствовала. Когда мы сказали друг другу «прощай», я заметила ему:

— Борнс, вы победили внешних врагов Советского Союза и часть врагов внутри. Сумеете ли вы теперь победить голод?

Он ответил:

— Мы создали нашу Красную Армию из необученных крестьянских парней. Они отстояли революцию. Теперь мы их демобилизовали и послали назад на фабрики и заводы, поля и мастерские, чтобы восстановить разрушенное народное хозяйство.

Затем он добавил в слезах, бежавших по его худым щекам от нахлынувших чувств:

— Не бойтесь, они это выполнят. Ничто не может разрушить Советский Союз.

Второе посещение Советской России

В сентябре 1922 года я отправилась в Россию как делегат от Центрального рабочего совета Миннеаполиса на II конгресс Красного Интернационала профсоюзов. Конгресс был большой, на него съехались представители всех профсоюзов мира; настоящий объединенный фронт, образовавшийся несмотря на угрозы Самуэля Гомперса отобрать право быть профсоюзом у тех организаций, которые пошлют своих делегатов. Тут встретились делегаты, представлявшие Центральные рабочие советы городов Сизтла и Детройта, что говорило о том влиянии, которое оказал I конгресс Профинтерна на профсоюзы Америки.

Произошедшие за год изменения в России были поразительны. Несмотря на страшное бремя голода, который возобладал над всеми остальными трудностями, и вооруженную интервенцию, которая продолжалась до осени 1922 года, когда японцы наконец покинули Советский Дальний Восток,—во всем ощущалось оживление и подъем. Зияющие выбоинами тротуары отремонтированы, окна, еще год назад заткнутые бумагой и мешковиной, были застеклены. Дома покрашены, а кое-где начато новое строительство. Работали магазины, рестораны. Театры и оперы процветали (хотя они оставались открытыми и в самые тяжелые дни). Все работало, строили, учились. Хотя продукты, поступавшие из-за границы, спасли от голода многие жизни в голодных районах страны, однако никакой экономической помощи для хозяйственной перестройки страны не поступало; вместо этого капиталистический мир

прилагал все усилия, чтобы покончить с существованием и упрочением социалистического государства.

Экономическое оживление было обусловлено, разумеется, единством и волей советского народа, руководимого партией. Новая экономическая политика действовала так, как предвидел Ленин, которому мешали различные ультралевые элементы, видевшие в нэпе отказ от завоеваний революции, и правые, никогда не верившие в рабочий класс и в возможность построения социализма... Теперь, спустя полтора года, результаты показали, насколько прав был Ленин.

На IV конгрессе Коммунистического Интернационала, который собрался в это время, Ленин доложил, что крестьяне не только победили голод, но сумели уплатить продналог государству по существу без всяких мер принуждения... Ленин сообщил на конгрессе об общем подъеме в легкой промышленности и больших улучшениях условий жизни петроградских и московских рабочих. Однако положение в тяжелой промышленности оставалось печальным, хотя и там намечались некоторые сдвиги. Чтобы поставить тяжелую промышленность в хорошие условия, сказал Ленин, требуются многие годы работы, вот почему он требовал величайшей экономии во всем, чтобы создать, обеспечить базу для развития тяжелой индустрии, от которой зависят все другие отрасли народного хозяйства, так же как целостность и независимость самой страны.

В период этого времени в Москве я встретила массу молодых американцев, которые приехали сюда помочь России избавиться от голода и участвовать в ее восстановлении. Не только русские, но много людей из других стран делали героические усилия в районах, охваченных голодом, по распределению одежды и продуктов питания, по строительству домов для детей-сирот, жертв гражданской войны и голода. Американская организация помощи Гувера (АРА) помогла спасти жизнь многих. Сам Гувер не любил Советы и главным образом старался использовать деятельность АРА для того, чтобы свергнуть большевиков. Однако условия, на основе которых допускалась работа этой организации Советским правительством, сделали такие попытки невозможными. С АРА было связано много отличных ребят. Особенно большое значение имела работа американских квакеров, чей Американский комитет дружеских услуг собрал массу денег и послал для распределения продуктов питания и одежды группу лиц, многих из которых я встретила в Москве. Одной из первых амери-

канок, выехавшей из Москвы в голодные районы России, была Анна Луиза Стронг, которая с тех пор провела большую часть своей жизни в Советском Союзе и с помощью своих статей и выступлений внесла огромный вклад в дело лучшего понимания Советской страны в Америке.

Часть американских профсоюзов и Общество друзей Советской России собрали большую сумму денег. Одним из их особых пожертвований был тракторный отряд, руководимый моим сыном Гарольдом Вэром. Он был на вечере Анны Луизы (я предоставила ей свой номер), куда мы пригласили много наших американских, а также русских друзей. Вначале Гарольд, впервые встретив столько незнакомых людей, немного дичился, но вскоре почти все в номере собрались вокруг моего сына, обстреливая его вопросами об условиях сельского хозяйства в Советской России и той практической технической помощи, которую он оказывал; его ясные, умные ответы и сообщения о своем опыте удерживали внимание собеседников целый вечер.

Как-то раз вечером, после того как мы прослушали в прекрасном исполнении оперу «Кармен», я направлялась по коридору гостиницы в свой номер, когда услышала позади чей-то возглас:

— Где тут живет товарищ Блур?

Какой-то человек побежал через холл ко мне, и я увидела своего закадычного друга Сантери Нортева, который, как я знала, находился в Америке, где он был первым советским представителем, и Мартина Андерсен-Нексё, выдающегося датского писателя. Руки обоих были заняты большими буханками дымящегося ржаного хлеба. Они только что получили их прямо с жару из пекарни, и я с удовольствием угостила их стаканчиком кофе — они знали, что у меня в номере есть примус. Мы сидели и болтали почти всю ночь.

Нексё оказался на редкость простым, без жеманства человеком. Он терпеть не мог, когда ему оказывали какое-то особое внимание из-за его литературной славы. Я никогда не знала более жизнерадостного и естественного человека. Его первый крупный роман «Пеле-завоеватель» долгое время был одним из моих любимых, из-за остроумия, тепла и большого понимания человека. Я спросила писателя, видел ли он в действительности «ковчег», описанные им в романе «Пеле», — эти большие многоквартирные жилые дома, набитые задавленными нуждой людьми.

— Да, я видел их, — ответил он. — Мой дорогой товарищ, как можно не видеть их? В мире слишком много

таких «ковчегов», и мы должны уничтожить их всюду, где они имеются.

Книги Нексё широко читались в России. Он был ошеломлен, когда по приезде в Москву узнал, что здесь на счету в банке у него лежит большая сумма гонорара. Он тотчас отослал все эти деньги в один из детских домов в Самаре.

Мой сын Гарольд Вэр

Мой сын Гарольд Вэр внес такой большой вклад как в дело распространения наших идей среди фермеров Соединенных Штатов Америки, так и в дело построения социализма в Советском Союзе благодаря своей работе на селе, что мне хочется несколько отклониться в этом месте, чтобы сказать несколько слов о его работе.

В детстве он любил бывать на улице. Всегда весь в движении, полный энергии и любопытства, он не знал ни минуты покоя. Гарольд имел поразительно живое воображение и организаторский талант, которые сопутствовали ему на протяжении всей жизни. Необычно застенчивый, он забывал свою застенчивость, когда пускался в одно из своих очередных предприятий, и из него изливался поток живой образной речи, столь убедительной, что те, кто слышал, были совершенно увлечены ею.

Рос он высоким и худым и, когда мы переехали в Арден, был капитаном бейсбольной команды и ведущим игроком в теннис и в других видах спорта. Много школьных занятий пришлось ему пропустить из-за мучившего его туберкулеза, однако он много читал, так что всегда мог за несколько месяцев упорной учебы наверстать два или три года школы. Его интерес к социализму пробудился, как я помню, очень рано.

Когда мы жили в Ардене и потом, когда я отправлялась в свои бесконечные поездки, ему обычно приходилось следить за своими тремя младшими братьями. Он держал их в узде и так их организовывал, что они сами варили, стирали и сами убирали дом лучше, чем я сама могла заставить их это сделать.

Его интерес к земледелию пробудился с юных лет. В маленьком саду в Ардене он начал выращивать овощи и продавал их по всему местечку. Тонкое чувство красоты подсказало ему способ размещения коробок с овощами

при продаже: он артистично устанавливал их в зеленых ящиках.

На первых порах он решил заняться изучением лесоводства. Он, бывало, говорил мне о своих мечтах жить на открытом склоне большого холма, чтобы море зеленых вершин деревьев простиралось внизу. Но пока он успешно сдавал вступительные экзамены в колледж штата Пенсильвания, он узнал, что курс наук по лесоводству требует четырех лет обучения, тогда как там же за два года можно окончить отличный двухгодичный агрономический курс. К тому же, начиная ощущать, что ему хочется жить не вдали, а среди людей, он решил стать агрономом. В это время интенсивно развивался его интерес к экономике и политике, и, пока он находился в колледже, он постоянно переписывался со мной, чтобы знать последние новости о социалистическом движении. Мы всегда были близки друг к другу, и неважно, сколько месяцев или лет мы бывали в разлуке, мы могли всегда начать с того, на чем остановились при расставании.

Гарольд работал на своей ферме в течение лета, чтобы подзаработать на расходы, необходимые во время учебы в колледже. Закончив курс наук в двадцать один год, он вернулся назад в Арден на ферму и перешел на выращивание грибов. Он начал с маленькой теплицы и часто оставался там на всю ночь, чтобы поддержать огонь в работающей на мазуте котельной для сохранения температуры в теплице на должном уровне. Когда грибное дело пошло в гору, он нанял в помощь себе Тони, итальянского парня. Затем купил фруктовый сад. Чем бы Гарольд ни занимался, он всегда стремился создать что-то еще большее.

«Мне всегда хочется посмотреть, а что там за горизонтом, мама», — бывало, говорил он. Вскоре Арден стал для него тесен, и он решил заняться работой среди фермеров, агитируя их за социализм. Однако он чувствовал и понимал, что ему вначале следует узнать всю подноготную в агрономической технике так, чтобы можно было работать среди фермеров как человек, который понимает их нужды и говорит на их языке.

В это время в сельском хозяйстве Америки наступил новый век — век механизации, и Гарольд понимал, что он должен изучить проблемы крупномасштабного агропромышленного комплекса так же, как проблемы садоводческих хозяйств, прежде чем предложить фермерам решение их проблем. Каждый шаг, который теперь предпринимал Гарольд, был тщательно направлен на выполнение

предстоящей задачи. Он самозабвенно и с пониманием готовил себя к руководству фермерским движением.

Гарольд, зная, что отец отложил на случай своей смерти некую сумму денег для каждого из своих детей, попросил его выдать ему его долю сейчас, в такой момент его жизни, когда она сильно поможет ему. Так вот, мистер Вэр помог ему купить зерна и молочную ферму в Уэсчестерском округе. Там Гарольд, имея большое стадо коров, которых он сам доил, трактор и другие сельскохозяйственные орудия, организовал и управлял самой современной фермой. Одним из первых он привез в эти края бензиновый трактор. Он отремонтировал два старых ручных культиватора, прицепил их к трактору и получил немедленный результат. Соседские фермеры, которые вначале считали, что он слегка чокнутый, вскоре последовали его примеру.

Занимаясь работой на ферме, он никогда не забывал о своей большой цели. Он читал книги по экономике сельского хозяйства и научному землепользованию, изучал труды Маркса и шел постоянно в ногу с последними достижениями в социалистическом движении. Свой первый голос на выборах президента США он отдал за Юджина Дебса. Гарольд всегда проявлял интерес к левому, революционному крылу социалистов, и, когда в США образовалась коммунистическая партия, он стал одним из первых ее членов-основателей. Он пошел в партию прямо с вопросами о сельских рабочих. Однако партия тогда еще не была готова к разработке программы для фермерских рабочих в таком масштабе, о каком он мечтал.

Вскоре после того, как в России произошла революция, Гарольд начал читать все, что он мог достать о русском сельском хозяйстве, ясно осозная, что под управлением социалистического государства фермеры впервые в истории получают возможность найти кардинальное решение своих проблем и что русский опыт окажется крайне важным для нас здесь, в Америке.

Примерно в это самое время Ленин, остро нуждаясь в материалах о фермерских хозяйствах в Америке и не имея возможности найти их, написал в Коммунистическую партию Америки в своей ясной и простой манере, спрашивая, знают ли они что-нибудь о фермерах в Америке?

Когда Гарольда спросили, смог бы он составить нужный отчет, он ответил, что мог бы провести обширное исследование. Поскольку такое было невозможно сделать вследствие отсутствия денег в кассе партии, то Гарольд

сказал: «Дайте мне пять долларов, и я пройду по всей стране».

Он понял, что настало время для него заняться непосредственно партийной работой. Он сам был фермером, и неплохим. Он знал их проблемы со всех точек зрения, потому что война привела его к краю банкротства. Что теперь ему было нужно, так это пополнить свой багаж, а именно это предполагало наметившееся обширное исследование. Он забросил свою ферму и переехал со своей семьей в Нью-Йорк, чтобы ознакомиться с общепартийными задачами.

Затем, в коричневом комбинезоне, с зубной щеткой и пятью долларами в кармане Гарольд отправился в шестимесячное турне по стране, изучая миграцию сельских рабочих-батраков, заделавшись одним из них. Он двигался вслед за сбором урожая с Юга до Среднего Запада, затем на северо-восток и опять назад, через пшеничные поля Миннесоты и Висконсина. Всю дорогу он странствовал как сезонный рабочий, работая, где можно; шатался без дела там, где нельзя было найти работу; острый взгляд и слух поглощали информацию.

Это турне было полно различных приключений, и Гарольд приобрел много опыта и знаний. Как-то раз из-за своей неопытности он не удосужился закрыть свою голову, проезжая сквозь снежный туннель в горах Северо-Востока на крыше товарного вагона. Угарный дым лишил его сознания, и только чудом один из его приятелей, почувствовав, как паходившийся без сознания Гарольд начал скатываться с крыши вагона, протянул руку и успел схватить его, прежде чем он свалился с крыши. Он уснул, а когда проснулся, то вокруг было темно, как в аду, где черти забыли разжечь свои котлы.

Однажды в горах он искал дорогу, чтобы спуститься вниз, когда услышал, как кто-то кричит от боли. Он двинулся на звук и наткнулся на тропинку, которая привела его к одиноко стоящему лесному домику. Он застыл от ужаса, услышав там неистовые крики. Не имея с собой никакого оружия, кроме палки, которую он подобрал, он, крича воображаемому товарищу: «Бадди, подожди-ка минутку, я сейчас!», вошел в избу и окликнул, но ответом ему был лишь стон. В задней комнате при лунном свете он увидел какую-то женщину, которая корчилась от боли на кровати.

Гарольду потребовалось некоторое время, чтобы найти лампу и спички, и тут немислимо тяжелая ситуация по-

трясла его. Перед ним лежала молоденькая девушка, у которой начались роды. Гарольд не растерялся. Он быстро разжег огонь и поставил греть воду, а сам тем временем восстанавливал в памяти каждую деталь сцены, которую он наблюдал во время родов одного из своих собственных детей. Он дезинфицировал ножницы, принял ребенка, перерезал пуповину, повернул ребенка вниз головой, шлепнул его разок по заднице, как, он видел, делал доктор, и вздохнул с облегчением, когда раздался отчаянный детский плач. Он тут же запеленал ребенка в одеяло и вручил его матери. Роженица счастливо улыбнулась:

— Ах, доктор, какое счастье, что вы прибыли вовремя! Оказывается, ее муж поехал за доктором, но не рассчитал время родов.

* * *

Когда Гарольд вернулся назад, он подготовил подробный отчет о миграции сельских рабочих, видах земледелия и условиях жизни фермеров Америки вместе с картой, показывающей, как по стране распределяются различные виды ферм, их доходы и тому подобное. Этот отчет и карта были посланы Ленину. Когда я была в Москве в 1921 году, Ленин написал карандашом записку, в которой с похвалой отзывался об этой работе. Эту драгоценную записку уничтожили во время одного случая вместе с остальными моими бумагами.

Следующие четыре месяца Гарольд получил ценный опыт, занимаясь реорганизацией садоводства на крупной механизированной ферме «Лоял-одер оф Мус» в Мусехерте, штат Иллинойс, и проработав некоторое время среди фермеров Северной Дакоты.

Когда он возвратился в Нью-Йорк, его вызвали в партийный комитет, чтобы посоветоваться относительно поставок зерна в фонд помощи голодающим России. По инициативе Общества друзей Советской России был образован Американский федеративный комитет помощи голодающим России. В США было собрано 75 тысяч долларов, с помощью которых предполагалось закупить необходимые для России продукты питания. Гарольд смотрел на проблему голода с более дальним прицелом, чем помощь сегодня. Он сказал: а почему бы не купить на эти деньги трактора и семена и не вырастить хлеб прямо на месте, в России, и одновременно помочь правительственной программе Советов научить русских крестьян современным методам зем-

леделия, которые предотвратят в дальнейшем повторение голода?

Идея была одобрена. Требовались практики-фермеры в качестве учителей, так что Гарольд отправился в Северную Дакоту и набрал там девять рослых и крепких истовых хлебопашцев. Они забросили свои плуги и бороны, чтобы поехать не ради денег (им оплачивались только дорожные расходы), а из-за понимания, что это было лучше, чем то, что они могли бы сделать для России, оставаясь на своих фермах в Северной Дакоте. Гарольд к тому же нарочно преувеличил трудности, чтобы их предприятие выглядело вроде какого-то славного подвига, каковым оно и оказалось на самом деле.

Потом Гарольд собрал двадцать вагонов самых современных сельхозмашин Америки, груз семян канадской ржи, два легковых автомобиля, палатки и оборудование к ним для своих парней.

Гарольд хотел отправиться со своими тракторами в большие степные районы Саратовщины или Тамбовщины, но тогда в Советской России трактора были мало известны, и к тому же кое-кто из Наркомата земледелия, не понимая важности этой работы так, как это понимал Ленин, направил его отряд в сильно пересеченную холмами местность под Пермью. Как Гарольд узнал впоследствии, тут оказалось больше, чем просто невежество. Уже тогда вредители действовали, стараясь помешать строительству социализма. Однако Гарольд не был обескуражен. Его отряд вместе с сельхозмашинами и тракторами сгрузился на ближайшей к месту назначения железнодорожной станции, в шестидесяти милях от хозяйства. Дороги были ужасные, масса мостов нуждалась в ремонте или требовалось построить заново, прежде чем Гарольд со своими людьми смогли доставить трактора на место назначения. Крестьяне на всем пути следования открещивались, когда «эти чертовы машины» появлялись, женщины и дети с криком разбегались в стороны, а попы очерчивали вокруг них магические круги, провозглашая, что применение тракторов идет против воли божьей. Однако американцы терпеливо через переводчиков объясняли суть их миссии, и вскоре толпы крестьян вышли строить мосты, чтобы дать возможность тракторам проехать, а деревенские парни усаживались за руль трактора, проявляя быстроту смекалки при обучении управлять ими.

Наконец эта странная процессия прибыла в совхоз «Тойкино», где Гарольд и его бригада должны были рабо-

тать на весеннем севе. Из окружающих деревень Гарольд набрал себе большинство рабочих, и через несколько недель сорок молодых крестьянских парней уже самостоятельно водили трактора по семь часов в смену, тогда как американские рабочие учили их и присматривали за их работой по четырнадцать часов в сутки. Работа тракторного отряда имела двойную задачу: произвести как можно больше зерна на месте и привлечь крестьян к новым методам земледелия.

За многие мили приходили крестьяне с просьбой послать трактор к ним, чтобы помочь вспахать землю. (Колчаковская армия и голод начисто уничтожили всех лошадей в этом уезде.) Гарольд, увлеченный возможностью показать трактор в работе, бывало, брал свой трактор и вспахивал узенькую полоску земли крестьянина до ее конца, а затем останавливался, слезал с трактора и всем своим безнадежным видом показывал, что он не может развернуть машину на таком узком участке. «Эти новые машины слишком велики для ваших маленьких участков, — говорил он. — Я думаю, это просто не их дело».

Однако крестьянин видел длинную борозду коричневой земли, перевернутой так быстро сверкающими лемехами. Никакой волочимый лошадей плуг не мог вспахать так глубоко. Тогда крестьяне собирались в кучки и говорили: «Почему бы нам не собрать наши полоски вместе в одно большое поле и тогда трактор смог бы развернуться вокруг и вспахать их все в один присест?»

И для тысяч крестьян Пермской губернии это лето явилось началом поворота к новому, коллективному хозяйству. Среди местных властей были бюрократы и вредители, которые не хотели, чтобы новое дело успешно процветало, и они посылали жалобы в Москву. Переводчик, один из троцкистских прихвостней, пробовал посеять раздор и подозрения среди американских рабочих и сельских жителей. Гарольд обнаружил, что тот умышленно искажал и неправильно переводил его распоряжения и требования, и потому крайне необходимые грузы (бензин и смазочные вещества) не поступали к ним вовремя. Ленин, с которым Гарольд еще не был знаком, послал в совхоз своего следователя, который потом доложил, что американцы делают именно то, что точно соответствует программе большевиков о преобразовании мелкого примитивного малопроизводительного единоличного хозяйства прошлого в коллективное современное хозяйство. Ленин дал указание, чтобы американскому тракторному отряду была оказана макси-

мальная поддержка. В Москве газета «Правда» 24 октября 1922 года опубликовала письмо Ленина, адресованное Обществу друзей Советской России (в Америке), в котором Ленин, в частности, писал следующее:

«Несмотря на гигантские трудности и в особенности ввиду крайней удаленности от центра указанного места работы, а также разорения Колчаком во время гражданской войны, вы достигли успехов, которые следует признать исключительными.

Спешу выразить вам свою глубокую признательность, с просьбой опубликовать в органе вашего Общества, а также, если возможно, и в общей прессе Северо-Американских Соединенных Штатов...

Еще раз выражаю вам от имени нашей Республики глубокую благодарность и прошу иметь в виду, что ни один вид помощи не является для нас столь своевременным и столь важным, как оказанный вами»¹.

* * *

К зиме Гарольд решил, что работа, ради которой они приехали сюда, закончена. Они собрали большой урожай, вспахали до 1500 десятин, из которых около 1000 десятин было засеяно озимым хлебом, научили десятки молодых русских парней работать на тракторе и поставили крестьян Пермской губернии на путь коллективизации сельского хозяйства, которая должна была обеспечить разрешение проблем сельского хозяйства в России. Итак, они подарили свои трактора и остальные сельхозмашины совхозу, оставили одного отличного фермера из Северной Дакоты, Отто Анстрома, помочь присмотреть зимой за машинами и передать дополнительно имеющиеся у него знания и опыт русским крестьянам.

Отто прожил всю зиму с крестьянами и рассказал мне впоследствии, что это были одни из счастливейших дней в его жизни. Я была в Москве, когда остальные американские фермеры собрались назад на родину. Весь город пришел провожать их. Когда я спросила, как им понравилась работа в России, они ответили, что намного лучше работать для этой чудесной, растущей молодой Страны Советов, чем в качестве бедных, быстро разоряющихся фермеров у себя на родине, в Северной Дакоте, и заниматься сельским хозяйством в загнивающем государстве,

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 229.

не имеющем каких-то конкретных планов борьбы с засухой.

Насколько Гарольд мысленно представлял себе, нужно было создать постоянно действующее показательное хозяйство с училищем, где можно было бы демонстрировать крупномасштабное сельскохозяйственное производство, наилучшим образом приспособленное к российским условиям. Такое хозяйство могла бы начать группа американских специалистов, занимаясь одновременно обучением русского персонала. Гарольд понимал, что будущее советской агрокультуры лежит в механизированном кооперативном производстве. Поскольку это предполагало невообразимо большой рынок сбыта американской сельхозтехники, то первым шагом Гарольда было заставить американские компании предоставить России машины в кредит и, кроме того, послать своих квалифицированных специалистов работать на этих машинах для того, чтобы показать возможности машин. Советское правительство охотно предложило свое сотрудничество. Гарольд уехал назад в США, чтобы переговорить с концернами, занимающимися выпуском сельхозтехники. Ему удалось заинтересовать часть крупных фирм своим предложением. Но когда речь зашла насчет финансирования, то самые крупные лидеры в руководстве этими компаниями отказали в кредите. Отсутствие дипломатических и нормальных торговых отношений между двумя странами порождало страх вложить сколь-либо существенное количество денег в план Гарольда. Даже его настойчивость, его настырность не могли преодолеть годы злобной пропаганды и росказней о непрочности советского режима.

Одним из основных поручений в эту его поездку назад в Америку у Гарольда было доставить письмо Ленина и его фотографию с личным автографом Чарлзу Штейнмецу¹.

16 февраля 1922 года Штейнмец написал Ленину письмо, в котором высказал свой интерес к планам молодой Советской республики, и предложил свою помощь информацией и советом. Штейнмец, как социалист-ветеран, был сильно увлечен наступлением нового социалистического порядка в России. Как ученый, он был еще более увлечен огромными перспективами, открывшимися благодаря

¹ Чарлз Штейнмец — известный американский электротехник (1865—1923). Основные труды Штейнмеца посвящены исследованию процессов в электрических машинах и аппаратах. Он проектировал большинство крупных электрических машин и аппаратов, изготовлявшихся компанией «Дженерал электрик». (Прим. переводчика.)

ленинской дерзкой и предусмотрительной программе электрификации всей страны, первыми великими планами Советов, которые закладывали основу для полного преобразования государства из отсталой аграрной страны в современную передовую индустриальную державу.

Ленин ему тотчас ответил:

«Дорогой мистер Штейнмец!

Душевно благодарю Вас за Ваше дружественное письмо от 16.II. 1922 г. Я должен признаться, к стыду моему, что первый раз услышал Ваше имя всего только немного месяцев тому назад от товарища Кржижановского, который был председателем нашей «Государственной комиссии по выработке плана электрификации России» и состоит теперь председателем «Государственной общеплановой комиссии». Он рассказал мне о выдающемся положении, которое Вы заняли среди электротехников всего мира.

Товарищ Мартенс познакомил меня теперь больше с Вами своими рассказами о Вас. Я увидел из этих рассказов, что Вас привели к сочувствию Советской России, с одной стороны, Ваши социально-политические воззрения. С другой стороны, Вы, как представитель электротехники и притом в одной из передовых по развитию техники стран, убедились в необходимости и неизбежности замены капитализма новым общественным строем, который установит планомерное регулирование хозяйства и обеспечит благосостояние всей народной массы на основе электрификации целых стран. Во всех странах мира растет — медленнее, чем того следует желать, но неудержимо и неуклонно растет — число представителей науки, техники, искусства, которые убеждаются в необходимости замены капитализма иным общественно-экономическим строем и которых «страшные трудности» («terrible difficulties») борьбы Советской России против всего капиталистического мира не отталкивают, не отпугивают, а, напротив, приводят к сознанию неизбежности борьбы и необходимости принять в ней посильное участие, помогая новому осилить старое.

В особенности хочется мне поблагодарить Вас за Ваше предложение помочь России советом, указаниями и т. д. Так как отсутствие официальных и законно признанных отношений между Советской Россией и Соединенными Штатами крайне затрудняет и для нас и для вас практическое осуществление Вашего предложения, то я позволяю себе опубликовать и Ваше письмо и мой ответ, в надежде,

что тогда многие лица, живущие в Америке и странах, связанных торговыми договорами и с Соединенными Штатами и с Россией, помогут Вам (информацией, переводами с русского на английский и т. п.) осуществить Ваше намерение помочь Советской республике.

С наилучшим приветом
братски Ваш Ленин¹!

Это письмо не дошло до Штейнмеца до тех пор, пока Гарольд не привез оригинальную копию по своему возвращению в Соединенные Штаты Америки в конце 1922 года. Гарольд совершил специальную поездку в Скенектади, чтобы вручить это письмо и фотографию доктору Штейнмецу.

В дверях кабинета Штейнмеца его встретил личный секретарь последнего со словами:

— Сегодня доктор Штейнмец никого не принимает, он совещается со всеми вице-президентами компании.

Гарольд очень спокойно сказал:

— Пожалуйста, передайте вот эту записку доктору Штейнмецу — это очень важно.

И, вырвав из блокнота лист бумаги, он написал:

«Я только что вернулся из Москвы с личным письмом от Ленина. Я буду ждать, пока вы не освободитесь».

Через пять секунд дверь рывком распахнулась, и сам доктор Штейнмец выбежал, размахивая руками и крича:

— Заходите, заходите!..

Он протолкнул Гарольда в свой кабинет, приказав своему удивленному секретарю через плечо:

— Никого не впускать!

Он засыпал Гарольда градом вопросов о Ленине, об образовании, о науке, о программе электрификации, о сельском хозяйстве, о создании промышленности. Время летело, и один за другим вице-президенты открывали дверь и украдкой заглядывали в кабинет.

— Закройте дверь! — рычал на них Штейнмец и продолжал задавать вопросы и взволнованно слушать то, что рассказывал ему Гарольд. Наконец доктор сказал:

— Молодой человек, вы понимаете, что Россия делает? За такое короткое время они разработали четкий план электрификации всей страны. Нигде еще нет ничего подо-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 147—148.

бного. Удивительно, что большевики это сделали. Я отдал бы все, чтобы поехать туда лично и работать вместе с ними.

Он написал письмо Ленину, чтобы Гарольд захватил его с собой, когда поедет в Россию следующий раз, и лично передал Ленину. Чарлз Штейнмец намеревался принять предложение Ленина побывать в России в качестве консультанта. Однако трудности, вызванные отсутствием нормальных отношений между нашими странами, помешали ему сделать достаточно быстро необходимые подготовительные мероприятия, как он надеялся, а через год он умер. Мне всегда кажется ужасным, что встреча Ленина и Штейнмеца не смогла произойти.

* * *

Когда Гарольд нашел, что он не сможет реализовать свой план через компании, занимающиеся выпуском сельхозмашин, он начал искать другие возможности, ибо носил в себе не только безграничную энергию своих предков — пионеров Запада, но неукротимую волю, которая отказывалась признать поражение. Убежденный, что можно собрать достаточно денег от частных лиц для финансирования своего плана, он совершил повторно краткую поездку в Москву, вооруженный новыми предложениями (которые Советское правительство одобрило), предлагая создать смешанную Русско-Американскую компанию и передать ей огромную площадь земли.

Следующие два года Гарольд затратил на осуществление своего проекта здесь, в Америке, собирая деньги, навещая компании по производству сельхозмашин, изучая и отбирая наиболее надежные образцы их продукции, для показа в России, и подбирая группу специалистов, способных руководить всеми стадиями сельскохозяйственного производства и готовых порвать навсегда с Америкой и забрать с собой семьи в Россию. Насколько Гарольд понимал, предстояла работа на долгие годы, чтобы задуманное предприятие оказалось успешным.

Организованная Гарольдом компания «Рашн риконстракшн фармс» собрала группу из двадцати пяти специалистов-американцев: фермеров, механиков, техников и воспитателей. Она сумела собрать наличными и в кредит необходимые 150 тысяч долларов. Советское правительство передало компании 15 432 акра сельских угодий на Северном Кавказе с хорошей пахотной землей, жилыми домами,

зданиями и сооружениями, мельницей, скотом — и ничтожно малым количеством сельхозмашин.

Гарольд, как и другие американцы, привез с собой семью, и они взялись за дело. Американцы и русские работали вместе.

Этот совхоз ввел у себя лучшие образцы тогдашней сельхозтехники, заставляя крестьян в этом районе осознать пользу применения машин, разрабатывая эффективные методы земледелия на больших земельных массивах. Благодаря применению современных методов агротехники (ранней и глубокой вспашки) Гарольд со своими людьми сумел, несмотря на необычно жаркое и засушливое лето и губительное действие саранчи, получить урожай на одну треть выше, чем когда-либо получали в этом районе. Они испытали различные типы тракторов и показали, что обычный легкий трактор «фордзон» не подходит для русских степей, которым требуются более мощные и более прочные машины. Они ввели в действие первый комбайн (сборщик урожая) в России. Они показали, как можно работать на полях в три смены, чтобы во время страды не пропадала даже ночь; они запустили на поле динамо-машину для освещения полей в ту пору, когда даже час спасает урожай от потерь. Они ввели в употребление «дома на колесах» и современную полевую кухню, чтобы рабочие могли жить с удобствами на полях во время страды. Они построили хорошо оборудованную центральную ремонтную мастерскую, организовали выездные бригады ремонтников и научили своих трактористов не только водить машины, но и держать их в хорошем состоянии.

За работой американцев внимательно следили из Москвы, и Гарольд был вызван в столицу, чтобы помочь разработать генеральный план механизации сельского хозяйства в России. В качестве консультанта и специалиста Гарольд помогал создать сеть научно управляемых государственных совхозов по всей стране.

Когда встал вопрос о подготовке директоров для совхозов, Гарольд советовал: чем посылать людей в Америку для учебы крупномасштабным промышленным методам сельскохозяйственного производства в совершенно отличных условиях по сравнению с теми, в которых им придется потом работать, лучше привезти сюда американских специалистов и учить советских агрономов на их собственной земле. План этот был одобрен и принят.

Гарольд был откомандирован в Америку отобрать таких специалистов и прочесать все Соединенные Штаты

вдоль и поперек в поисках лучших образцов тракторов и полного комплекта всех современных сельхозмашин и общего оборудования. По его возвращении в Советский Союз после года пребывания в Америке был устроен зерноград — крупнейший государственный совхоз на станции Верблюды вблизи Ростова-на-Дону, ставший учебно-экспериментальным показательным зерносовхозом № 2. Гарольда сделали заместителем директора и начальником производства, а других американских специалистов — инструкторами в различных отделах, чтобы консультировать и учить русский персонал. Этот крупный показательный совхоз и сельскохозяйственное училище явились важным фактором в развитии существующей сейчас в Советском Союзе системы советских и коллективных хозяйств. Именно в зернограде Гарольд впервые показал преимущества больших гусеничных тракторов перед всеми другими в русских условиях, и на сегодня основную массу производимых Советами тракторов составляет этот тип машин. Все американские образцы сельхозмашин, импортированных для работы на полях, теперь производятся на советских заводах, причем во многих случаях американские модели существенно усовершенствованы и улучшены. Зерноград сегодня буйно растущий земледельческий город.

Когда зерноград прочно стал на ноги, Гарольда начали командировывать в различные совхозы страны, чтобы собрать данные и составить доклад о их положении. Он много ездил, особенно в Казахстан, где прямо на месте давал советы и консультации, как надо работать, а впоследствии представил полный отчет и свои рекомендации по улучшению работы совхозов.

Во время моего последнего посещения Страны Советов в 1937 году я побывала в этом крупном образцово-показательном совхозе и в училище на станции Верблюды. Вместе с нами поехала группа американских и английских делегатов, приехавших на празднование двадцатой годовщины Великой Октябрьской революции, и группа руководящих лиц из областного центра Ростова-на-Дону.

Мы длинной кавалькадой отправились на автомашинах в совхоз, но по пути нас встретила другая группа автомашин, на которых нам навстречу ехали руководители совхоза. На станции Верблюды нас первым долгом повели в контору, где директор совхоза и секретарь партийной организации ожидали нас. Они произнесли приветственные речи. Наша группа попросила меня ответить им от имени американцев. И вот тут я рассказала историю, которую вы про-

чили выше о первом паломничестве моего сына в Россию, паломничестве, которое закончилось созданием этого совхоза. Затем я вручила им фотографию Гарольда, которую они повесили в Ленинском уголке, самом почетном месте в любом советском учреждении.

Когда мы покинули контору, большая группа юношей и девушек прибежала за мной из местного большого сельскохозяйственного института. Они сказали, что многочисленная публика ожидает меня в актовом зале. Повсюду распространилась весть, что приехала мать Гарольда Вэра. Все студенты знали его имя по стипендиям его имени, которые были учреждены здесь в память о нем, и они оказали мне самый радушный прием.

* * *

Десять лет жизни отдал Гарольд Вэр работе в Советской России. Когда стало ясно, что дело механизации сельского хозяйства в СССР победило и что русские фермеры, уже коллективизированные, больше не нуждаются в его помощи, как в этом нуждались американские фермеры, он вернулся на родину, чтобы заниматься партийной работой по аграрному вопросу...

Уолтер ДЮРАНТИ

Уолтер Дюранти (1884—1957) — известный журналист и писатель. С 1913 по 1941 год был иностранным корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс» в Москве. Из Риги он писал враждебные корреспонденции о русской революции, но с тех пор, как он стал писать в 1921 году непосредственно из Москвы, он начал разбираться в событиях и весь тон его сообщений коренным образом переменялся. В 1932 году за серию статей о Советском Союзе он получил премию Пулитцера. Приводимый ниже отрывок взят из книги «Репортажи Дюранти о России», составленной Густавусом Таккерманом из статей и сообщений Дюранти и опубликованной в 1934 году издательством «Викинг Пресс».

Репортаж о Ленине

(Опубликовано в 1934 и 1970 гг.)

Москва, 15 октября 1922 года.

— Ленин не только вышел на работу, он в прекрасном состоянии. Я наблюдал его сегодня около часа, и если он болен, то я здорового человека в жизни не видел, — сказал Оскар Цезарь, американский художник, которому удалось добиться разрешения находиться в кабинете Ленина, честь, в которой «интервьюерам» отказывали безапелляционно.

Цезарю разрешили сделать зарисовки советского вождя для «Нью-Йорк таймс» при условии, что он не помещает Ленину работать.

Рассказывая об этом событии, Цезарь сказал:

«В жизни не видел никого, кто бы работал с таким удовольствием. Мне все время приходило на ум сравнение с человеком, которому врачи долгое время запрещали есть любимое блюдо, а когда наконец разрешили, он на него так накинулся, будто год голодал...»

Ленин встал и поздоровался со своим гостем, крепко пожав ему руку. Фигура у него была коренастая, подтянутая, и, хотя в волосах было больше седины, чем в рыжих щетинистых усах и короткой бородке, глаза смотрели ясно и живо, а цвет лица был здоровый. Комната была оклеена голубыми обоями спокойного тона, гармонизированными с толстым голубым ковром. Дверь, обитая войлоком, на хорошо смазанных петлях, бесшумно закрылась за Цезарем, и он оказался в тихой комнате, без украшений и картин на стене, кроме двух фотографий, по-видимому сделанных на каком-то собрании.

«Ленин близко подошел ко мне со своей необыкновенной обаятельной улыбкой», — рассказывал Цезарь.

«Садитесь, где хотите, и почувствуйте себя как дома, — сказал он. — Простите меня, что я буду работать, вам не надо, чтобы я вам позировал?»

«Ни чуточки, — отвстил я, — работайте, как будто меня здесь нет, мне сказали, что я могу пробыть тут десять минут».

«Десять, двадцать, сколько хотите», — ответил Ленин. (Сказать по правде, я пробыл 45 и ушел по собственной инициативе.)

Некоторое время он сидел согнувшись в кресле и читал какую-то русскую газету так сосредоточенно, будто хотел прожечь ее взглядом. С начала до конца он был поглощен работой и, казалось, абсолютно не помнил о моем присутствии. Но конечно, это не совсем так. Спустя некоторое время он отложил газету и звонком вызвал секретаршу. Он попросил ее принести какие-то документы. Ожидая их, он улыбнулся мне и спросил, как мне понравилась Москва. Я ответил, что поражен порядком в городе, веселыми лицами людей и оживленными ремонтными работами.

«Давно здесь?» — спросил он.

«Два месяца», — ответил я.

«А, два месяца? Хорошо! И понравилось? Чудесно».

Я воспользовался случаем и сказал, как велик к нему интерес в Америке, добавив: «Вас там так же хорошо знают, как президента Гардинга. Даже те, кто с вами не согласен, признают, что вы большой человек».

Ленин снова улыбнулся своей открытой обаятельной улыбкой. «Я не большой человек, — сказал он, ткнув себя в грудь. — Я только маленький человек». И он снова подошел ко мне с невыразимо дружеским выражением.

В этот момент он необыкновенно напомнил мне Теодора Рузвельта — та же притягательная сила, та же, почти детская, откровенность и дружелюбие. Он казался куда проще Ллойд Джорджа. Когда я того рисовал в Генуе, он говорил очень умно, сыпал эпиграммами, как будто хотел произвести большое впечатление. Никто с Лениным не сравнится... И он не так холоден, как Пуанкаре. Пуанкаре произвел на меня впечатление человека, который за ночь все тщательно и логически продумал. А Ленин человеческий и живой. Хотя по-английски он говорит не абсолютно совершенно, он так реагировал на все, что я говорил, что казалось, будто он схватывает смысл моих слов, не успеют они изо рта выйти.

Секретарша внесла бумаги, и в тот же миг я перестал для Ленина существовать. Он погрузился в чтение отпечатанных на машинке страниц, затем пробормотал имена, фамилии нескольких своих главных подчиненных. Все еще шепча, он схватил телефонную книжку, пролистал, повторяя номер, как будто я уже был за тысячи миль. Он набрал цифры на автоматическом диске и соединился. Во всех его действиях не было никакой нервозности, лишь быстрые, энергичные, сосредоточенные движения, напоминавшие мне виденные мною фильмы, обучавшие, как избегать лишних движений при работе на машине.

Говоря по телефону, Ленин был абсолютно поглощен разговором — складывалось впечатление, будто он говорит с подчиненными с глазу на глаз, даже естественно и инстинктивно жестикулировал свободной рукой.

Наконец я сказал ему, что сделал достаточное количество эскизов, и добавил, что отпечатки с литографий отдам на продажу в Америке в фонд помощи голодающим русским детям. В первое мгновение Ленин не понял, что я сказал, и я объяснил. «Хорошо,— сказал он,— хорошо, я понял». Я что-то пробормотал о политических взглядах в Америке. «Да,— ответил он.— Я как раз вот это читаю. И он протянул книгу Петтигру «Демократия плутократов» в красном переплете.— Очень хорошая книга.— И глаза его заблестели, когда он на нее взглянул. У меня сложилось впечатление, что сама политическая система в Америке не так его восхищала, как книга».

Израиль АМТЕР

Израиль Амтер — американский журналист, коммунист, неоднократно бывал в СССР. Долгие годы работал корреспондентом газеты Коммунистической партии США «Дейли Уоркер».

Когда хоронили Ленина

(Опубликовано 19 января 1925 года)

Было воскресенье, 28 января 1924 года. В Москве стоял трескучий мороз. Рабочие и крестьяне миллионами стекались в Москву, чтобы отдать последний долг и дань уважения и любви своему великому вождю.

Всю ночь шли они через Дом Союзов, чтобы последний раз взглянуть на Ленина. А очередь за Домом Союзов не убывала. В зале тишина, только слышны звуки оркестра, играющего похоронный марш. Тишина. Великий человек лежит, окруженный почетным караулом и караулом красноармейцев. У гроба все время Крупская и сестра Ленииа Мария.

В шесть утра Дом Союзов закрыли. Пришло время класть Ленина в Мавзолей на Красной площади, где лежат герои революции, где похоронен Джон Рид, где лежит Воровский. На той самой Красной площади, где он выступал перед миллионами рабочих, перед Кремлевской стеной, за которой когда-то жили цари.

В шесть утра еще раз прозвучал похоронный марш, затем траурный марш из Героической симфонии Бетховена, а за ним «Смерть Зигфрида». И затем, как взрыв, со всей сокрушающей мощью пролетарского гимна, со всем собранным воедино энтузиазмом победившей пролетарской революции прозвучал «Интернационал». «Интернационал», подымающий на борьбу рабочих всех стран, «Интернационал», знаменующий не траур, а воспевающий победу, «Интернационал», сеющий страх в душе буржуазии, «Интернационал», объединяющий фаланги пролетариев на борьбу и в борьбе за достижение своей цели!

Ленина понесли к Мавзолею на Красную площадь под звуки похоронного марша.

Солнце только показалось. Над городом висел густой туман. Справа на площади Кремль, где над зданием ВЦИК развевается Красное знамя...

На площади выстроены красноармейцы, которые в этот страшный мороз греются у костров. Все погружено в густой туман, сгущающийся еще сильнее от дыма костров... Все улицы далеко от площади запружены рабочими с московских заводов и фабрик, пришедшими издалека крестьянами, делегатами из самых отдаленных уголков Страны Советов. Сотни тысяч людей, ждущих своей очереди пройти по площади и возложить к Мавзолею венки.

Гроб с телом Ленина поставили на помост перед Мавзолеем. Затем ясным звонким голосом петроградский рабочий читает прокламацию Всероссийского съезда. Хотя вождь и умер, ленинградские рабочие остаются революционерами и знают, что революция зависит не от одного человека, а от деятельности масс, и этот рабочий — один из них. Его слова, как звук трубы, прорезают туман, дым от костров, которые вспыхивают в тумане языками пламени. В час траура прозвенели эти слова перед запрудившими площадь рабочими и крестьянами.

Сотни тысяч рабочих и крестьян, собравшихся еще до рассвета, чтобы пройти по площади, двинулись. Они шли стройными рядами с флагами и знаменами, задрапированными черным. Проходя мимо гроба, все делегации опускают флаги. Шесть часов идут они через площадь. У лошадей заиндевела гривы, бороды людей покрыты льдом, и лишь лица выглядывают из-под меховых шапок и из тулупов крестьян. По площади бесконечным потоком идут мужчины, женщины и дети, пока очередь не начинает редеть и по площади не проходят последние рабочие.

Остаются только красноармейцы, защитники Советского государства, охраняющие тело любимого вождя. Они также проходят, оставив караул у Мавзолея Ленина на площади.

В час дня на Кремлевской башне играют «Интернационал». Когда тело Ленина поместили в Мавзолей, зазвучал сначала похоронный марш, а затем «Интернационал». Со-

ветская Россия — рабочие и крестьяне, участники славной революции, а также массы, продолжающие борьбу в капиталистических странах, не должны больше горевать и печалиться. Ленин учил нас, так же как до него Маркс, что революция — это достижение класса. Ленин указал путь в этот период классово́й борьбы. Он сделал свое дело и ушел. Но борьба не кончена. Капиталисты всё еще угнетают рабочих и бедных крестьян. Угнетенные народы колоний, обобранные, ограбленные, поработанные, всё еще гнут спины под железным сапогом империализма. Перед Советской Россией, первой страной, освободившейся от капиталистической тирании, стоят огромные задачи. Она должна указывать путь трудящимся других стран. Она должна всё еще обороняться от старающегося ее уничтожить международного империализма. «Интернационал» — это гимн революции, воли к борьбе, решимости победить. «Интернационал» и Красная Армия — вот два символа, две железные силы, два оплота революционной борьбы.

* * *

Много недель и месяцев шли на Красную площадь рабочие и крестьяне к Мавзолею. Спокойный, со скрещенными руками, лежит он там, и бесчисленные делегации из всех уголков Советского государства едут в Москву, чтобы еще раз взглянуть на него.

Это был человек, тесно связанный с народом. Это был человек, который никогда не уклонялся от ответственности, никогда не колебался, который знал, куда указывает стрелка, и, не отклоняясь, шел по этому пути. Он ушел, но революция продолжается...

Теодор ДРАЙЗЕР

Теодор Драйзер (1871—1945) — известный американский писатель и общественный деятель. В 1945 году вступил в Коммунистическую партию США. Приветствовал Октябрьскую революцию в России, повлиявшую на его творчество и мировоззрение. В 1927 году посетил СССР. Свои впечатления он изложил в книге «Драйзер смотрит на Россию» (1928), фрагменты из которой, а также из дневников 1927 года публикуются ниже.

Драйзер смотрит на Россию (Глава «Что я видел и испытал»)

Теперь, когда я подхожу к концу этой книги, разрешите мне поговорить о том о сем без всякого плана. В России я понял то, о чем и помыслить не мог в Америке, а именно: думать, что истинное достоинство человека может порождаться материальной собственностью, значит ошибаться. Ничего подобного. Истинное достоинство человека лежит в сфере духовной, это его мысли и их значение для мира, а истинная сила — это нечто, рожденное мыслью, которая может найти и находит отклик в умах всех людей, которая вдохновляет всех. Я, разумеется, хорошо знаю, что ум и способность мыслить, особенно выдающиеся, встречаются не так уж часто, но когда они встречаются, их воздействие на массы просто невероятно, поэтому их надо приветствовать и беречь. И вот в России это ощущаешь очень ясно.

В России я также почувствовал, что может существовать правительство, которое мыслит, которое к чему-то стремится. А как это важно, чтобы правительство думало, чтобы оно имело программу! Есть такое правительство у нас? Когда-то я считал, что да, что хотя бы теоретически мы идем к чему-то сознательно, ищем для себя какого-то более высокого духовного и психологического состояния, которое может породить все большую мудрость, все большую интеллектуальность, любознательность, все более интенсивное мышление. Возможно, разумеется, что я сильно ошибаюсь, приписывая своему народу такое стремление творчески мыслить. Порою мне кажется, что я только воображаю то, чего нет и никогда не будет в Америке. Последнее время я все больше склоняюсь к этой точке зре-

ния, ибо мы насквозь материалистичны и поэтому в духовном отношении остаемся подростками.

Но как не похожа на нас Россия! Господи, какое кипение и бурление подлинной, серьезной, щедрой, не ограниченной чисто материальными ценностями, высоко духовной мысли! Представьте себе группу руководителей (мужчин и женщин) — в Центральный Комитет Коммунистической партии входит 167 человек, представляющих каждый уголок и каждый этап этой гигантской страны, — руководителей, которые думают не только об одной России, как мы в Америке думаем только об Америке, но и обо всем мире! Вы можете беседовать с человеком вроде председателя Калинина, крестьянского старосты России — и, возможно, самого ее любящего и внимательного советника, или с любым другим человеком, имеющим отношение к современному коммунистическому руководству России, и вы почувствуете, что говорите не просто с политиком или официальным лицом, который по той или иной причине, связанной с его официальным или политическим положением, должен говорить так, а не иначе (как это скучно и отвратительно бывает в Америке!), но с человеком, который и сердцем и разумом убежден не только в важности, но и в неотложной необходимости всего, что делается, и который говорит без всякого оттенка «узости», не от имени какой-либо конкретной группы, финансовой, политической или общественной, как это бывает в Америке, Англии, Германии и Франции. Короче говоря, вы увидите перед собой человека, который в первую очередь заботится об осуществлении коммунистического идеала не только в России, но и во всем мире...

И еще один факт, которым меня порадовала Россия и который я никогда не забуду: оказалось, что с помощью коммунизма, этой коллективной отеческой заботы о каждом человеке, возможно уничтожить страшное ощущение социальной нищеты, которое так угнетало меня всю мою жизнь в Америке...

В России — другая картина: в общем тоне городов и поселков чувствуется нечто, прежде неведомое нигде в мире. Где богачи? Их нет. А где униженные, замученные бедняки? Они тоже исчезли. Сколько бы вы ни ходили по улицам любого русского города — Одессы, Ленинграда, Перми, Баку, Киева, Новосибирска, — вы не почувствуете той разницы между жизненным уровнем различных классов, которая так мучила вас в детстве. Это невозможно. Вы понимаете всю важность таких слов? Это попросту

невозможно! Правда, вы видите прекрасные дома, построенные людьми, которые до войны были полны гордости и надменности не меньше любых других богачей мира и владели миллионами, когда у крестьян и рабочих не было ничего. А что же теперь? Где все эти люди? И кто живет в их дворцах? Вот этот дворец стал школой, тот — больницей, тот — учреждением, тот — библиотекой, тот — рабочим клубом, тот — санаторием, домом отдыха, родильным домом, детским садом, ремесленным или художественным училищем такого-то и такого-то профсоюза. Нигде по всей стране не найти дома, претендующего на роскошь, который не был бы поглощен системой общего социального обеспечения...

И пусть прохожие на улицах скучны, если вам так кажется. И пусть они не слишком хорошо одеты. И пусть у них мало денег — да, у большинства их, конечно, очень мало, но где же подлинная нужда? Что случилось с прежней вопиющей нищетой бедняков, которая чувствовалась особенно остро по контрасту с блеском, тщеславием и роскошью бессмысленного богатства? Ее не существует. Вы не ощущаете здесь присутствия нужды, так же как не ощущаете и присутствия роскоши — потому что их нет. Разумеется, существует, как и везде, разница в умственных способностях. Существуют также профессиональные или официальные различия в том смысле, что один человек может занимать более ответственный пост, чем другой, и поэтому считается в данное время более нужным или даже попросту необходимым. Но нет и следа мишуры и показного блеска, нет социальных изгоев, голодных, безнадежно взирающих на богатство, на тех, кто случайно или благодаря волчьей хватке вышел победителем в зверски беспощадной классовой борьбе...

И еще одному научил меня большевистский режим, а именно, что человек, обладающий большими способностями, не должен быть о себе слишком высокого мнения. Ведь в наши дни есть много людей — очень много, — которые могут хорошо работать, если на них оказать достаточное давление. И не только это. Если нет нужного человека, его с успехом может заменить коллективная работа десяти или двадцати человек. И еще — что «священная» сущность частной собственности исчезла, потому что собственность уничтожена. Человека в России учат, что ему в жизни требуется очень немного — даже самому выдающемуся человеку — и что он не должен гордиться своей силой и достижениями или использовать их для угнетения других

людей. Он может использовать свои способности для общего блага — и никак иначе.

Теодор Рузвельт не раз повторял, что нам в Америке, возможно, придется наложить цепи на хитрость, как мы наложили их на алчность. Насколько я мог заметить, мы не слишком-то заковали в кандалы алчность. А уж хитрости, во всяком случае, предоставлена полная свобода. Но сама по себе эта мысль неплоха, и в России уже создали систему, с помощью которой можно обуздать и то и другое, и теперь ее совершенствуют. Конечно, самым большим камнем преткновения на пути этого величайшего и новейшего эксперимента в области государственного строительства является сам человек, его извечные черты вроде жадности, жестокости, тщеславия и многого другого. Но на это философы и теоретики коммунизма невозмутимо отвечают, что все эти скверные черты со временем удастся путем воспитания изгнать из детей, а следовательно, из всего рода человеческого...

Однако не подумайте, что в России уже исчезли алчные и хитрые люди и связанные с ними всевозможные разновидности взяточничества и обмана. Как раз сейчас газеты публикуют материалы о разоблачении одного такого случая в Ташкенте и другого — на шахте Кузбасса. Но при всем при том я не понимаю, каким образом подобным мошенникам удастся действовать где-либо, кроме этих гигантских предприятий. Ибо проверки многочисленны, а наказания строги... Возможно, кому-нибудь и удастся раздобыть и скрыть какие-то капиталы, но если его расходы будут чрезмерными или хотя бы заметными, он сразу себя выдаст. Собственно говоря, единственный способ выдвинуться лежит в личном интеллектуальном или культурном развитии, накоплении знаний и использовании всего этого на благо России.

Весьма возможно, что, как только русские снабдят себя материальными благами и даже кое-какой роскошью (тем, что у нас в Америке сейчас уже есть), они с некоторой брезгливостью отвернутся от них и обратятся к тому, что я лично считаю самым важным, — к духовным и интеллектуальным поискам и развитию. Если только я не полностью ошибаюсь в оценке русского темперамента, то это — нация мыслящая и (что не так уж хорошо) даже склонная к некоторой рефлексии. Русский любит размышлять и мечтать... И в самом обычном разговоре он сыплет красочными пословицами, породить которые могла только склонность к образному мышлению.

Более того, даже когда они описывают великолепное материальное процветание, которое, как они верят, их ожидает, я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о нем с чисто личной или узко эгоистической точки зрения. Наоборот, это всегда общее грядущее процветание, в котором каждый будет иметь свою долю, каждого ждет изобилие, каждый будет счастлив и выберет себе деятельность по вкусу. И в то же время оно означает досуг для размышлений. Если общество (не личность!) — говорят эти русские — можно будет полностью обеспечить благодаря тому, что каждый будет работать по восемь, семь или шесть часов, тогда у каждого будет больше времени, чтобы заниматься тем, что ему нравится, — учиться, развлекаться, мыслить, путешествовать. А если общество сможет обеспечить себя всем необходимым при трех- или четырехчасовом рабочем дне — тем лучше...

Когда я разговаривал с ведущими государственными деятелями России или с простыми промышленными рабочими, я постоянно находился под впечатлением того факта, что все они, казалось, воспринимали это новое развитие точно так же: как общее улучшение, цель которого не материальная роскошь, а интеллектуальный досуг, который будет обеспечен накоплением достаточного материального базиса.

Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Если весь мир когда-нибудь примет коммунизм, какой великой станет слава этого человека! Он станет всемирным героем... А с какой энергией и последовательностью те, кто стоит у власти, знакомили и знакомят с его теориями, с его словами, с его произведениями, с его мечтами и с его личностью каждого человека, живущего в этой огромной стране! Все написанное им опубликовано не только в многотомном собрании его работ, но и в бесчисленных отдельных изданиях и брошюрах. И популярность их ни с чем не сравнима. Миллионы людей, еще только учащих читать и писать, пользуются его произведениями как учебниками. Его пронизательные и дальновидные высказывания и острые афоризмы, написанные на кумачовых лентах, висят на улицах, в рабочих клубах, на фабриках и в коридорах учреждений...

А его тело лежит в стеклянном гробу; над ним затянутый красной материей потолок траурного деревянного Мавзолея на Красной площади. Резкий белый свет падает на его бледное, усталое лицо с монгольскими скулами, высоким лбом и небольшой бородкой. Невысокий человек, и очень-очень утомленный. (Мне показалось, что он устал

лежать там под взглядами миллионов глаз, которые скользят и скользят по его неподвижному лицу.) Но как удивительно это лицо, и какие поразительные вещи рассказывают о его жизни! И как любили его все, кто с ним работал!.. И вот каждый вечер, из года в год вечно меняющиеся многотысячные вереницы людей приходят, чтобы посмотреть на него и обрести новое вдохновение.

Я не раз видел их зимним вечером между пятью и семью часами, когда они стояли вдоль высокой, присыпанной снегом кремлевской стены и ждали, ждали... В эти часы вход в Мавзолей открыт для всех. Одни, проходя, вытирают глаза. Другие, более мистические по натуре, крестятся или благоговейно касаются барьера, окружающего стеклянный гроб с телом. Иные останавливаются и глядят на него внимательно, благоговейно, словно о чем-то спрашивая или желая что-то постигнуть,— ведь его дела, слава и гений превосходят пределы их понимания.

Спи спокойно, Ильич, отец новой социальной силы, которая — кто знает, — может быть, изменит мир!

Из дневника

Москва

Понедельник, 14 ноября 1927 года

Утром я поехал на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь», очень большое предприятие, расположенное на противоположном от Кремля берегу Москвы-реки. Сначала нас провели в комнаты, занимаемые фабричным комитетом, где я разговаривал с одним из его членов. Он объяснил, что, как и на каждой фабрике, их комитет избирается рабочими для защиты своих интересов. Комитет состоит из пятнадцати человек, включая восемь кандидатов, и трое из них посвящают всё свое рабочее время работе в комитете и получают за это заработную плату от фабрики. Комитет заключает коллективное соглашение между администрацией и рабочими, которое пункт за пунктом обсуждается на общем профсоюзном собрании.

В случае каких-либо споров между администрацией и рабочими спорные вопросы разрешаются специальной конфликтной комиссией, в которую входят в равном числе представители как от администрации, так и от рабочих. Местное отделение профсоюза — местком — избирает своего представителя в Московский Совет профсоюзов, и

этот представитель каждый день во время обеденного перерыва принимает рабочих, желающих поговорить с ним. Рабочие обедают в столовой, которая находится здесь же, на фабрике. При фабрике также имеется свой клуб. На «Красном Октябре» 3600 рабочих и служащих.

На мой вопрос относительно того, как у них обстоит дело с сыром, член фабкома объяснил, что Наркомат пищевой промышленности снабжает все предприятия через свои склады. Что касается того, возможны ли какие-то злоупотребления из-за такой системы снабжения, то все рабочие, собравшиеся вокруг нас в фабкоме, единодушно заявили, что это практически исключается, так как существует строгий государственный контроль и Рабоче-крестьянская инспекция.

В том же помещении, где находится фабком, размещается и местная ячейка Коммунистической партии, которая оказывает огромное влияние на всю работу.

Затем нас провели в ясли, которые обслуживают около 88 процентов всех работающих на фабрике женщин. Грудных и маленьких детей приносят сюда на десять часов в день. Кормящим матерям предоставляется два часа их рабочего времени (которые полностью оплачиваются), для того чтобы пойти в ясли и накормить своих детей. На меня произвела очень большое впечатление как сама идея устройства дневных яслей, так и их прекрасное оборудование и привлекательный внешний вид. Здесь имеются комнаты для грудных детей, где стоят кровати с сетками, за детьми ухаживают специально подготовленные няни; комнаты для игр детей постарше, кровати, в которых эти дети отдыхают днем, столовые. Еще не закончена, но уже строится большая стеклянная терраса для прогулок. Старшая сестра сказала, что смертельные случаи в яслях чрезвычайно редки по сравнению с прежними годами.

Потом мы отправились осматривать фабрику, на которой изготавливаются различные виды кондитерских изделий, шоколада и пирожных. Вполне современное оборудование, цеха очень чисты, в порядке, рабочие в белых фартуках. Но многие виды сортировочных и упаковочных работ выполняются вручную.

Среда, 16 ноября 1927 года

...В 6 часов вечера я поехал на встречу с Сергеем Эйзенштейном, кинорежиссером, писателем и постановщиком «Потемкина». Его комната — одна из шести комнат

общей квартиры, занимаемой шестью семьями, — довольно большая для Москвы. Он сам разрисовал стены, на потолке — какой-то фантастический бычий глаз в конвульсивных цветных разводах; над письменным столом — плакат, реклама нового сепаратора для сливок, на стенах — фотографии из фильмов. Эйзенштейн — молодой человек 29 лет, небольшого роста, плотный, с обаятельным мальчишеским лицом, голубыми глазами и массой густых курчавых волос.

Я начал с вопроса, касающегося общей организации кинопромышленности в России. Он сказал, что вся кинопромышленность в стране государственная и во главе ее стоит Наркомат просвещения (Луначарский). О кинопродукции он сказал, что за последние три года выпущено лишь три или четыре значительных картины, среди них «Потемкин» и «Мать» Пудовкина (по Горькому). В советском кино можно выделить три основных направления: 1) Эйзенштейн, 2) западный тип (Пудовкин), 3) хроникальное кино.

Теория Эйзенштейна заключается в следующем: во-первых, никакого сюжета, никакого драматургического повествования — этот кинематограф можно назвать, скорее, поэтическим. Во-вторых, никаких актеров, в картинах должны сниматься люди, взятые прямо «с улицы», это возможно, поскольку у него нет больших драматических сцен, но в самой повседневной жизни он находит драматизм, подлинный драматизм. Например, его новая картина, еще не вышедшая на экран, — «Генеральная линия» — показывает, как кооперация преобразует бедную деревню.

Он считает, что «Кабинет доктора Калигари» — не путь для кино, индивидуальные судьбы интересуют его, только если они даны очень широко, в масштабах общечеловеческих... Сейчас он работает над идеей экранизировать «Капитал» Маркса.

Я сказал, что он пропагандист советской системы, и спросил, что он делал бы со своими идеями, например, в Южной Америке. Он ответил, что приспособил бы их к местным условиям, выделив, быть может, колониальную проблему. В Америке он попытался бы сделать что-то для прогресса — скажем, в негритянском вопросе. Я назвал его идеалистом-романтиком.

Эйзенштейн сказал, что сейчас у него маленькая, плохая студия, но уже строится новая, современная.

Я сказал, касаясь России вообще, что русский темперамент таков, что через каких-нибудь три года Россия станет

ведущей державой мира. В Америке мощным импульсом развития явилось наличие обширных неосвоенных пространств, в России великим толчком была революция...

Четверг, 17 ноября 1927 года

Утром я поехал по приглашению Эйзенштейна на специально устроенный показ его фильмов «Октябрь» и «Генеральная линия».

«Октябрь» — это серия эпизодов Октябрьской революции в Петрограде, штурм Зимнего дворца и т. д. Снято это очень динамично и глубоко волнует.

«Генеральная линия» — реалистические сцены из деревенской жизни, например подлинная церковная процессия или эпизод с бедной крестьянкой, пришедшей к богатому соседу с просьбой одолжить ей лошадь, чтобы убрать урожай. Богатый крестьянин и его жена буквально заплыли жиром, их дом завален добром, грубая роскошь их существования напоминает уклад феодальных баронов. Вслед за появлением толстой жены богатого крестьянина на экране возникает восковая фигура кокетливо изгибающейся свиньи, ее сходство с женщиной создает комический эффект...

Вечером отправился в Большой театр на оперу «Князь Игорь».

Пятница, 18 ноября 1927 года

...В 5 часов вечера состоялся обед с Маяковским, крупнейшим русским писателем, принадлежащим к группе «Леф». Это молодой гигант, похожий на американского борца-профессионала. На обеде присутствовали Брик, литературный критик, его очаровательная жена Лилечка, Третьяков, автор пьесы «Рычи, Китай!», которая сейчас идет в театре Мейерхольда, его супруга миссис Третьякова, тоже литератор. Все они представляют собой центральное ядро группы «Леф» и направляют ее политику...

Сначала подали разные закуски — икру, рыбу, русские булочки, пили водку, вино, после чего все очень оживилось и стали сбивать коктейли. Я чувствовал себя уже совершенно сытым, когда появился настоящий обед: суп, гусь с яблоками и прочее. На десерт подали чернослив со взбитыми сливками. Я добавил в сливки водку и тем самым сделал замечательное открытие, которое после моего отъезда станет известно как «Сливки Драйзера».

Маяковский подарил мне книжку своих стихов. Потом они проводили нас до такси, и мы поехали к Таирову, руководителю Камерного театра.

Таиров кратко рассказал о направлении своего театра, так же хорошо известного в Европе, как и в России. При театре имеется театральная школа для актеров, весьма необычная, ибо студенты изучают в ней целый комплекс искусств — оперу, драму, комедию, пантомиму, трагедию,—потому что репертуар в театре самый различный. Декорации в спектакле играют важную роль и каждый раз служат решению определенных задач — пластических, архитектурных, динамических. В декорациях никакого натурализма, и актер может продемонстрировать все свое искусство. Декорации должны служить актеру.

На мой вопрос о том, как он собирается ставить «Макбета», Таиров ответил, что он хотел бы оставить простор для фантазии актеров и сделать минимум декораций.

Свет играет важную роль в спектакле. Камерный театр ставит в основном переводные пьесы. По каким принципам их выбирают? 1) Сценическая композиция, динамические возможности пьесы, новая архитектоника. 2) Современные проблемы и современный дух пьесы. Почему они ставят так много иностранных пьес? Они ставят также много русских, но современных русских пьес еще не хватает. Советская драма еще молода. По его мнению, наиболее интересна современная драматургия, во-первых, в Америке, во-вторых, в Англии и во Франции.

Мы заглянули в зрительный зал, шел второй акт спектакля «День и ночь». Кажется, это была легкая пьеса, оформленная в футуристическом стиле. В конце акта появляется хор, в зал бросают маленькие бумажные самолетики.

Из Камерного театра отправились в Дом ученых, где Госиздат устраивал банкет для иностранных писателей. Маяковский сидел на самом видном месте и находился в центре внимания в течение всего вечера. Были гости из разных иностранных писателей: из американцев присутствовали Анна Луиза Стронг, профессор Дана, Альберт Рис Вильямс, Мэри Рид. Я сказал несколько слов, и Маяковский заметил, что я оказался первым американцем, который после короткого пребывания в России признался, что не имеет определенных впечатлений и выводов; он сказал, что обычно, пробыв несколько дней в Москве, американцы уже пишут книги о России и думают, что всё постигли.

...Было два часа ночи, когда мы сквозь пелену снега ехали домой на извозчике.

Суббота, 19 ноября 1927 года

В 5 часов я поехал в Художественный театр к Станиславскому. Я увидел высокого, замечательной внешности пожилого мужчину с белыми волосами, блестящими темными глазами, лицо его производило поразительное впечатление благодаря какой-то особенной правильности и строгости крупных черт. Его секретарша, маленькая темно-волосая женщина, говорит немного по-английски. (В основном переводила Рут Кеннел.)

Мой первый вопрос касался условий работы при новом строе. Он сказал, что, конечно, не сразу все пошло гладко, были и трудные дни, но они уже позади, сейчас все налаживается.

— Искусство вечно, и преходящие условия не меняют его существа. Были у нас искривления — особенно в подходе к внешним выразительным средствам, но сейчас искусство воспринимается в его истинном значении. Во время революции мы ушли далеко в поисках нового, и то ценное, что нам удалось найти, становится неотъемлемой частью бессмертного искусства.

Я спросил его:

— Что из старого в области искусства вы отбросили и что из нового приняли?

— Основная роль Художественного театра состояла в том, чтобы утверждать в театре традицию искусства актера. Декорации и мизансцены важны только как фон. Это теория внутреннего искусства в противоположность искусству внешних форм. Художественный театр — это единственный театр, который ведет работу в области внутреннего актерского творчества, все остальные занимаются вопросами декораций, решением мизансцен и прочими проблемами внешней выразительности. Революция принесла с собой очень много в этой области, много нового она дала и в смысле содержания пьес.

Нельзя петь одними и теми же голосами и старые гимны, и новые, и всё это сейчас в процессе взаимопроникновения и вхождения в нормальную колею.

— Но, — сказал он, — я не понимаю, я не могу почувствовать, как можно ставить старые пьесы, скажем Шекспира, в какой-нибудь новомодной манере. Правда, я не отрицаю, что молодежь может смотреть на Шекспира другими

глазами. И пусть они ставят его так, как чувствуют. Но исказить Шекспира, перекраивать Шекспира — значит совершенно не понимать природу творчества. Художественная концепция — это живой организм. Нельзя у человека отрезать руку и поставить ее вместо ноги. Однако мы лишь выигрываем в итоге всех этих экспериментов. Самое худшее для искусства — застой. Много лучше, когда оно движется, пусть даже и в неправильном направлении. В нашем театре мы считаем, что союз нового и старого весьма обнадеживает.

Когда мы вернулись из Америки, то обнаружили, что молодежь смотрит на нас как на людей отставших, стариков. Но в прошлом году, а особенно в этом, они начали понимать, сколь много они не знают и сколь многому могут научиться от стариков. Они приходят ко мне из всех театров и просят меня открыть им «мои секреты». Именно поэтому мы решили, что серия лекций об искусстве актера, о работе актера над собой будет иметь большую практическую пользу, чем мои индивидуальные беседы с ними...

— Я замечаю сейчас, — сказал Станиславский, — тенденцию возврата к внутренним формам искусства; люди, кажется, уже устают от увлечения внешней формой. Эти внешние формы совсем не обязательно плохи, некоторые из них очень хороши: кубизм, футуризм, импрессионизм, а с другой стороны — масса всякой чепухи и глупости. Следовательно, мы должны отбросить то, что плохо, и сохранить то, что хорошо. Например, декорации и мизансцены очень обогатились после революции, но внутреннее искусство актера осталось в прежнем виде. К внешним формам актерского мастерства добавлялось очень много: движения, гимнастика, танец, пение — все это очень ценно.

Внешние формы театрального искусства пришли в театр из живописи, и они сами по себе выходят за пределы актерского искусства. Актер остается сам по себе, в этом не участвует, актер не может в силу специфики своего искусства выразить больше, чем выражает сама живопись. Футуризм и т. д. не может быть выражен на сцене. Таким образом, многие театры формального искусства строят свою работу с актерами, опираясь не на актера, а на что-то вне его. Когда мы научимся использовать живопись, так сказать, изнутри, тогда она принесет огромную пользу. Но сейчас во многих театрах современные, модернизированные декорации, всякого рода постановочные эффекты играют роль самодовлеющую, первостепенную, и актер пытается играть, приспособляясь к оформлению, в итоге спек-

такль проигрывает. Или актер играет в старой манере, а декорации новейшие, или наоборот, а результат один и тот же — отсутствие гармонии... Наш театр использует только такие декорации, которые поддерживают искусство актера, для актера футуристической манеры мы используем футуристические декорации.

— Созданы ли за советское время какие-либо подлинные образцы драматургии?

— Как хроника «Дни Турбиных» и «Бронепоезд 14-69» очень хороши, хороша и новая пьеса Леонова, которую мы сейчас готовим. Искусство само по себе — явление органическое и изменяется очень медленно, но революция внесла много нового в его содержание. Искусство у нас будет играть и уже играет большую политическую и воспитательную роль. На каждой фабрике, в каждом рабочем клубе есть сейчас свой театральный кружок. Вся Россия теперь играет.

После беседы мы отправились осматривать музей Художественного театра. Здесь ценная коллекция рукописей пьес, старинные портреты и фотографии актеров, костюмы, макеты декораций и т. д.

Воскресенье, 20 ноября 1927 года

С 12.45 ночи мы попытались сесть в поезд, отправляющийся в Ясную Поляну, но оказалось, что все вагоны переполнены. Билеты у нас были в так называемый «Максим» (поезд имени Горького) с неплацкартными местами. Моя переводчица поговорила на вокзале с кем-то и сказала, что американский писатель едет в усадьбу Толстого, это делегат и т. п., и он устроил нас в первый вагон, предназначенный для служащих железной дороги. Но когда мы обо всем договорились, поезд тронулся. Мы побежали и успели вскочить во второй вагон, битком набитый людьми: они лежали и сидели в три этажа на полках полутемного дымного вагона. Взглянув вверх, я мог видеть сапоги, свисающие рядами с верхних полок; какой-то парень снял сапоги, и его босые ноги оказались в тесном соседстве с моей физиономией. В семь часов утра мы прибыли на маленькую станцию Ясная Поляна.

Перед нами открылись действительно зимние картины, все покрыто снегом, а вокруг густые сосновые и березовые леса. Мы зашли в небольшой домик около станции, чтобы выпить чаю. В домике было две комнаты, разделенные кухней. Молодая женщина, хозяйка одной из комнат,

вскипятила самовар, накрыла на стол, на котором уже красовался большой каравай ржаного хлеба.

Окончив завтрак, мы погрузились в сани, усталые соломой, и покатали к дому Толстого.

Наши сани подпрыгивали по дороге, шедшей через большую деревню, а затем по широкой аллее, ведущей прямо к двухэтажному белому дому. Старый швейцар открыл дверь и предложил осмотреть музей — некоторые комнаты оставлены так, как они были при Толстом. Эти комнаты не отапливались и имели очень мрачный вид. Простотой и непритязательностью обстановки они напоминали обычный дом американского фермера: большая гостиная и столовая с длинным столом и большим пианино, фамильные портреты работы Репина на стенах, маленький кабинетный письменный стол, спальня с простой узкой кроватью, старый умывальник, здесь же висел старенький халат Толстого. Как скромно, должно быть, он жил!

В этот день была семнадцатая годовщина смерти Толстого. Мы прошли по дорожке к его могиле. Она прекрасно расположена в роще из берез и сосен, никакого камня на могиле — так хотел Толстой. Крестьяне убрали холм вечнозелеными ветвями. ...Назад мы с трудом пробирались по снегу, покрывшемуся сверху ледяной коркой, температура уже была 10° ниже нуля. В деревне возвышается большое белое каменное здание — «совхоз» (государственная ферма), там мы остановились и попросили разрешения отдохнуть. Как только узнали, что пришел американский писатель, все засуетились вокруг нас. Потом нас проводили опять в дом Толстого по просьбе младшей дочери Толстого, которая специально приехала из Москвы на эти дни. Жилые комнаты дома представляли собой картину гораздо более привлекательную, в жилых комнатах — обеденные столы, полки с книгами, цветы, в углу — кафельная печь, напротив — большое низкое, очень уютное кресло. Племянница Толстого, старая женщина, приняла нас то чрезвычайности любезно, угостила чаем и хлебом с сыром. Потом снова были поданы сани, и мы снова поехали на могилу Толстого. Мы увидели длинную цепочку людей, двигавшихся по снегу по направлению к могиле, — может быть, человек двести крестьян из деревни и ученики школы имени Толстого. Они собрались вокруг могилы и украсили ее осенними цветами...

Милюков, друг Толстого, выступал с речью, затем выступала дочь Толстого, затем мужичок с косматой бородой

и добрым улыбающимся лицом читал наизусть стихотворения, написанные на смерть Толстого...

Возвратившись в дом, мы отправились наверх, чтобы немного уснуть, так как ночью в вагоне мы почти совсем не спали. Отдохнув, часа через два с небольшим я спустился вниз к обеду. Там было уже много гостей, и среди них Милюков. Племянница Толстого говорила по-английски, но, не имея практики, подчас объяснялась с трудом, дочь его говорит по-английски очень хорошо.

Я вступил в живую дискуссию о жизни крестьян с Милюковым, который, казалось, хорошо знал русскую деревню. Он, со своей стороны, хотел, чтобы я передал президенту Кулиджу письмо от окрестных крестьян, в котором они просят его воспрепятствовать интервенции в Россию. Вечером все крестьяне пришли в дом на вечер памяти Толстого, который был устроен в гостиной, где Толстой всегда обедал и принимал гостей. Слушали пластинки с записью голоса Толстого на английском, немецком, французском и русском языках. Племянница сама сыграла похоронный марш Шопена, школьный хор исполнил песню на смерть Толстого, какая-то женщина читала отрывки из биографии Толстого и воспоминания о нем, рисующие его жизнь в Ясной Поляне, в том числе отрывок из воспоминаний Станиславского. Затем племянница сыграла любимое произведение Толстого — бетховенскую Патетическую. Мужичок, который читал в лесу, теперь застенчиво вышел вперед и прочитал свои собственные стихи о Толстом. Сам он — школьный сторож. Одет он был в старенькое потертое пальтишко, через плечо висела котомка, на ногах были высокие сапоги, простое его лицо освещалось детской улыбкой. Он был, кажется, неграмотен.

Потом племянница Толстого прочитала один из его неопубликованных рассказов, и все смеялись. Было много музыки, пения, и затем гости отправились вниз, где были приготовлены чай и сэндвичи.

У меня был замечательный разговор с дочерью Толстого, которая много рассказывала мне о своей работе.

...Чтобы избежать посадки на «Максим», мы решили ехать на санях в Тулу, большой город всего в 20 верстах от Ясной Поляны. Отправились мы в 10 часов вечера. Нам дали огромные овчинные тулупы, в которые мы укутались буквально с ног до головы и, облаченные таким образом, пребывали в совершенном тепле, несмотря на то что холодный ветер дул в лицо. ...Сани медленно двигались, постепенно приближаясь к огням города, которые отражались в

небе над снежными полями. В пригороде Тулы мы пересели в новенький, с иголки, автобус, который только что прибыл, и поехали на станцию. Там мы смогли купить билеты в международный вагон и поехали в Москву уже в сравнительной роскоши. Прибыли в 6 утра.

Четверг, 24 ноября 1927 года

Вечером пришел Сергей Сергеевич Динамов, чтобы оформить мой договор с Госиздатом. Я вступил с Динамовым в долгую дискуссию об индивидуализме, вернее, об аристократии ума в противовес власти масс. Бедняга совершенно измучился от этой пытки, но время от времени бросался в бой с новыми силами.

Пятница, 25 ноября 1927 года

В 11.30 вечера в международном вагоне мы выехали в Ленинград.

Суббота, 26 ноября 1927 года

После завтрака поехали в открытой машине осматривать Ленинград. Не думаю, что я когда-либо видел более прекрасный город... Серый туман, который обычно висит над Ленинградом, окутывал дымкой замечательные здания, купола великолепных церквей. Мраморные колонны зданий и памятники были покрыты инеем, и это придавало камню какой-то удивительный колорит. Проехали мимо Зимнего дворца, который в этом году был восстановлен в своих прежних белых и темно-зеленых тонах... Переехали на другую сторону реки и подъехали к Петропавловской крепости. Сначала нас провели в собор, где показали гробницы царей и их жен, все они из мрамора с золотыми крестами.

Пересекли заснеженный двор и подошли к крепости, спускающейся вниз, к самой воде. Внутри — камеры, одна за другой, в страшной монотонности, каждая из них представляет собой большую каменную коробку с высоко расположенным зарешеченным окошком; железная койка, железный стол и умывальник в углу. В тяжелой железной двери — узкая застекленная щель, через которую стража заглядывала в камеру, кроме щели — маленькая дырочка на петлях, через которую в камеру просовывалась пища. Заключение в камере были совершенно изолированы, ни

один звук не проникал к ним через толстые каменные стены, но они все же нашли способ общаться друг с другом, перестукиваясь через стены. Одна из камер использовалась для абсолютной изоляции заключенного, так как прилегающие к ней помещения являлись складами, и сидящий в камере не мог даже перестукиваться с соседями. Другая камера являлась карцером. Толстый деревянный щит опускался на окно, и заключенный оказывался в абсолютной темноте. В камерах этой крепости были заточены Вера Фигнер, декабристы и другие знаменитые революционеры.

Когда мы возвращались домой, мы увидели церковь, наиболее прекрасную из всех, какие я когда-либо видел. Оказалось, что это татарская мечеть с большим шатрообразным куполом, оригинально выложенным голубой майоликой и каким-то белым материалом, напоминающим фарфор...

Вечером наши неутомимые хозяева отправили нас в театр. Опера «Евгений Онегин» была так скучна, несмотря на хорошую музыку Чайковского, что мы ушли в конце первого акта. Сюжеты старой русской оперы чрезвычайно пресны. В ресторане под крышей мы встретились со своими хозяевами из ВОКСа, веселье было в разгаре. Джазовый оркестрик громыхал вовсю, посетители отчаянно отплясывали нечто вроде фокстрота и чарльстона: здесь был нэп, и новые буржуа справляли свой час.

Вторник, 29 ноября 1927 года

Вечером мы поехали в Совкино и посмотрели две превосходные картины: «Шторм» и «Бабы рязанские». «Шторм» — это история из времен гражданской войны. Дело происходит на юге. Русский матрос принимает участие в Октябрьской революции в Петрограде и затем командует отрядом красных солдат на юге. Во время похода они берут в плен небольшую группу бандитов, которыми руководит женщина. Женщина молода, привлекательна и отважна. Она начинает испытывать свои чары на матросе, и, вопреки советам своего помощника, командир разрешает ей поселиться в их комнате. Молодой помощник с неодобрением и настороженностью наблюдает за развитием их отношений. В одном из взятых городков она подговаривает бандитов ограбить прежнего владельца дома, в котором они остановились. Молодой помощник командира застаёт их на месте преступления, и женщина его убивает.

Когда командир узнает об убийстве, это потрясает его, он мучится угрызениями совести и отдает себя на суд своих солдат, обвиняя себя в том, что предал друга из-за женщины. Солдаты не хотят наказывать его, приводят бандитов во главе с женщиной, и командир сам отдает приказ расстрелять их. Сюжет очень интересен и хорошо разработан, съемки хороши, и с технической стороны фильм превосходен.

Вторая картина — чудо. Никогда не видел такой прекрасной операторской работы. Фильм захватывает, характеры героев, сцены очень правдивы. Место действия фильма — деревня в Рязанской губернии. Главный герой — большой, упрямый старик крестьянин с длинной бородой и пронзительными жестокими темными глазами, властный и деспотичный. Старший его сын к началу фильма уже погиб на войне, которая все еще продолжается (1916 год). Отец принял в свой дом его жену. Младший сын-жених тоже живет в отцовском доме; его сестра, своенравная девушка, с таким же сильным, как у отца, характером, влюблена в кузнеца и уходит к нему, не получив родительского согласия, что, естественно, делает ее брак незаконным по обычаям старой России.

Отец собирается женить сына и приглашает в свой дом девушек со всей округи, чтобы выбрать ему жену. Случайно на смотрины попадает девушка из соседней деревни, которая уже знакома с его сыном и нравится ему. Она приглянулась и старику, и он выбирает ее в жены сыну. Следует веселое обручение, молодые счастливы, но вскоре молодого мужа призывают на войну, и в доме остается старик с тремя женщинами, на плечи которых ложится все хозяйство. Через три года приходит известие о смерти младшего сына, и отец сразу открыто начинает ухаживать за молодой вдовой. Это сейчас же замечают вдовы, и незаслуженная ненависть обрушивается на голову невинной женщины. Приходит момент, когда старик подступает к ней, в конце концов он насилует ее, и она рождает ребенка. В это время приходит известие, что ее муж жив и едет домой. Молодая женщина в ужасном положении; поносимая и ненавидимая свекровью и невесткой, презираемая и осмеянная всей деревней, она с ужасом ждет возвращения мужа. Когда он приезжает, женщины, несмотря на то что им прекрасно все известно, рассказывают ему об измене жены и о том, что она родила ребенка неизвестно от кого. Он прогоняет жену. В отчаянии она бежит к реке, на берегу которой происходит в это время весеннее гулянье, и

бросается в нее. Когда ее тело приносят в дом, туда приходит блудная дочь старика. Она забирает ребенка, говоря, что отдаст его в детский дом, и просит брата сообщить об этом отцу ребенка — их отцу. Она выходит из дома и идет с ребенком по дороге.

Сын, поняв наконец, что произошло, поднимает на отца руку. Кроме небольшой сцены в детском доме, весь фильм отмечен большой художественной правдой. Колышутся поля пшеницы, поспевающей под лучами солнца, живописны костюмы крестьян, хороши деревенские улицы. И, как во всякой серьезной картине Совкино, в основе — социальная идея.

**На двадцатой годовщине
первого в мире
социалистического государства**

В сентябре 1937 года мы с мужем отплыли из Америки, чтобы присутствовать на двадцатой годовщине русской революции.

Мы задержались на неделю в Лондоне, где встретили массу старых знакомых, друзей и товарищей, в том числе Гарри Поллита и Тома Манна. Шарлотта Холдейн, жена известного ученого, пригласила меня принять участие на большом митинге в Шоредит-Холле, историческом месте встречи в Ист-энде (Лондон), чтобы приветствовать солдат, приехавших в отпуск из Испании, где они сражались на стороне республиканских сил.

Парни из Испании оказали мне чудесный прием. Они входили в состав Интернациональной бригады и сообщили мне вести о находившихся в бригаде наших прекрасных американских юношах. Этот митинг был одним из интереснейших моментов нашей поездки. С того времени героическая борьба испанского народа из-за преступной политики невмешательства, в которой участвовало наше правительство, и нашего позорного акта о нейтралитете, запретившего поставки оружия законному правительству Народного фронта Испании, была проиграна—но только временно. Влияние, которое оказала борьба в Испании, оставило заметный след в нашем рабочем движении во всем мире, и уроки, полученные в этой борьбе, послужат вкладом в окончательную победу народов мира.

Наша Коммунистическая партия США отдала 1800 своих лучших членов на борьбу в Испании, и из них тысяча не вернулась назад. Те, кто отдал свои жизни, и те,

кто вернулся назад, чтобы сразиться с реакцией у себя на родине, оказывают влияние на молодежь Америки; и сегодня такие люди, как Джон Дей, занимающийся организацией шахтеров на свинцовых рудниках штата Миссури; милый Стив Нельсон, теперь борющийся с американскими фашистами; Роберт Равен, ослепший в бою, но все еще остающийся в строю; Джонни Гейтс, Мильтон Вульф и другие по всей стране продолжают здесь драться лучше благодаря полученному опыту в Испании. Воспоминания о тех, кто умер, поддерживают храбрость тех, кто остался в живых. Это такие герои, как Дейв Доран, Джо Доллет, чьи слова огайским рабочим-сталелитейщикам всё еще хранятся в памяти; Тантилла — гигант-финн, которого хорошо помнят фермеры Миннесоты. И мы не должны забывать наших старших товарищей, таких, как Юлиус Розенталь, умиравший на солдатской койке в Испании и настаивавший на том, чтобы доктора вначале позаботились о более молодых раненых бойцах, потому что у них остается больше лет жизни для продолжения борьбы.

Память о Мильтоне Герндоне — это пламя света в наших сердцах. Мы помним Викмана из Филадельфии, рабочего-энтузиаста по защите политических заключенных, и других. Их товарищи, такие, как Стирлинг Рочестер, продолжают борьбу сегодня. Совсем недавно я стояла рядом с ним на митинге в Филадельфии, когда он своим чудесным голосом запевал «Интернационал», тем голосом, которым он пел нашим парням песни борьбы под голубым испанским небом.

Я нежно храню среди других своих дорогих реликвий письма, которые я получала от юношей из Испании; одни веселые, другие грустные, но все полные отваги и мужества. Одна группа наших парней назвала свой отряд «батальоном Мама Блур». В честь меня был назван станковый пулемет, и когда мальчики тащили пулемет «Мама Блур» на огневую позицию, они размахивали флагами и кричали приветствия. Когда испанские ребята спрашивали, что особенного в этом пулемете, то наши парни говорили: «Мама Блур руководит шахтерами и батраками в их борьбе с угнетением, вот почему она ведет их в бой и здесь». Тогда испанские парни говорили: «А-аа, понятно, американская Пассионария!» — И они также кричали одобрительные возгласы. Все это заставляет меня очень гордиться.

Наши парни, что вернулись назад из Испании, не считают, что их борьба оказалась бесплодной. Они воодушев-

лены беспримерной храбростью испанского народа, который все еще продолжает бороться за демократию, все еще верит в нее всем сердцем и стремится объединить снова свои силы для борьбы, которая, они уверены, скоро опять должна начаться, для последнего и решительного боя, который в конечном счете будет победным.

На советском пароходе на пути в Ленинград мы чувствовали себя так, словно мы в самом деле добрались до родного дома: такую заботу о наших удобствах проявил экипаж корабля. Среди команды наряду с юношами были девушки-моряки. Они с гордостью показывали нам Ленинский уголок на пароходе. Они почти все учились в вечерней школе, занимаясь кто математикой, кто мореходным делом.

* * *

Когда мы приехали в Москву, нас встретили на перроне. У вокзала нас ожидал «ЗИС» — один из знаменитых легковых автомобилей, выпускаемых Советским Союзом. В день нашего прибытия различные группы людей приходили приветствовать меня. Первой из всех явилась группа сотрудников с редактором во главе из журнала «Работница» и принесла букеты красивых цветов; затем пришла группа ветеранов-политкаторжан, то есть тех, кто прошел сквозь царский террор, и попросила меня произнести речь в их клубе. Потом пришел какой-то старый бородатый крестьянин с огромной корзиной белых хризантем из подмосковного колхоза имени Крупской, с поздравлениями от имени членов колхоза.

Новая гостиница и номер в ней превосходили все другие места, где я мечтала жить когда-либо. Окна возвышались над куполами церквей и башен Кремля. Огромные рубиновые звезды Кремля только что были установлены на кремлевских башнях, и их яркий красный свет был виден со всех концов города.

На эстрадных подмостках, сооруженных в маленьких парках и перед оперным театром, играли музыканты, и народ танцевал прямо на улицах. Это продолжалось все последние дни октября и весь ноябрь. Проводились спортивные соревнования, и толпы народа переполняли улицы почти всю ночь напролет. Приезжавшие из деревень в открытых кузовах грузовых автомашин экскурсии привозили собственные духовые оркестры, которые передвигались с одной улицы на другую, чтобы посмотреть на праздничное убранство города. Они пели красивые революционные и

старинные народные песни. Тут же можно было встретить и группы лиц из кавказских и среднеазиатских республик в их пестрых, красивых цветных иарядах.

Рано утром 7 ноября мы прошли на Красную площадь, где собрались гости со всех стран мира... Под звуки фанфар на Красную площадь через арки двинулась Красная Армия, начав славный военный парад, который длился весь день.

Парадом командовал товарищ Ворошилов. Он ехал на красивом белом скакуне в сопровождении кавалерийского отряда на чудесных лошадях, которые вышагивали в такт музыке, высоко поднимая ноги. Соскочив с коня возле Мавзолея Ленина, Ворошилов бросил поводья своему адъютанту и направился к трибуне...

Потом пошла пехота, загрохотали тяжелые военные машины, танки новых типов, зенитные пушки, бронированные мотоциклы, целые батальоны обученных немецких овчарок. А в небе летали в отличном строю бесконечные эскадрильи самолетов. Часть иностранных военных атташе, стоящих впереди, смотрели мрачно, особенно японцы.

Наконец пошли вооруженные рабочие отряды, ряд за рядом, наполняя площадь непрерывно изливающимся морем марширующих людей с развевающимися над ними красными знаменами. На многих плакатах виднелись лозунги, посвященные Испании:

«Да здравствует Пассионария!»

«Привет отважным республиканцам Испании!»

Стоя рядом с испанскими делегатами, мы сами выкрикивали громко приветствия и получали ответные от марширующих, а площадь эхом разносила могучие крики товарищества и братства.

Советские профсоюзы оказались на редкость гостеприимными хозяевами и делали все возможное, чтобы помочь нам получить любую желаемую информацию. Они организовали для гостей двухнедельное турне по Советской стране, причем маршрут выбирали мы сами. В Киеве, нашей первой остановке, нас ждала большая делегация по организации встречи, в которую входило очень много женщин с текстильных фабрик. Красивая молодая переводчица, которая очень хорошо говорила по-английски, спросила нас, куда мы хотим пойти. Я сказала ей, что мы хотим посмотреть школы, детей в яслях.

— Хорошо, — сказала она, — но прежде чем смотреть новую высокую культуру, которая появилась у нас, я пред-

лагаю вам посмотреть на нашу старину и прошлую культуру. Я покажу вам церковь десятого века и старинный монастырь, где жили монахи.

Нас монахи не очень интересовали, но мы не стали портить игру. Старая церковь показалась мне очень мрачной. Внутри было много золота: золото на иконах, золото на алтаре, золото везде. За алтарем находились древние, высушенные, как пергамент, мумии в ярких, расшитых шелком туфлях на ногах. Наш гид сказала нам, что верующие старухи приносят для мумий эти туфли, а иногда и красивые одежды.

Затем наша проводник спросила нас, не хотим ли мы посмотреть кости. Нас, конечно, кости также не особо интересовали, но мы были готовы посмотреть всё и последовали за ней вниз в катакомбы, находящиеся под церковью, где было целое кладбище костей (на некоторых берцовых костях всё еще виднелись кандалы).

Мы с радостью покинули мертвое прошлое и, выйдя на солнечный свет чудесного города Киева, направились по широкому проспекту к детскому Дворцу культуры. В этот дворец ежедневно приходят дети, которые проявили какой-то особый талант к музыке, рисованию, танцам, чтобы брать уроки у специальных преподавателей после обычных занятий в общеобразовательной школе. Мы видели комнату за комнатой, полные красивых, одаренных детей рабочих, и атмосфера вокруг была сладостной от детского смеха и музыки... В Советском Союзе нет детей, ущемленных в своих правах, и здесь везде имеются чудесные учреждения, подобные тому, что видели мы. Вечером мы слушали оперу в этом дворце, исполненную любительской труппой юношей и девушек с достаточно хорошими голосами, чтобы стать профессионалами.

В Ростове-на-Дону нас встретила комиссия, возглавляемая председателем городского совета и директором нового роскошного городского театра имени Горького. Директор, у которого были очень тонкие, красивые черты лица, какие мне только когда-либо доводилось видеть, сказал нам, что он хочет сделать свой театр равным Московскому Художественному театру, где он провел большую часть своей жизни. Он сказал нам, что у него есть около ста талантливых актеров, из которых он может выбрать любой состав исполнителей для любой постановки. Мы просмотрели здесь комедию «Иван Иванович», так хорошо сыгранную, что переводчик не требовался.

После посещения в Ростове большого завода комбайнов мы отправились в Кисловодск, где остановились в красивейшем горном санатории. Перед отъездом из Кисловодска нам дали концерт народных песен и танцев силами местных талантов народов Кавказа. Во время концерта какой-то человек подбежал ко мне через зал, крича:

— Уж не Маму ли Блур я вижу? Вы помните время, когда мы с вами были членами одного и того же профсоюза машинистов в Бруклине?

— Конечно, помню,— сказала я.— Старое местное отделение профсоюза «Микрометр-лодж». Но они отобрали наше право быть профсоюзом потому, что мы были чересчур радикальными. И давно вы здесь?

— Семь лет. Я живу в Ленинграде, а сюда приезжаю каждый год на месячный отдых.

— Не собираетесь назад в Америку?

— А зачем? Мне уже пятьдесят лет. Здесь я учу других работать, моя жена занята интересным делом, оба моих сына окончили институт,— чего никогда бы не случилось в Соединенных Штатах. Думаю, что я здесь останусь навсегда!

В Москве мы часто ездили на метро. Первое посещение метро произвело на нас потрясающее впечатление. Московское метро представляло собой разительный контраст по сравнению с грязными подземными дорогами Нью-Йорка и Лондона. Один англичанин как-то сказал, что здесь в метро «похоже на то, что ты прогуливаешься по картинной галерее».

Мне рассказывали, что как-то раз на одной из станций метро, где был самый длинный эскалатор в мире, одна колхозница, приехавшая в первый раз в Москву, часами каталась вверх и вниз по этому эскалатору просто ради удовольствия. Каждая станция имеет свою собственную архитектуру и орнамент. Одна — в пастельных мягких тонах, другая облицована восточным мрамором, инкрустированным золотом; третья имеет глубокие розовые цвета. Даже освещение и то было осуществлено как искусство. Часть станций с их сводчатыми потолками, их прекрасными колоннами и мягким блеском отраженного света напоминали кафедральные соборы. Поезда подходили к перрону так мягко, что вы едва могли слышать. Полы были так беспорочно чисты, что когда какой-то иностранец, не зная местных нравов и обычаев, нечаянно бросил окурок сигареты на пол, то часть рассерженных советских граждан, разумеется, запротестовала, ворча, что это народное метро

и потому в нем должна поддерживаться чистота. Радость ездить почти бесплатно на московском метро — большое счастье для рабочего класса.

Другим впечатляющим моментом была поездка по только что законченному каналу Москва — Волга, который соединил Волгу с Москвой-рекой, превратив столицу Советского государства из железнодорожного центра также и в порт. То было грандиозное гидротехническое сооружение. Нужно было не только запрудить воду, но и поднять наверх, на высоту пятнадцатипятиэтажного здания, фантастическое количество воды. Восемь гидроэлектростанций было построено вдоль канала; их электроэнергия дополнительно используется для приведения в действие насосных станций. Когда канал был закончен, возникло целое новое «Московское море», и теперь Москва имеет неограниченное количество воды.

История строительства этого канала сама по себе представляет настоящий героический эпос, сравнимый только с тем, что было на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Большая часть работы была выполнена бывшими преступниками: ворами, растратчиками, многие из которых в жизни своей никогда палец о палец не ударили. Часть из них раньше были бродягами... Они получили возможность благодаря этому строительству завоевать себе окончательную свободу. Грандиозные масштабы самого сооружения, возможность получить специальность и стать снова уважаемым членом общества, мудрый метод, каким с ними обращались (никого из них не принуждали насильно работать), позволили всем этим бывшим преступникам полностью порвать со своим прошлым.

Свыше 22 тысяч рабочих окончили школы при строительстве, и свыше 18 тысяч человек, что начали чернорабочими, кончили курсы и стали квалифицированными рабочими, сотни других стали инженерами. Практически все бывшие преступники были полностью амнистированы.

На нашем пароходе были прекрасные каюты и роскошные салоны. Вдоль берегов канала раскинулся красивый пейзаж; пристани были архитектурно выполнены очень красиво, а шлюзы украшены статуями. Около московского речного порта был открыт новый курорт для трудящихся Москвы и Московской области, с парками, домами отдыха и водно-спортивными стадионами на его берегах.

В городе Калинине председатель областного Совета депутатов трудящихся сказал нам:

— Вчера у нас состоялся большой митинг. Тысячи человек со всей области выдвинули кандидатом в депутаты в Совет Национальностей Верховного Совета СССР — женщину, Марию Петрову. Она председатель нашего городского Совета. Это, понимаете, ее город, так что она и должна показать его вам.

Он позвонил ей; пришла Мария Петрова — красивая, статная, по-матерински выглядевшая женщина тридцати семи лет, бывшая ткачиха. Она показала нам заново отделанные театры, большие современные жилые корпуса, родильные дома, новую хирургическую клинику и всякого рода учреждения, созданные в помощь работающим матерям; везде были видны материальные и культурные улучшения. Она рассказала, что у нее один ребенок — полугодовалый, ясельного возраста; другой ходит в детский сад, а третий — в седьмой класс школы.

Этот день был выходным в Советском Союзе, и мы извинились за свое посягательство на ее время отдыха.

— По выходным я совершаю прогулки; я хожу на рынки, в парки, по городу, чтобы посмотреть, где что нужно сделать. Во время этих прогулок ко мне приходят идеи и планы, — сказала она, улыбаясь.

Только в Советском Союзе женщины могут наслаждаться своим полным правом на материнство, так же как могут заниматься любой профессией, какую бы они ни выбрали. Вот эта Мария Петрова, глава Калининского городского Совета, мэр города, как мы бы ее назвали в Америке, подобно тысячам других матерей в Советском Союзе, имеет свою собственную богатую семейную жизнь и в то же самое время отвечает за жителей этого двухсоттысячного города, который она возглавляет. И везде, где бы мы ни побывали в стране, мы видели, что женщины здесь вырастают в уважаемых руководителей и выдвигаются с каждым годом на новые, все более ответственные посты.

За время первой и второй пятилеток свыше четырех с половиной миллионов женщин были вовлечены в промышленное производство; советская женщина, имеющая специальность, теперь важный фактор в этой стране. До революции в России было всего только две тысячи женщин-врачей; и мне сказали во время нашей поездки, что сейчас в стране женщин-врачей сорок тысяч.

Сотни женщин избраны депутатами Совета Национальностей и Совета Союза Верховного Совета СССР. Чер-

няк — женщина-стахановка со свердловского завода — сумела выразить то, что новая жизнь означает для советской женщины:

— Кто знает более яркую жизнь, чем наша? Наша молодежь — самая одаренная и отважная. Это наши летчики парят в небесах, наши музыканты покоряют мир своей игрой. Мы знаем, что, какую бы сферу деятельности мы ни избрали, мы всегда сумеем применить наши знания и энергию.

Подобная большая уверенность и величайшее чувство ответственности характерны для всех этих женщин-руководителей.

Вам не удастся проехать по Советскому Союзу без того, чтобы вас не потряс поток цифр захватывающих успехов. В Советском Союзе ничто не пятится назад — все движется вперед. Что мне особенно хотелось подчеркнуть в этих кратких впечатлениях о Советском Союзе, так это чувство выполненного долга и чувство радости от своей работы, которое мы встречали у всех, с кем нам довелось разговаривать; удивительная атмосфера товарищества и сердечной теплоты, которая нас встречала везде, а это является ярким выражением того, какие чувства люди испытывают друг к другу в этой великой стране, где нежная братская любовь товарищей стала реальностью. И для меня было наибольшим счастьем, для меня, долго жившей среди рабочих и фермеров, кто знал только нужду и лишения, оказаться наконец там, где труд стал самой почетной обязанностью, и увидеть рабочих, наслаждавшихся всеми плодами собственного тяжелого труда, всеми приятными благами на земле.

Кажется почти невероятным, что социализм построен несмотря на гигантские препятствия и враждебность остального мира. России пришлось начать с поразительной отсталости в своем развитии по сравнению с другими европейскими странами. Ее первобытное сельское хозяйство давало лишь слабенькую основу для создания крупной индустрии, зависевшей почти исключительно от иностранного капитала. Гражданская война, интервенция, блокада и голод надолго лишили страну сил, тогда как другие страны уже наслаждались миром. Начав почти с нуля, — потому что им нужно было восстановить прежде, чем они могли начать строить вновь, — советские люди создали современную индустриальную державу, вышедшую на первое место в Европе и на второе в мире по промышленному производству.

Все это стало возможным потому, что, взяв орудия и средства производства в свои руки, советские люди создали социалистическую систему плановой экономики, вовлекли все трудоспособное население в процесс производства, сделав возможным быстрый и неуклонный рост общественных средств при одновременном расширении личного потребления.

Вместе с ростом производства происходило постоянное улучшение материальных и культурных условий жизни трудящихся. За время второй пятилетки зарплата удвоилась и продолжает постоянно расти. Система социального страхования (за счет налога с промышленности, а не зарплаты трудящихся) охватила болезни, несчастные случаи, старость, материнство. Самая лучшая в мире система народного здравоохранения сосредоточила свои усилия на сохранении здоровья людей. Профсоюзы следили за постоянным улучшением системы охраны труда. Оплаченные отпуска, санаторное лечение для тех, кто в этом нуждается, даже специальное диетическое питание в рабочих столовых для тех, кому это предписано врачами,— все эти вещи стали обыденным явлением. Рабочие клубы—Дворцы культуры—имелись у каждого завода и фабрики со всеми мыслимыми благоприятными условиями для развлечения, занятий спортом и учебой.

Дети в дневных яслях и детских садах окружены всевозможной заботой и вниманием, чтобы любая женщина могла сочетать материнство с работой, которую она хочет выполнять.

Образование давно стало обязательным и всеобщим, со всевозрастающим посещением университетов. Были открыты всевозможные курсы для каждого желающего получить более высокую квалификацию или приобрести новую профессию...

Принятие Конституции на VIII чрезвычайном съезде Советов в декабре 1936 года отметило полную победу социализма во всех сферах народного хозяйства. Новая Конституция превратила в закон право всех на труд; право на отдых и досуг; право на содержание по старости или болезни или любой другой потери трудоспособности; право на образование. Она провозгласила равное участие мужчин и женщин во всех областях, равное право всех наций и народов.

Все эти положения Советской Конституции не есть обещание на завтра, а являются конкретным выражением реальности сегодняшнего дня. Они отмечают достижения то-

го, что марксисты называли первой фазой коммунизма — социализмом. Основной принцип этой фазы суммирован в формуле: «От каждого — по способностям, каждому — по его труду». Эта формула признает факт, что общественное богатство еще не достигло той стадии, где можно каждому брать из общественных фондов все, что ему требуется. При высшей фазе коммунизма будет действовать формула: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям».

Спустя год после принятия этой Конституции мы имели удовольствие видеть, какой шаг вперед уже сделан в стране на пути к этой более высшей стадии коммунизма. Мы были свидетелями больших всенародных торжеств, которые происходили после первых выборов по избирательному праву новой Конституции, когда 91 миллион советских граждан избрали своих депутатов в Верховный Совет СССР на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании.

Любая организация советского народа — будь то профсоюзы, молодежные, кооперативные и культурные общества — имеет право выставить своих кандидатов, и Коммунистическая партия поддерживает беспартийных кандидатов так же, как своих собственных.

Выборы явились кульминацией непрерывного демократического процесса, посредством которого весь народ, день за днем, непосредственно участвует в решении любых задач, которые затрагивают их жизнь. Выставление кандидатов не было результатом предварительных кампаний, исход которых определяется количеством денег, брошенных на проведение этих кампаний, не было демагогическим надувательством или открытым подкупом. Выдвижение кандидатов, в котором участвуют все избиратели, является до известной степени более важным, чем сами выборы. В Советском Союзе на собраниях по выдвижению кандидатур присутствует масса людей. Каждый будущий кандидат имеет право свободно говорить обо всем и должен ответить на бесчисленное множество вопросов, которые любой избиратель имеет право ему задать. Характеристика каждого кандидата тщательно проверяется. И поскольку кандидаты сами являются выходцами из народа, который наблюдал день за днем за их деятельностью, то беспристрастность собраний по выдвижению кандидатур является не чем иным, как результатом предварительного опыта и знаний, и их исход никоим образом не зависит от последних закулисных сделок и маневров. Поскольку народные

интересы действительно объединены, они естественно приходят к единодушному решению относительно того, кто наилучшим образом соответствует для представления их в Верховном Совете. Депутаты, раз избранные, поддерживают как можно более тесные контакты со своими избирателями, и если какой-нибудь депутат перестает выполнять волю народа, то его могут отозвать в любое время по желанию большинства избирателей.

Среди депутатов нет платных юристов фирм, нет профессиональных политиков, которыми манипулирует крупный капитал в своих собственных целях. Вместо этого здесь истинные преданные сыны советского народа — руководители рабочего класса, шахтеры, представители Красной Армии, врачи, ученые, учителя, артисты и писатели. Из 1143 депутатов, избранных в Верховный Совет СССР в 1937 году, 283 беспартийных и 187 женщин — это самый высокий процент женщин-депутатов, когда-либо участвовавших в парламенте любой страны...

Пятнадцать лет назад я слышала, как Ленин мечтал об этом, и теперь мы видели, как эта мечта воплотилась в яркую, живую действительность. Мне никогда не удастся должным образом выразить ту благодарность и признательность, которую я испытываю за то, что получила возможность лично увидеть исполнение тех ярчайших человеческих мечтаний, тех вещей, ради которых я работала всю свою сознательную жизнь. Каким огромным счастьем и честью явилась для меня возможность лицезреть и говорить с самим великим Лениным — великим вождем революции, предвидевшим и начертавшим с такими подробностями курс, которым следовало идти, чтобы обеспечить полную победу социализма...

Во время нашего визита в СССР мы узнали, что новый перевод стихов Уолта Уитмена, выполненный К. И. Чуковским, только что изданный Государственным издательством художественной литературы в Ленинграде, разошелся десятками тысяч экземпляров и что Уитмен очень любим в Советском Союзе. Во введении, озаглавленном «Поэт американской демократии», которое перевели для меня, вспоминается, как в 1905 году был конфискован и уничтожен царской охранкой первый перевод поэмы «Листья травы». Сам переводчик, все тот же Корней Чуковский, был обвинен в подрывной деятельности за перевод стихов «Пионеры! О, пионеры!» и был осужден московским судом присяжных. В 1913 году были запрещены публичные лекции об Уитмене и его творчестве в подавляющем числе

городов России. Но несмотря на эти преследования слава Уолта Уитмена широко распространилась потому, что, как заметил К. Чуковский, направление его поэзии сделало поэта желанным в стране, где назрела революция.

В 1918 году одной из первых книг, опубликованных в новой Советской республике, был маленький томик стихов Уитмена.

Именно благодаря этому томику я впервые познакомилась со следующими, написанными Уолтом Уитменом в 1881 году строками:

«Вы — русские, и мы — американцы!

Россия и Америка, такие далекие, такие несхожие с первого взгляда! Ибо так различны социальные и политические условия нашего быта! Такая разница в путях нашего нравственного и материального развития за последние столетия! И все же в некоторых чертах, в самых главных, наши страны так схожи...

...Так как заветнейшая мечта моя заключается в том, чтобы поэмы и поэты стали интернациональными и объединяли все страны, какие только есть на земле, теснее и крепче, чем любые договоры и дипломатия, так как подспудная идея моей книги — задушевное содружество людей (сначала отдельных людей, потом в итоге всех народов Земли), я буду счастлив, что меня услышат, что со мной войдут в эмоциональный контакт великие народы России».

Сколь бы Уитмен обрадовался, будь он жив сейчас, «интернациональности стихов и поэтов», уже достигнутой на одной шестой земного шара. Сколь более решительно он настаивал бы сегодня на более тесном понимании, на более тесных отношениях между американским и советским народами, как шаге к исполнению его самой заветной мечты — товарищества и дружбы для всех народов Земли.

Лэнгстон Хьюз (1902—1967) — американский поэт, прозаик, публицист и общественный деятель. В 1932—1933 годах побывал в СССР, о чем рассказал в книге «Негр смотрит на советскую Среднюю Азию» (1934), фрагмент из которой мы публикуем.

НЕГР СМОТРИТ НА СОВЕТСКУЮ СРЕДНЮЮ АЗИЮ

1. По дороге на Юг...

Для американского негра, живущего в Соединенных Штатах, в слове «Юг» таится ужас, неприятно уже само его звучание. Ведь именно на Юге наши предки триста лет влачили иго рабства, их продавали и покупали, точно скот. И на том же Юге в наши дни мы вынуждены терпеть наихудшие формы расистского гнета и экономической эксплуатации— сегрегацию, кабалу, линчевание... Но там, на Юге, живет более двух третей моего народа — огромный Черный Пояс протянулся от Виргинии до Техаса через хлопковые плантации Джорджин, Алабамы, Миссисипи, захватывая апельсиновые рощи Флориды и плантации сахарного тростника Луизианы. Именно на Юге черные руки создают богатства, которые питают большие города вроде Атланты, Мемфиса и Нового Орлеана, где белые богачи живут в красивых особняках на осененных магнолиями улицах, а негры ютятся в трущобах. Это на Юге «расовая проблема», как называют ее американцы, обретает наибольшую остроту и, точно змея — птицу, подчиняет своей гипнотической власти всю страну. Это на Юге ненависть и ужас бродят по улицам и дорогам весь день напролет — то тишком, то претворяясь в жестокое насилие, а по ночам тревожат сон спящих.

Весной прошлого года я почти прямо с американского Юга попал в Советский Союз. Мне незачем писать, какой это был контраст, вы всё легко представите сами. Лето я провел в Москве, а в сентябре упаковал чемоданы, готовясь снова отправиться на Юг — но только на Юг под

красным флагом. Из Москвы, столицы нового мира, я поехал в Среднюю Азию, чтобы посмотреть, как живут и работают там люди. Мне хотелось сравнить их жизнь с жизнью цветных народов, поработанных капитализмом, — с тем, что я видел на Кубе и Гаити, в Мексике и у себя на родине — в Соединенных Штатах. Я хотел познакомиться с тем, как живут эти люди в Советском Союзе, и написать о них книгу для темнокожих рас капиталистического мира.

В поезде у меня было много времени для размышлений. И мне пришло в голову, что за тридцать прожитых мной лет мне ни разу не довелось сесть в поезд у себя на родине, не вспомнив при этом, какого цвета моя кожа. На Юге негры ездят отдельно от белых — обычно в ветхих допотопных вагонах, которые прицепляют сразу за паровозом, так что весь дым, вся тряска и вся сажа достаются на их долю. На Юге нам не продадут билета в спальный вагон — такие удобства существуют только для белых. Но и на Севере, где закон не предписывает цветным ездить отдельно от белых, им все равно приходится нелегко. В автобусах они должны сидеть сзади, на самых плохих местах над колесами. На пароходах им предназначаются самые скверные каюты — кассир просто заявляет, что все остальные уже проданы. В поезде, если негр сядет рядом с белым, тот почти наверное встанет и уйдет, выругав негра, который посмел занять место рядом с ним. Вот почему в Америке человек с желтой, коричневой или черной кожей, куда бы он ни ехал, все время вынужден помнить, что он — цветной, и нередко испытывать из-за этого всяческие неудобства.

Я сидел в комфортабельном купе международного вагона, думал о Москве, с которой только что расстался, и вспоминал подробности моих поездок в Америке. Однажды, совсем еще мальчишкой, я поехал в Мексику к отцу, который там работал. В вагоне-ресторане я сел за столик рядом с белым. Он поглядел на меня и сказал: «Ты же черномазый!» — и ушел. Обедать рядом с негром было ниже его достоинства. В Сент-Луисе я вышел на перрон купить стакан молока. Буфетчик сказал: «Мы не обслуживаем черномазых» — и отказался продать мне молоко. Став старше, я понял, что все это в порядке вещей, а потому позднее, отправившись на Юг, чтобы читать лекции о моих стихах в негритянских университетах, я запасся провизией, так как знал, что в вагон-ресторан меня не пустят. И от Вашингтона до Нового Орлеана я завтракал, обедал и

ужинал всухомятку. Особенно живо эта злосчастная поездка припомнилась мне, когда я ел горячий обед в вагоне-ресторане экспресса Москва — Ташкент.

Если ехать на Юг из Нью-Йорка, официально законы о сегрегации вступают в силу в Вашингтоне, столице нашей страны. Там по поезду проходит проводник и — если вы негр — трогает вас за плечо со словами: «Вагон для цветных в голове состава». И вам приходится, забрав багаж, перебираться в первый вагон, потому что, едва поезд пересекает реку Потомак и оказывается в Виргинии, черные утрачивают право ехать в одном вагоне с белыми. Это противозаконно — как противозаконно белым и цветным есть вместе, спать вместе, а кое-где и работать вместе. Но об этом мы поговорим потом.

В соседнем купе едет человек с почти такой же коричневой кожей, как у меня. Молодой человек, одетый совсем просто — бежевые брюки и скромный серый пиджак. Рабочий с какой-нибудь азиатской фабрики, который проводил отпуск в Москве, думаю я. У нас завязывается разговор. Он спрашивает, чем я занимаюсь, а я спрашиваю, чем занимается он. Я писатель. А он мэр Бухары — председатель городского Совета! Я замечаю про себя: в Советском Союзе люди с темной кожей бывают мэрами больших городов. Ведь этот человек управляет знаменитым городом — старой Бухарой, романтической Бухарой, воспетой в сказаниях и легендах, известных всему миру! Об этом надо непременно написать в американские негритянские газеты! Но тут я узнаю от него, что в Средней Азии есть много городов, которыми управляют люди с темной кожей — мужчины и женщины. Таких городов очень, очень много. И мне вспоминается штат Миссисипи, население которого состоит из негров больше чем наполовину, — но кто там слышал о мэре-негре? О хотя бы одном цветном в органах управления штатом? В этом штате негры не могут даже голосовать! И там вы не увидите их в спальнях вагонах.

А здесь нас двенадцать (двенадцать!) негров едут на Юг из Москвы. (Я оказался в одном вагоне с группой негров из Межрабпом-фильма, которые совершали поездку по Советскому Союзу.)

Потом вечером мы устроили встречу со свободными от дежурства членами поездной бригады. Они рассказали нам о своей работе, о том, как они участвуют в строительстве социализма. А мы рассказали им о положении рабочих-негров в Америке, о чикагских гангстерах и нью-йоркских

банкирах. По их вопросам и высказываниям мы поняли, что они знают об Америке куда больше, чем средний американец знает о Советском Союзе. И мы убедились, что условия их работы много лучше, чем у американской поездажной прислуги — особенно у проводников. Здесь в каждом вагоне есть служебное купе, где может отдохнуть свободный от дежурства проводник. Негры-проводники вынуждены обходиться без таких купе. Здесь каждый спальный вагон обслуживают два проводника, а в США — всего один, и на протяжении всего длинного пути он работает почти без отдыха, успевая вздремнуть лишь урывками на скамье в мужском туалете. Наши проводники существуют на чаевые — их заработная плата крайне низка. В 1925 году они организовали профсоюз, но руководство его оказалось в руках буржуазных соглашательских элементов, и потому они практически ничего не добились — зато компания время от времени угрожает уволить их всех и заменить филиппинцами. Американская федерация труда отказалась принять их (многие белые железнодорожные профсоюзы не принимают негров). Вот о чем мы рассказывали поездной бригаде экспресса Москва—Ташкент, а они просили нас передать революционный привет чернокожим железнодорожникам Америки.

В обществе наших многочисленных интересных друзей время летело незаметно. Сначала за окнами вагона мелькали поля, и на станциях окрестные колхозницы продавали кур, сыр и яйца, потом на закате мы увидели Волгу — знаменитую древнюю реку, которой посвящено множество песен и легенд, а сутки спустя мы проехали Оренбург, где начинается Азия и по улицам ходят верблюды. За ним начались киргизские степи и жидким серебром блеснул на солнце залив Аральского моря.

В тот день, когда мы проезжали казахстанскую пустыню, по всему Советскому Союзу праздновался сорокалетний юбилей литературной деятельности Максима Горького. К вечеру поезд остановился на маленькой станции, мы все вышли на платформу, где был устроен короткий митинг в честь Горького и его эпохальных произведений. (Этот писатель, чьи книги исполнены биения жизни простых людей, известен даже в сердце пустыни.) Вместе с пассажирами в митинге принимали участие казахи-кочевники — мужчины в тяжелых меховых одеждах, женщины в белых головных уборах. Мою речь, которую я произнес по-английски, сначала перевели на русский, а потом на казахский. На этом митинг кончился. Мы послали телеграмму товарищу Горь-

кому от имени пассажиров поезда и еще одну — от нашей негритянской группы.

На следующий день под вечер мы увидели прорезанный оросительными каналами зеленый оазис, хлопковые поля, отягощенные плодами фруктовые деревья. В сумерках наш поезд подошел к большому вокзалу. Мы приехали в Ташкент, новый центр Востока.

2. Посещение Туркмении

Осенью, где бы вы ни сошли с поезда в оазисах Средней Азии, вы обязательно окажетесь среди хлопковых полей, а на улицах селений и даже больших городов что-нибудь обязательно напомнит вам о хлопке. По всем дорогам движутся в пыли верблюды, повозки, грузовики, нагруженные белым волокном, которое везут на фабрики и склады. А за городом, куда ни кинешь взгляд, везде видны драгоценные зреющие коробочки.

То же самое можно увидеть и на юге Соединенных Штатов. В Джорджии, Миссисипи, Алабаме можно сотни миль ехать между полей хлопка, ослепительно белого в лучах солнца. Только на наших дорогах нет верблюдов. Хлопок везут в фургонах, запряженных мулами. И он перестал быть драгоценным. Кризис, фабрики закрыты или работают на половину мощности. Да, Туркестан не похож на Алабаму — в сущности, несколько не похож. Это два разных мира.

Около года назад, когда я провел на Юге всю зиму, некоторое время мне пришлось пробыть в Алабаме, милях в пятидесяти от ныне знаменитого Скоттсборо. Я хотел побывать в поселке, примыкавшем к большой хлопковой плантации. «Это опасно! — предостерегали меня друзья. — Белые не любят, когда в поселке появляются чужие негры. Не ездите!» Но я все-таки поехал вместе с представителями Красного Креста (его негритянского отделения, разумеется, — ведь на Юге сегрегация проводится повсюду), которые по случаю рождества везли фрукты для бедняков, то есть в данном случае для черных батраков на богатой плантации.

В ветхом «форде» мы долго ехали по бурным полям, хлопок с которых был уже убран. Мы свернули в ворота в крепкой проволочной ограде, проехали еще некоторое расстояние и миновали вторую ограду. Тут в стороне от дороги под деревьями ютились батрацкие хижины — унылые

бревенчатые лачуги из одной комнаты. Нам навстречу выбежали оборванные ребятишки.

Мы побывали в нескольких хижинах, и, пока представитель Красного Креста говорил о господе, я задавал земные вопросы. Я спросил у старика, продал ли он хлопок. Он ответил с вялым равнодушием: «Не знаю. Его забрал хозяин. Ну, а если и продали, мне-то что? Все равно я этих денег не увижу». Он тоскливо пожал плечами и замолчал, посасывая трубку. В соседней хижине хозяйка сказала мне, что не была в городе больше четырех лет. А до города всего пятнадцать миль! «Времени нет,— сказала она.— Да и денег на покупки тоже».

Она говорила про свою нужду с каким-то холодным безразличием. Представитель Красного Креста заверил ее, что бог ей поможет, а потому пусть она ни о чем не беспокоится.

Сломанная кровать, печурка и два-три стула — этим исчерпывалось все ее имущество. Среди исхудалых ребятишек, которым мы раздали фрукты — подачку благотворительного общества, были и ее дети. А владелец плантации жил в городе в большом особняке с белыми колоннами. Его дети учились в частной школе на Севере, а на каникулы ездили за границу. Вот эти черные руки, собирая белый хлопок, создали его богатство, благодаря им был построен его дом и его дети могли путешествовать. Женщина, у которой не было денег, чтобы поехать в город за пятнадцать миль, посылала чьих-то детей в Париж. Вот на какой основе покоится культура Юга.

Вот как плантаторы устраивают это: черный батрак подписывает контракт (который нередко не может прочесть), обязуясь проработать год вместе со своей семьей. Труд его должен оплачиваться оговоренной долей хлопка, который он вырастит. Он поселяется в хижине на земле белого. Плантатор выдает ему авансом семена для посева и каждый месяц отпускает в кредит из своей лавки кукурузу и солонину. Учитывает все взятое в кредит бухгалтер, служащий плантатора. В конце года, когда хлопок собран, владелец забирает весь урожай и объявляет батраку, что его доли не хватает, чтобы оплатить жилье, семена, кукурузу, солонину и все прочее, что занесено в счетную книгу. Негр таким образом оказывается должником плантатора и должен еще год отрабатывать свой долг. Если он хочет забрать семью и уехать, ему грозят каторжными работами, а то и судом Линча. Вот так черные батраки ведут рабское существование на американских плантациях.

«Очаровательная» система, обеспечивающая бесплатный труд, белый хлопок и культуру! И у американских капиталистов хватает бесстыдства обвинять Советский Союз в использовании принудительного труда!

Как не похожа на этот хлопковый край советская Средняя Азия! Баи-помещики изгнаны и никогда не вернуться. Я разговаривал с крестьянами, и я знаю, что так и будет. В них нет и тени страха, который гнетет батраков американского Юга.

Я посетил колхоз «Айтаков» под Мервом в самый разгар сбора хлопка. Председатель-туркмен повел нас в поле, где под ярким утренним солнцем бригада женщин собирала хлопок, быстро двигаясь по рядам невысоких кустиков — кто клал белые коробочки за пазуху, на глазах толстая от хлопка, кто — в мешки, привязанные за спиной. Дневная норма составляет тридцать два кило, но ударники собирают за день по шестьдесят четыре кило. А многие женщины, за чьей работой я наблюдал, были ударницами.

В этот день в полях работали одни женщины, так как мужчины приводили в порядок ирригационный канал, объяснил председатель. Когда тяжелой работы нет, мужчины тоже работают в поле.

Я спросил, почему нигде не видно детей — в Америке они собирали бы хлопок вместе с родителями.

— Они сейчас в школе, — ответил председатель. — В нашем колхозе есть начальная школа. А в соседней деревне — средняя школа на пятьсот учеников. Учительница занимается и со взрослыми. Вы сами увидите в обеденный перерыв.

Когда настало время обеда, мальчик принес в поле чай и хлеб. Женщины уселись в кружок на траве, и, пока они ели, среди них с книгой в руке ходила девушка, и каждая по очереди с ее помощью прочитывала несколько фраз. Так они учились читать — вещь прежде в Средней Азии неслыханная.

После обеда я помогал собирать хлопок, а потом молодой человек повел нас в чайхау ужинать. Там я отвечал на множество вопросов о жизни негров в Америке. Уже совсем стемнело, когда мы направились через поля к поселку. Для нас приготовили комнату в яслях — детские стульчики и столики были сдвинуты в угол, а пол устлали коврами, чтобы нам было где сидеть.

Вскоре начали сходить гости — учителя и мужчины, которые весь день трудились на канале. Они приходили по двое, по трое и большими компаниями, так что вскоре ком-

ната была набита битком. Принесли чайники с чаем и полдесятка чаш, которые ходили вкруговую. Когда чайники пустели, их передавали человеку у двери, и он наполнял их кипятком из котла, висевшего снаружи над открытым очагом.

Утром ко мне прибежал Шура, маленький сын русской заведующей яслями. Он и его приятель, золотилицый туркменский мальчуган, хотели показать мне котенка, который только что родился в конюшне. Они с гордостью водили меня по всему скотному двору.

Потом Шура, белый малыш, и смуглый маленький туркмен ухватили меня за руки и повели смотреть печь, в которой пекут хлеб. Я пошел, но думал я не о печи. Я думал, глядя на моих маленьких проводников: «В Алабаме этого случиться не могло бы — там белые дети и цветные дети растут отдельно друг от друга. Я рад, что здесь, в Советском Союзе, сметены все уродливые расовые барьеры. Русский малыш и туркменский малыш, вам не доведется узнать жизни, полной недоверия, ненависти и страха, которую ведем в Америке мы».

3. Дворцы, священнослужители и власть

В бухарской цитадели высится замок эмира, господствующий над городом. Угадайте, кто живет в нем сейчас? Угадайте, кто живет теперь за стенами этого дворца-крепости, где прежде обитали высокопоставленные вельможи, где находился монетный двор, где была тюрьма? Кто же? Студенты техникумов, сыновья и дочери крестьян-бедняков и рабочих, чьи деды и прадеды веками падали ниц перед правителями и баями. А чем занимаются эти студенты? Ну, во-первых, они учатся читать и писать с помощью нового алфавита, отказавшись от арабского, который муллы, прежде контролировавшие образование, объявляли святым. Только арабские буквы Корана благословил Аллах, говорили священнослужители, а все прочие — кощунство: «Да будут прокляты все, кто учит новые буквы!»

Но теперь все учат новые буквы и никто не проклят. Все теперь живут лучше, чем прежде. В прославленных мечетях прежде святой Бухары почти нет молящихся. У подножий минаретов, с которых муэдзины сзывали верующих на молитву, беззаботно играют дети, хитро замотанные тюрбаны утратили религиозный смысл, и никто не отправляется в паломничество в Мекку.

Во дворе некогда знаменитой медресе, где в холодных маленьких кельях десятки учащихся тупо задалбливали наизусть книги Корана, теперь устроен музей. В нем собрано много прекрасных вещей — старинные книги, драгоценные украшения, ковры, ткани. А рядом — дубинки дerviшей, конские хвосты святых и другие «святые реликвии» прошлого. Религия изгнана из живой жизни в музей, а народ получил новый алфавит, который несет знания бедным крестьянам и женщинам, рабочим и всем тем, кто прежде слышал только ложь священнослужителей и угрозы сборщиков налога.

Два года назад я побывал на Гаити — маленьком черном острове, который теперь стал колонией, где правит американская морская пехота. Там тоже повсюду высятся башни храмов — католических храмов. И марионеточное правительство, содействующее американской эксплуатации, состоит из весьма религиозных джентльменов, регулярно слушающих святую мессу. И на Кубе, где на три года из-за революционных настроений студенчества были закрыты университеты, двери церквей широко распахнуты. Прочтите стихотворения Маяковского «Черное и белое» и «Сифилис», если вы не знаете, какова жизнь на Кубе. И на Гаити и на Кубе царит террор, восстания подавляются, молодежь убивают, женщин выбрасывают на панель, Карибское море бороздят американские канонерки. Газеты сообщают, что в гаванском порту запрещена ловля акул: по-видимому, джентльмены, которые регулярно слушают святую мессу и задают тон в правительстве, опасаются, что рыбаки вместо рыбы начнут выуживать трупы — военная тюрьма в Гаване стоит на берегу океана.

По ту сторону пролива, на американском материке, верующих тоже хоть отбавляй. Менкен, американский литературный шут, называет Юг «Библейским поясом», потому что там много церквей, проповедников и молитв. И там, в Библейском поясе, линчуются сотни негров, провоцируются расовые беспорядки, бедняки изнывают в кабале, женщины надрываются на прядильных фабриках, правосудие превращается в посмешище на зловещих спектаклях вроде процесса в Скоттсборо. Богачи живут в современных дворцах с белыми колоннами, священники тучнеют, и в воскресные вечера, заглушая запахом елдя аромат магнолий, повсюду слышатся проповеди — ведь радио принадлежит богачам, живущим в больших особняках.

В Нью-Йорке туристы ездят осматривать витражи в огромной церкви, которую воздвигли во славу божью Рок-

феллеры из «Стандард ойл». Из Нью-Йорка, Бостона, Чикаго верующие богачи тянут шупальца к черному Югу под видом религиозной филантропии: жертвуют деньги на негритянские церковные школы, покупают сознание черной молодежи в гетто и на хлопковых полях, внушают им кротость и смирение, одурманивают «опиумом для народа».

В промышленных городах Севера в тени небоскребов бродят сотни тысяч голодных безработных — негров и белых. В Детройте Форд наводит на них свои пулеметы, а в Вашингтоне против них мобилизуется армия. И молятся хозяева в церквях, и священники единодушно обличают коммунизм и призывают к богу — словно бухарские муллы во времена эмира.

Я иду по улицам Бухары, восточного города песен и легенд. Я прохожу сквозь проломы в осевших глинобитных стенах, под опустевшими башнями и минаретами, мимо дворцов и мечетей. Я вспоминаю, как мальчишкой в далеком Канзасе я мечтал увидеть сказочный город Бухару — столь же манящий и недоступный тогда, как фантазии «Тысячи и одной ночи». И вот теперь, в 1932 году, я иду по ее улицам — мечта сбылась: благодаря любезному содействию советской газеты я путешествую по Средней Азии... За десять лет тут произошли великие перемены, а впереди предстоят еще более великие и замечательные. Вчера — недоступный эмир за высокими стенами дворца. А сегодня...

Ну, а сегодня я иду обедать к бывшему пастуху, а теперь председателю городского Совета сказочного города Бухары.

4. Молодежь и образование в Туркмении

Около года назад в Соединенных Штатах попала в автомобильную катастрофу Джульетта Деррикот, негритянка-преподавательница, пользовавшаяся большой известностью и любовью. Она ехала в машине с тремя своими студентами. Внезапно встречная машина при обгоне выехала на середину шоссе. Чтобы избежать столкновения, мисс Деррикот съехала на обочину, колеса ее автомобиля попали в выбоину, и он перевернулся. Она и ее спутники были тяжело ранены. Свидетели катастрофы доставили их в ближайший городок. Там в больнице для белых наотрез отказали в помощи неграм, и истекающих кровью жертв

катастрофы отвезли на окраину, в лачугу негритянки, где белые врачи их осмотрели, но без тех инструментов и обезболивающих средств, которые нашлись бы в больнице. Студент, пострадавший меньше остальных, сумел найти телефон, позвонил в ближайший город, где была негритянская больница, и попросил прислать за ними машину «скорой помощи». Поздно вечером машина пришла, но по дороге в больницу Джульетта Деррикот умерла. Америка потеряла одну из самых талантливых представительниц молодого негритянского поколения. Если бы белая больница не отказалась принять жертв автомобильной катастрофы только потому, что они были черными, Джульетта Деррикот осталась бы жива.

В тот же день в Бирмингеме (штат Алабама) молодой учитель, выпускник Хэмптоновского института, был до смерти избит белой толпой — линчеван в разгаре дня на улице большого города!

Я тогда как раз читал лекции в Хэмптоновском институте, одном из крупнейших и известнейших учебных заведений для негров на Юге. Студенты, узнав об обстоятельствах смерти Джульетты Деррикот и о линчевании в Бирмингеме, вне себя от горя и возмущения решили организовать митинг протеста. Меня попросили выступить на митинге и помочь в составлении телеграммы в газеты. Однако план студентов вскоре стал известен ректору, и, когда организационный комитет собрался вечером, чтобы все окончательно обсудить, туда явился представитель ректора. Этот преподаватель-негр тотчас вылил на присутствующих ушат ледяной воды. Он сказал, что, возможно, газетные сообщения о смерти Джульетты Деррикот неверны и сначала следует навести справки. Но если даже и так — достаточно будет написать соболезнующее письмо ее родителям, а никаких митингов устраивать не следует. «Хэмптон,— сказал он,— не протестует. У нас в словаре этого слова нет. Мы действуем медленно, спокойно и осмотрительно».

И студенты не решились привести свой план в исполнение. Они понимали, что их исключат и никуда больше им поступить не удастся: их занесут в черный список как смутьянов и агитаторов.

Что же представляет собой этот Хэмптоновский институт, где смиренные преподаватели воспитывают бесхребетных студентов? Ну, конечно, это религиозное учебное заведение, существующее на средства богатых и «добросердечных» белых капиталистов, которые не возражают, чтобы

чёрные дети учились в школе для черных — но не в бесплатной государственной школе для белых. Пусть черные учатся работать, но не протестовать.

Такие благотворительные доллары порождают проповедников, молитвы и духовные песнопения. Большинство директоров негритянских учебных заведений — священники, и образование в основном посит религиозный характер.

Почему же такие филантропические школы и колледжи для черных играют столь ведущую роль? Очень просто. В южных хлопковых областях система бесплатного государственного образования на негров почти не распространяется. В большинстве южных городов школы для белых размещаются в прекрасных новых зданиях, а негритянские — ютятся в ветхих развалах, причем высших учебных заведений для негров во многих штатах просто не существует. При такой дискриминации ребенку с черной кожей нелегко получить даже начальное образование. Во многих районах без религиозных благотворительных школ большинство негритянских детей оставались бы вообще неграмотными.

В Казахстане и Туркестане до революции дети местного населения были полностью неграмотными. Условия были даже хуже, чем теперь в Алабаме. В кельях мусульманских медресе изучались только религиозные дисциплины, основным учебником был Коран, а целью обучения — познание бога. Но и этому учили только мальчиков, девочки же и женщины были обречены на полиую неграмотность.

Теперь, разумеется, в советской Средней Азии все это изменилось. Но иностранца, приезжающего в Узбекистан или Туркмению, поражают даже не столько сами перемены — они известны всему миру, — а быстрота, с которой они произошли. Новая система образования была введена менее чем за десять лет — не просто введена, но дает поразительные результаты. Уже есть много местных учителей, специалистов с дипломами высших учебных заведений. Неграмотность заметно сократилась не только среди детей, но и среди взрослых. Кельи медресе опустели, а классы государственных школ переполнены. Выходят книги и учебники, напечатанные на новом алфавите. Уже для подрастающего поколения Аллах — только легенда. Коран забыт.

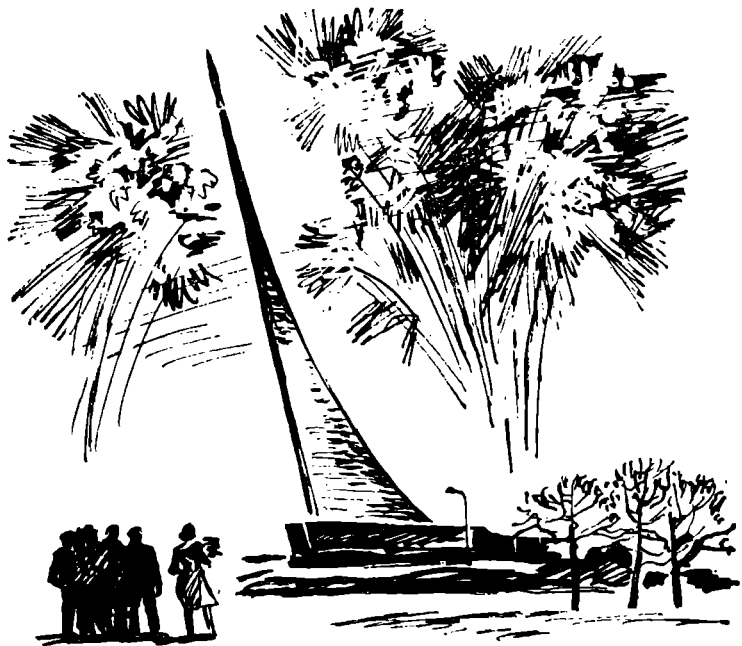
В течение нескольких недель я посещал учебные заведения Ашхабада и окрестных селений. Я познакомился со многими учителями, студентами, школьниками. Как не по-

хож духовный мир советского студента на духовный мир его американского сверстника! У нас студенты в большинстве разговаривают только о футболе и вообще о спорте. Здесь, в Туркмении, студенты увлеченно обсуждали общий прогресс жизни в годы первой пятилетки, развитие литературы при Советской власти, планы империалистов за рубежом. Здесь, в далекой Азии, студенты задавали мне умные и острые вопросы о том, что происходит во Франции, на Кубе, в Мексике и других странах, где мне довелось побывать. Им хотелось узнать побольше о жизни студентов в Америке. Я говорил с ними по-английски, затем мои слова переводились на русский, а уж с русского на туркменский. Но, несмотря на двойной перевод, нам было легко поддерживать разговор и обмениваться мнениями. Я рассказал им, как тяжело учиться в Америке беднякам, особенно если они принадлежат к национальным меньшинствам. А они в свою очередь рассказывали про свою новую жизнь и просили меня передать их революционный привет пролетарской молодежи Соединенных Штатов, которая все еще живет под гнетом капитализма, и студентам-неграм, пойманым в тиски расистской тирании, опутанным паутиной религиозной благотворительности.

Однако ученики школы-семилетки, с которыми я беседовал в другой раз, не удовлетворились лишь словесным приветствием. Они собрались на залитом солнцем дворе у школьного крыльца и принесли с собой очень красивую стенную газету на туркменском языке — они сделали ее сами и хотели, чтобы я отвез ее в далекую Америку в подарок американским пионерам.

Я никогда не забуду это море детских лиц у крыльца — желтых, коричневых, белых лиц детей Туркменской Советской Социалистической Республики, учащихся школы на краю пустыни. Я не забуду, как больше часа они расспрашивали меня о дальних странах, так не похожих на их страну, где дети рабочих голодают, мерзнут, не могут учиться, в то время как у других детей есть всё. Как же так, спрашивали они, еды много, а люди голодают? И неужели в Америке сжигают пшеницу, лишь бы не продавать ее дешево? Почему линчуют негров? И почему бастующих рабочих бросают в тюрьмы? И неужели правда, что в Америке есть электрический стул?

Когда все вопросы были заданы, вперед вышел мальчуган и вручил мне стенную газету. Потом я уехал, но еще долго слышал их звонкие голоса.



3 УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

Филип БОНОСКИ

Филип Боноски — американский писатель и публицист, литовец по национальности, родился в Дункеле близ Питтсбурга в 1916 году в семье рабочего-сталемитейщика, переселившегося из старой Литвы в поисках счастья в эту «обетованную страну» в конце прошлого века.

Детские годы писатель провел среди голых холмов Пенсильвании, в прокопченном дымом и гарью городе стали, где его отец, да и остальные члены семьи, работали на металлургическом заводе компании Моргана. Уже с двадцати лет Ф. Боноски принял участие в профсоюзном движении и стал руководителем одного из комитетов безработных. В 1941 году он, возвратившись в родной город, устраивается на тот же самый металлургический завод, где работал его отец. Именно с этого момента он начинает выступать в прогрессивной печати США. В художественно-документальной книге «Брат Билл Макки» (1953) Боноски нарисовал портрет одного из руководителей рабочего движения на заводах Форда. Его первый роман «Долина в огне» был опубликован в США в 1953 году (русский перевод: М., 1962). В центре романа — судьба семьи рабочего-литовца Вилсентаса Блуманиса, которой, как и остальным жителям долины, грозит выселение из их жалких хибарок.

Социальные романы Филипа Боноски «Долина в огне», «Волшебный папоротник» правдиво освещают картины жизни и борьбы американского рабочего класса за счастливое будущее, за социализм.

Писатель дважды — в 1959 и 1965 году — посетил Советский Союз. В книге «За пределами мифа (от Вильнюса до Ханоя)» (1967) Ф. Боноски с большой теплотой пишет о посещении Советской Литвы, рассказывая о своих личных впечатлениях об этой стране, о ее прошлом и настоящем.

Вначале Литва

Ранним литовским туманным утром мы отправились в путь и, оставив позади Вильнюс — столицу Литовской ССР, начали быстро подниматься по дороге, идущей мимо нового здания профсоюзного центра, возвышающегося над городом на вершине холма. Указатель в одну сторону показывал на Каунас, а в другую — на юг, к Друскининкаю на реке Неман, и дальше на юг, к белорусской границе и Польше.

Из Каунаса дороги уходили к Шяуляю, к Клайпедё, когда-то называвшейся Мамель, и затем к Балтийскому морю. На пятьдесят километров вытянулась в море стрелка песка, и здесь на дне моря, колеблемые подводными течениями, перекатываются трупы сотен французских солдат, которых привезли сюда, на эти безлюдные пески, как военнопленных немецкие фашисты и расстреляли. «Это вам расплата за 1875 год, — говорили они, — за Сахару...» В кустарниках свободно носятся дикие лошади. Золо-

тистый янтарь поднимается на поверхность вод, помутневших от крови.

Дальше на севере расположена Латвия, еще дальше — Эстония, за ней Ленинград и белые летние ночи севера и долгие полярные ночи зимы, а еще дальше — Финляндия и Швеция, после которых только снег и лед.

Самой отдаленной точки Литвы можно достичь на автомашине за пять-шесть часов; самолет, поднявшийся в воздух в Западной Германии, пока вы варите утренний кофе или чай, может убить вас, сбросив бомбы, прежде чем вы поднимете первую чашку к губам. Там у моря, в Паланге, чьи пляжи сверкают на летнем солнце, ваши дети обречены на смерть от бомб, сброшенных однажды летним утром, и их невинная кровь окрасит белый песок. Не останется времени даже для оплакивания...

— Вон где моя мать была убита фашистами,— сказал старый партизан,— вон в том лесу...

Однако лес ничем, ни единой уликой, не выдавал, что именно здесь была убита его мать; серо-зеленые кроны молчали о трагедии. Невозможно представить, о чем она думала, когда брела в этот лес; ведь она еще не успела привыкнуть к смерти...

Но гостю незачем стараться воскресить прошлое. Во всяком случае, в этом нет необходимости: прошлое снова с нами, ибо во Вьетнаме повторяется Литва.

Шрамы, зажившие раны и незажившие воспоминания, образы мертвых друзей детства, раскачивающихся на свирепом северном ветру, горы пепла и детской обуви, кучки золотых пломб — кто-то сделал же все это! В пяти милях от красивого городка Веймара в Германии, в конце дороги, которая вьется между сосен, они подходили к тяжелым кованым воротам, где их встречала надпись, плетенная на железе готической вязью: «Каждому своя судьба». В основании церкви захоронены Гете и Шиллер; их глаза закрылись давно. Они не видят своих потомков, тех немцев, которые, когда вы теперь говорите им, отмахиваются в ужасе:

— Нет, нет, мы ничего не знаем!.. Бухенвальд?! Нет, мы ничего не знаем... Ветер, который доносил до нас запах горящих трупов? Нет, мы не знали, что это сжигаются люди...

Если Гете и Шиллер, Бетховен и Бах были бессильны удержать руки одного немца, если бог в самом деле на стороне того, у кого самая большая пушка, то что тогда остается от немецкой души?

Но попытка понять загадку немецкой души приведет нас, совершенно неподозревающих и неподготовленных, к еще более темному, загадочному явлению — американской душе.

Между рядами рябин, что несут гроздь красных ягод на тонких ветвях, мы мчимся по дороге, которая нам почти ничего не говорит — так обманчив день, так страстно здесь люди жаждут покончить с прошлым с помощью будущего. На отдаленных печных трубах жилых домов всё так же сидят аисты в своих высоких гнездах. Когда эти птицы поднимаются в воздух и летят, вытянув назад свои длинные ноги, они мчатся по небу такие беззащитные, словно напуганные насмерть слоны, и в этой стране, где были уничтожены деревья, медведь повержен и убит, зубр вымер и исчез, — аисты каким-то чудом уцелели и будут продолжать жить столь долго, сколь времени будут рождаться младенцы. Если аисты выбрали для своего жилья какую-то печную трубу, то хозяин дома оставляет их жить там, а сам возводит рядом другой дымоход! Ибо аисты — добрая примета: они оставались после того, как немцы приходили и уходили (не только в последнюю войну, но и много веков назад). А литовцы с жадностью присматриваются ко всякому явлению, которое знает, как выжить. Ибо литовцы — это прежде всего народ, который наострил на этом виде искусства, так что они поведут вас в глухие, укромные места в темных лесах и болотах, где покажут вам то, что, видимо, является живым олицетворением их духа — большой дуб с поколениями ветвей, подобно зеленым лестницам уходящих в высокое небо. Этому дубу и тому дубу — и еще нескольким другим — насчитывается от одной до двух тысяч лет. Эти деревья свидетельствуют, они видели, они пили дождевую воду, смешанную с кровью, и они жили, сохранились!

Теперь дорога пошла вдоль полей, изрезанных словно острым ножом. Серый суглинок, а вдоль канав, словно рассыпанные бусы, лежат в пустых полях оранжевые керамические трубы — зачем они здесь нужны? Нужны, ибо по ним будут спущены стоячие болотные воды, которые затопили эту землю; солнце высушит землю, и на следующий год она будет засеена, так что приезжайте на следующий год, скажут вам, и эти поля, от края до края, будут колышаться словно желтое море рапсом, пшеницей, а возможно, и первыми нежными саженцами литовских яблонь. Если вам захочется отведать плодов от этих яблонь, то

постарайтесь сделать так, чтобы война обошла стороной эти сады лет пять или десять. Только тогда вам удастся вонзить зубы в зеленовато-красную кожицу сочного яблока и вкусить холодный сок, который брызнет из него вам в рот. В Литве климат плохой для выращивания многих фруктов, но яблоки здесь растут. И в числе других наиболее горьких потерь на этой войне оказались, представьте себе, яблони, и спасти их, вырастить вновь — это также дело мира.

Литовцы уже осушили тысячи акров болот и уговорили осушенную землю давать урожай. Они осушают еще тысячи акров земли. Здесь вода такой же постоянный враг, как и немцы, и вы пройдете половину сельских районов по мягкому ковру мха. Моря, озера, болота и реки, заиливающиеся и болотами растекающиеся в лесах; дождь, который льется точно там, где вы стоите, словно кто-то нарочно опрокинул ушат воды из окна в небесной тверди, находящегося как раз у вас над головой. Отсюда и изобилие змей; и язычники, что являются предками сегодняшних техников, вперивших взор в микроскопы, когда-то поклонялись змеям. Змеи и змеи — в легендах и в жизни; они свернулись в виде железных крестов, воздвигнутых на большинстве католических кафедральных соборов; монотеизм и язычество соединились в естественном и выдуманном благочестии.

Литовцы строят свои дома везде, где придется. Не только многоэтажные и многоквартирные здания, которые тянутся вдоль берегов Немана, «матери рек», в жилых массивах на окраине Вильнюса, Антакальниса и других городов, а одинокие частные дома, которые нам сейчас видны с их желтыми досками высоких, островерхих, в виде перевернутой буквы «V» крыш. На коньке крыши висят гирлянды цветов и зеленых веток. Язычество, которое некогда таилось в душе каждого литовца, даже самого набожного, снова заявляет здесь о себе; и нам, пока мы едем, будут постоянно напоминать, что Литва из всех цивилизованных наций в Европе самой последней приняла христианство, папу и Рим... Не так уже давно их предки собирались в лесу ночью и под покровом темноты и под защитой густых ветвей дубов разбрасывали пищу для бога грома Перкунаса, для молнии, солнца и луны, в то время как рядом в деревне заунывный звон колокола сельской церкви напоминал им, что Христос тоже ждет!

— Литва... Ты хочешь одним словом сказать все о Литве?.. Цветы!!!

Здесь каждый ярд земли усажен цветами. Высокие шток-розы кивают своими красными бутонами через деревянные заборы, тянутся к окнам, бутон за бутон; огромные раскрывшиеся бутоны пионов, космеи, ноготки и подсолнухи, раскинувшие свои огромные желтые, утыканые черными семечками тарелки, что, как колеса, медленно поворачиваются вслед за солнцем. Лето короткое. Но нигде в мире нет лета столь буйного, как здесь; нигде оно не ощущается так основательно, как здесь, и когда оно проходит, то художники Литвы снова напоминают вам о нем своими полотнами, которые кричат красками и потоком изливающегося солнца в те времена, когда всё, что можно увидеть из окон на улице, так это снег и дождь и холодный колышущийся туман.

Литовцы смотрят на свою сельскую природу с каким-то приятным удивлением, словно нет другой такой нигде — всегда новой; и они даже хвастаются своим суровым, неумолимым краем, ибо их глаза умеют воспринять эти нежные, внушающие любовь оттенки пейзажа, с которыми их души сроднились.

«И я до сих пор больше всего на свете люблю крохотную точку на круглой нашей планете, хотя и название-то у нее весьма прозаическое (Карейвишкой — Солдатское) и вокруг нет ничего поэтического. Под ногами глинистая, серая, вязкая, мокрая земля, потому что вечно идет дождь. И над головой сплошная серость: край моего мглистого скучно-серого неба упирается в зеленоватый отсвет Балтики. Поэтому с дождем здесь встречаешься повседневно, как с хлебом насущным. Дождь прямо-таки опутал своими сетями этот уголок земли. Уж не потому ли, пошутил кто-то, Литва и называется Литвой, что тут так часто льет? Наверное, все-таки не поэтому. Но душе человеческой здесь гораздо спокойнее: как птица в клетке, бьется она, трепещет, рвется сквозь мглистую непогоду, сквозь сеть дождя, сквозь толщу набухших влагой туч — к солнцу. И это очень важная этнографическая черта литовского характера. Нет, не встретил я в мире уголка лучшего, нежели этот дождливый серый берег Кройи».

Так говорит поэт Эдуардас Межелайтис о тех вещах, которые глаза других не заметят. Мили голубовато-зеленых сосен могут вызвать скуку. Кучи песка, нагроможден-

ные муравьями, сродни дороге. Бесконечно тянется небо. Мотор гудит. Глаза, пресыщенные водоемами, со стоящими в них цаплями, стаями грачей на верхушках деревьев и глубокими лесопосадками непрерывных сосен вперемежку с нежными белыми березами, не замечают в пейзаже каменных препятствий, которые слились с природой и тем не менее не являются природными.

Это памятники безвременно погибшим.

Здесь, пока вы едете, вам напоминают, что одним холодным утром Юргис умер насильственной смертью, смертью скоропостижной прямо на этой дороге, как раз вот на этом месте, где все еще стоит сосна; его кровь вытекла здесь, его открытые глаза запечатлели в его мозгу последнюю верхушку дерева и последний отблеск неба. Кресты, стоящие вокруг того места, где он умер; его имя написано, нарисовано или высечено на камне или вырезано на дереве, и те дикари-чужеземцы, которые убили его здесь, прошли дальше, возможно к их собственной своевременной смерти, а возможно нет — возможно, они сейчас уютно отдыхают дома где-нибудь в Филадельфии, Пенсильвании или Бруклине (Нью-Йорк), голосуя на тех же самых выборах, что и я, живут, возможно, в том же самом квартале, где и я.

Вот почему я не могу смотреть на этот пейзаж безразлично. Ибо неважно, как далеко мы ушли, как глубоко мы проникли в прошлое, насколько надежно мы укрылись в цвета и звуки, нас всегда неожиданно возвращают назад к себе, и прошлое становится настоящим. Мы мчимся к Каунасу, этим поздним летним днем, наши чувства — смесь дремоты и ужаса; но это о Нью-Йорке я думаю сейчас, и о тех литовцах, которые приехали в мою страну, которые осмелились приехать в мою страну, к Джефферсону и Линкольну, к Тому Пейну и Уолту Уитмену, чтобы своими не отмытыми от крови руками осмелиться есть хлеб нашего народа.

ПОМНИ!
Прошу Время
остановиться!
ПОМНИ!
О тех, кто
никогда
не вернется.
ПОМНИ!

Эти страшные слова высечены на камне в Скоудасе, на Балтике, для тех литовских фашистов, которые ждали этого дня, тайно составляя списки людей, а затем вытаскива-

ли их из домов — женщин, детей и мужчин — и забивали их насмерть. Нет необходимости вспоминать подробности, хотя никто из нас не заслужил права на жалость. Еще более ужасным, чем эти убийства, — намного более ужасным — является то, что произошло дальше. Убийцы бежали — и если они бежали на Запад, то их преследовали литовские солдаты до самого Берлина, так что они бежали еще дальше, в Западную Германию, а некоторые убежали еще дальше... в Америку!

Статуя Свободы, что возвышается в Нью-Йоркском заливе с высоко поднятым факелом свободы, взывая к миру словами: «Дайте мне ваши сбившиеся в кучу народные массы, стремящиеся дышать свободно», никогда не думала и не гадала дожить до такого дня, чтобы увидеть этих убийц, проходящих под ее факелом; убийц, которые вышибали зубы с золотыми коронками у своих жертв, переплавляли их в золотые слитки, и кто знает, может как раз в эту минуту тайно, спрятав под своим плащом, проносят это окровавленное золото через таможеню.

— Коммунизм!.. Коммунизм!.. — вопят они. — Я убивал коммунистов...

И эти слова явились тем волшебным заклинанием, что открыло им настежь ворота, которые были закрыты перед Пикассо, Шоном О'Кейси или Жан-Полем Сартром; которые с треском захлопнулись перед Томасом Манном, Гансом Эйслером, Бертольдом Брехтом и Чарли Чаплином.

Что за величайший ужас!

Убийцы же нашли норку, куда бы спрятаться, скрыться от изводящих их воспоминаний о совершенных ими убийствах. И главное, они сменили фамилии, как это сделал, например, Лойнгинас Янкаускас. В Литве он называл себя священником, но основным его занятием было убийство. В Америке он свое имя «американизировал» и переделал в «Джанкус», и живет, или жил во всяком случае, в Бруклине, и продолжает ту же самую священническую работу, которой занимался у себя на родине. И безусловно (если он получил право американского гражданства) он наверняка голосует за конгрессменку Эдну Ф. Келли из Бруклина, — она является председателем комитета по делам «порабощенных народов» и должна что-то делать насчет таких народов, и потому ищет совета как раз у таких, как Янкаускас, специалистов¹.

¹ «Я разрешаю вам стрелять насмерть!» — недавно приказала она бруклинской полиции — стрелять в негров, устраивающих демонстра-

Я буду разговаривать со многими священниками, пока нахожусь в Литве. Не останется никого, кто произнесет имя этого человека без отвращения. Однако таких Янка-ускасов много, и священная клятва, которая также была дана американцами, что эти преступники будут выслежены даже на «краю земли», нарушается не раз и не два, а много-много раз.

Когда мои родители приехали в Америку в конце прошлого столетия, то они это сделали для того, чтобы убежать от гнета, страданий и нищеты. Но литовские фашисты, что приехали в Америку после 1945 года, приехали, чтобы убежать от:

Панериш— где они убили сто тысяч человек и истолкли их кости в порошок;

Девятого форта, в Каунасе, где они убили восемьдесят тысяч человек — мужчин, женщин и детей — и превратили их кости в пепел;

Алитуса, Ново Вильни, Капсукаса, Шяуляя, Жагаре и вот этого места нашей поездки, где сосны взмыли вверх. Здесь они также убили...

Сегодня, устроившись поуютней в своих квартирах в Америке, они смотрят по телевизору картины войны во Вьетнаме и злорадствуют, услышав сообщения о новых смертях, число которых растет и сообщения о которых передаются каждый вечер, подобно бейсбольным матчам. Они говорят друг другу, потрясенные американским умением:

«Мы были достаточно умелы в этом; немцы умели лучше нас, но эти американцы — вот кто действительно знает, как это надо делать!»

Перед моими глазами длинной извивающейся лентой отчаяния проходит армия убитых, поэтому я отклоняю любую мольбу, любую просьбу убийц забыть и простить. Моя священная обязанность как человека, который уцелел в этом столетии, взглянуть широко открытыми глазами, изучить и понять, что случилось, и самое главное — почему случилось! Ибо война еще далеко не окончена. Смерть продолжает свою работу. Это об Америке, вот о ком я думаю, и о той, другой стране, которую Америка вновь и вновь распинает. Вытянувшаяся, как кривая турецкая саб-

ции против ужасных условий жизни в трущобах, — тем самым доказав, что ее ненависть к демократии не ограничивается народами «порабощенных стран», но по сути логически распространяется на ее собственный народ, ее собственных избирателей. (Прим. автора.)

ля, эта страна день и ночь принимает град бомб на свое израненное тело, а там также живут мужчины и женщины, в чьи глаза я смотрел и чьи губы я целовал, сердца которых, я слышал, бьются в унисон с моим собственным.
Это Вьетнам!

Расскажите им правду

— Просто расскажите им правду,— сказал мне старый партизан.— Мы покажем вам нашу страну. Поедем, куда вы хотите. Вы можете расспросить кого хотите. Говорить с кем вам будет угодно... Не позволяйте им отделяться вежливыми или ничего не значащими ответами. Настаивайте на правде, но и сами расскажите правду, какая бы она ни была. Мы не боимся этого...

Маленькая девочка из города Шяуляя, в красном галстук пионера стоявшая среди дюжины других девочек, которые завалили меня цветами, продекламировала мне стихи:

Дорогой гость!
Ты приехал навестить нас,
в нашу страну, где твой
отец и мать жили когда-то.

Когда ты вернешься назад,
расскажи всем, что мы живем хорошо,
что мы не боимся ни работать,
ни учиться
и что мы радостно поем песни.

Они сочинили это стихотворение, эти дети. «Расскажите им... расскажите...»

— У вас сохранилась трогательная вера в правду,— заметил я своему другу.

— А вам разрешат рассказать правду?

— Да, как в сумасшедшем доме. Там тоже можно болтать правду, но кто вправе это признать? Один набор слов исключает другой, а бомбы тем временем продолжают падать.

— Тем не менее ваша обязанность остаться нормальным...

Они глубоко верили в правду и разум, те, кого я встретил здесь, кто пережил самое большое нашествие лжи и безумия, какое только когда-либо пришлось перенести миру. Вчера их преследовали, как диких зверей, бегающих из

одной норы в другую в поисках спасения, а за несколько лет до этого они сидели в тюрьмах Сметоны, их имена и личности подвергались уничтожению в печати, а иногда и буквально...

И тем не менее они всё еще верят в правду и разум!

— В 1935 году я сидел в тюрьме «Девятый форт» в Каунасе.

И это тридцать лет назад, а потом семьсот тысяч трупов.

В 1940 году Юстас Палеускис, тогда первый президент Литвы, а впоследствии председатель Совета Национальностей всего Советского Союза, ликуяюще сообщал репортеру газеты:

— Литовская дорога к социализму мирная и легкая...

Но вот прошел год, и началась смерть в бесчисленном множестве.

— Беда в том,— сказал мой друг,— что, хотя наша дорога была легкой и мирной, мы недооценили наших врагов. Мы так увлеклись строительством красивого здания, что просмотрели крыс в его подвалах...— Он горестно пожал плечами.— Или, точнее, мы считали, что они теперь безвредны. Мы даже верили, что наши враги, как только они увидят наши достижения, перейдут на нашу сторону...

— И они перешли?

— Некоторые... Но не хватило времени. Между 1940 годом, когда мы превратились в социалистическое государство, и тем моментом, когда началась война, был всего один год. У нас хватило времени только на то, чтобы сделать набросок мечты...

— Вы руководитель-коммунист,— заметил я.— С детства в Америке меня учили, что для коммунистов нет ничего святого, что они тратят свою жизнь на заговоры, на то, чтобы поджигать и грабить, и что вашей самой большой страстью является любовь к хаосу и разрушению. Как случилось, что так много ваших врагов ускользнуло от вашего внимания, когда вы оказались у власти?

— Сейчас объясню. Мы верили, что в них тоже есть что-то человеческое. То, видимо, была одна из самых продолжительных иллюзий,— но мы не смогли ее избежать. Вера в человеческое лежит в природе нашей марксистской философии. Мы должны верить в людей, даже в тех, кто, по-видимому, потерял человеческий облик.

— И это оказались именно те, кто был потом таким безжалостным?

— Да, те, кто видел в свободном образовании для каждого угрозу своим привилегиям, способу жизни, — они ненавидели нас. Те, кто привык владеть заводами и фабриками, кто «лишился» их для народа, — они ненавидели нас. Те, кто видел в мечтах об обществе, свободном от угнетения, где человек человеку не враг...

— Они ненавидели вас!

— Да, они ненавидели нас. Они пошли на нас, на наших детей, подобно Импулевикусу, который сейчас живет в Америке, с дымящим пистолетом...

— И потом также?

— Да, в 1950 году, когда казалось, что вместе с корейской войной вот-вот начнется третья мировая война, — тогда по вашему проекту X сюда были посланы самолетами литовские фашисты — бандиты, которых выбросили в лесах, где они сколотили банды из местного населения и начали терроризировать деревни...

— Это не мой проект X...

— И тем не менее они жгли, грабили и убивали почти пять лет. Мы боролись с ними точно так, как боролись когда-то пионеры Америки — с ружьем, висящим на плуге...

— И победили?

— Да, потому что их лозунги возвращения Литвы помещикам, попам и иностранным империалистам... не нашли отклика в сердцах людей.

— Но они говорят, что являются литовскими патриотами, которые хотят только освободить Литву от русского господства... что литовская культура и ее свобода попирается, перемолота русскими. Это правда?

— Пойдите и посмотрите сами.

— Если, как «Таймс» говорит, «Литва является нацией, которая завязла в упорной борьбе выжить или погибнуть», то наверняка это должно было сказаться сильно на самой основе народной души — на ее языке?

В моей голове пробегают ритмы литовского языка. Песни, которые моя мать когда-то мне пела, я давно забыл... или думал, что забыл, пока вдруг эти давно забытые мелодии не вернулись на крыльях музыки ко мне, и словно большое облако рассеялось, и я увидел себя снова в родном доме.

Я, словно птица со сломанными крыльями, что бежит вдоль канавы: Америка не была доброй к моему отцу с матерью, и довольно рано мы узнали, что на том языке, на котором они разговаривали на кухне нашего дома, лучше

не говорить на улице или в школе! Мы принадлежали матери только до тех пор, пока она могла нас физически удержать на своих руках. Но с того момента, как она поставила нас на подгибающиеся, как резина, ноги, мы уходили, мы становились американцами, и Америка теперь становилась нашим отцом и матерью, и мы становились детьми Америки при том условии, что мы забудем все остальное... и прежде всего песни и мечты, фольклор наших родных и близких.

Столетия Европа смотрела, как Литва умирает. Еще в свое время Иммануил Кант умолял мир, даже если сам литовский народ исчезнет, то по крайней мере спасти язык. Ибо в этом языке, словно в янтаре на дне моря, захвачены и спокойно покоятся тайны прошлого человечества, которые стоит узнать...

Однако народ отказывается умирать. Несмотря на германское нашествие в виде крестоносцев с христианским крестом, огнем и мечом, и затем, на протяжении столетий постоянные кровопускания, завершившиеся наконец самым последним нашествием, снова с крестом, но только искривленным в виде свастики, но, как и прежде, огнем и мечом... и все же народ выжил, язык сохранился и живет.

Как-то раз я сидел в темном зале в кинотеатре Вильнюса и смотрел мелькающие на экране кадры. То не красивое лицо актера поразило и взволновало меня. То была музыкальность его голоса, чудо слов, которые волной накатывались на меня с экрана (я не знал до этого разговорного литовского языка), красота языка, которой я даже представить себе не мог, ибо мои родители, оба безграмотные, никогда не поднимались до такого уровня чистоты устной речи.

Был ли хорош или плох фильм, я не знаю. Это было мое первое знакомство с трагической судьбой литовского поэта Юлиуса Янониса, с красотой его стихов, которые звучали в моих ушах, как весть из родимой сторонки, из которой я был похищен еще бессознательным младенцем. Я почувствовал, словно переделся в новую одежду. Чуть позже я пошел навестить Институт литовского языка и литературы¹ Академии наук Литовской ССР. Институт размещался во дворце, некогда принадлежавшем человеку из самого привилегированного слоя. Неподалеку от этого

¹ Здесь автор ошибается: в Академии наук Литовской ССР имеются два института: Институт литовского языка и Институт литовской литературы. (Прим. переводчика.)

дворца стоит чудесный, в стиле барокко кафедральный костел Петра и Павла. Вы проходите мимо цветов, которые этим утром были sprыснуты легким дождичком и теперь опьяняюще действуют на вас.

Иститут — мировой научно-исследовательский центр литовского языка, его литературы, его фольклора, во всех их аспектах, какие только можно представить.

Там имеется шесть основных отделов: три по лингвистике, два по литературе и один по фольклору. Здесь работают около ста филологов; это рудокопы, копающие глубоко в поисках редкого янтаря их национального прошлого. В народных песнях и преданиях уловлена вечная душа народа. Из ста работающих здесь человек шестьдесят — научные сотрудники, причем 34 — кандидаты наук. Но все эти цифры непрерывно обновляются, ибо постоянно добавляются новые сотрудники и обновляют картель филологов, который уже давно действует. Они заметно молоды, эти юные ученые-литовцы. Старые находятся или в Америке или в Западной Германии, работая наддохлым трупом литовско-американского языка, языка-эрзаца, который годен для затасканных штампов холодной войны.

Сотрудники этого института знают, что на их плечи возложена большая ответственность. Они наконец-то находятся в положении, о котором в прошлом мечтали литовские филологи, в положении, когда желание и умение записать язык, всю его письменную и устную культуру находятся в их власти. Свыше 100 тысяч рублей (около 110 тысяч долларов) каждый год выделяется на эту работу — и так на протяжении двадцати лет.

Что они сделали с этими огромными деньгами?

Литовский язык, да будет вам известно, является одним из старейших живых языков в Европе. Этот язык не только красив сам по себе, но также является живым ключом, который может быть использован для раскрытия многих загадок, все еще смущающих энтомологов, архсологов, историков и антропологов. В нем филологи ищут ключ к раскрытию многих темных мест прошлого человечества. Любая попытка вульгаризировать или исказить его будет преступлением, за которое человечество осудит должным образом.

Первый шаг любого тирана — это разрушить, прямо или косвенно, язык покоренного народа. Уничтожить его культуру. Унизить его путем унижения жизни самого народа. Здесь же процесс обратный.

Всё из прошлого, что имеет отношение к литовскому

языку и культуре, было сохранено. Так архивы 1907 года сохранены и приведены в порядок. Здесь, кроме того, создана самая большая в мире библиотека книг на литовском языке: около 65 тысяч томов. Собраны и сохранены почти 10 тысяч периодических изданий, посвященных различным сторонам литовской жизни; 28 тысяч манускриптов, 10 тысяч старых фотографий.

За годы своего существования Академия наук Литовской ССР подготовила полный «Большой словарь литовского языка». Было собрано свыше трех миллионов слов. Сюда вошли слова из классического литовского языка: они были отобраны из древних манускриптов. Словарь также включает 400 тысяч слов из различных местных диалектов Литвы. Сотни названий рек, холмов, деревень, местных явлений — все, на чем народ остановил свое внимание, чтобы поинтересоваться и поразмыслить, — слово, которое описывает это явление, — было схвачено и навсегда втиснуто между обложек словаря.

Этот огромный компендиум¹ уже в тот момент, когда я посетил Институт языка, перевалил за шестой том, а всего их, вероятно, будет по меньшей мере пятнадцать, а то и более томов. Таким образом, нация, которая утрачивала свой язык и при этом теряла многое из своего национального прошлого, как бы сказать, свою память, главные черты своей души, была как раз вовремя спасена! Ибо события быстро меняются, так что даже физически связь с прошлым быстро исчезает. Нацисты убивали не только людей, они убивали народную память так же, как убивали язык...

В Литве имеются самые большие архивы фольклора: Европа не может похвастаться хотя бы одним архивом, посвященным фольклору, который был бы таким полным и таким обширным. Здесь собрано 70 тысяч различных фольклорных единиц, которые включают в себя басни, сказки, загадки и т. д. и т. п., и если вам действительно захочется узнать, каковым было прошлое Европы, прошлое, которое своими корнями уходит к язычеству, то здесь находится разгадка.

Увлечение народным искусством, сказками и народными песнями привело к более усиленному вниманию к сохранившимся в живых народным художникам, которые в сельских районах Литвы всё еще продолжают воплощать в дереве басни и легенды народа; почти шесть тысяч народ-

¹ Компендиум — сжатое, суммарное изложение основных положений какой-либо науки. (Прим. переводчика.)

ных художников-умельцев официально признаны и занимают определенное общественное положение. Часть их работ находится на уровне высокого искусства.

Большая согласованная и хорошо организованная кампания была проведена, чтобы записать на магнитную ленту и бумагу все диалекты, которые еще сохранились в Литве. У этой нации, едва насчитывающей три миллиона человек, тем не менее существуют 705 отдельных, резко различающихся друг от друга местечек, многие из которых сохранили свои индивидуальные черты речи и свои культурные традиции. Вся страна — живой музей. Эти богатые различия, столь полные дразнящих намеков на загадки прошлого, быстро исчезают под натиском современности и быстро нивелирующего воздействия радио и в особенности телевидения — а в стране насчитывается более 250 тысяч телевизоров, и их число растет с каждым днем.

Армии топтали своими тяжелыми коваными сапогами вдоль и поперек эти земли; армии пришли и ушли, и тем не менее в разбросанных девственных уголках жизни сохранились люди, чьи воспоминания о прошлом уходят к отдаленным поколениям вплоть до начала принятия христианства, когда в Литву вторглись немецкие рыцари-крестоносцы и насильно заставили литовцев креститься. До этого периода здесь, вероятно, было последнее сохранившееся в Европе прибежище подлинного язычества, и даже сегодня следы этого очаровательного примитивизма сохранились в народном искусстве, языке и, наиболее упорно, в крошечных формах диалектов. Перкунаса, бога грома, всё еще призывают в отдаленных районах страны, чтобы он поразил громом какого-нибудь врага. Даже я, чуждый сирота-литовец, и то слышал в Америке, как моя мать восклицала: «Перкунас нутренис табе!» (Разрази тебя гром!) — в то самое время, когда я читал в своих школьных учебниках о боге индейцев Манитобе, который жил в нашем городке, и мольбах исчезающих коренных американцев, подобных мольбам, произносимым исчезающими литовцами: «Убери руки!» Но Манитоба имеет такую же маленькую реальную силу, как и Перкунас, поэтому индейцы Ленне-Ленап по прошествии 150 кровавых лет наконец успокоились в резервации в штате Оклахома, — но осталось их только 250 человек.

Гете, слушая литовские дайн¹, пронизательно заметил, что среди них нет ни одной колыбельной. И подобное

¹ Д а й н ы — литовские народные песни. (Прим. переводчика.)

действительно кажется странным, если учесть, что большинство дайн сочинялись женщинами — теми не оставившими в истории своих имен матерями, которые вставали еще до рассвета и преклоняли свои одуревшие от работы головы только ночью, вздыхая о своих многочисленных горестях. Вы напрасно будете искать во всех литовских дайнах знакомые боевые кличи, которые составляют основу народных песен других народов. В этом обычае нам слышится необычный плач женщин, которые отдали не только своих сыновей и отцов и мужей богу войны, но которые по утрам тащат своего ребенка с собой на работу и прячут его в сторонке под деревом или в стоге сена, а затем вечером несут его назад домой, снова запеленатым, как куколка, а потом, дав ему пососать грудь, укладывают спать. Тут не до колыбельной!

Совершая поездку по Жемайтии¹, по дорогам, кружащим взад-вперед по холмам и долинам, подобно ожившей волшебной сказке, среди вновь выращенных лесов (в этой древней северной стране леса во многих местах имеют всего лишь 15—20-летний возраст, и их появление означало конец войны), я столкнулся лицом к лицу с прошлым своего отца, с прошлым моей матери, хотя они приехали в Америку вовсе не из этих краев. В деревянных фигурках, прибитых к истерзанным непогодой крестам, которые стоят то там, то здесь вдоль дорог, я увидел мельком изможденные, трагические лица своих предков — они висели там, распятые навсегда, и смотрели сверху вниз на историю, омоченную кровью их сердец.

Рука народного художника, вырезавшего эти скульптуры, видела Христа в лицах изнуренных трудом крестьян, странствующих из деревни в деревню без земли и пристанища. Это свой автопортрет он вырезал и повесил здесь и назвал его «Иисус»; это свою мать он поместил рядом и назвал ее «Мария».

Среди жителей все еще сохранились мелодии и напевы, начало которых уходит к выдающемуся литовскому поэту Кристианосу Донелайтису. Рожденному в 1714 году в краю, который стал прозываться Восточной Пруссией, Донелайтису судьба предназначила стать первым великим литовским поэтом, чей гений не только сохранил чистоту и богатство языка, каким его народ знал, но поднял его до уровня высшего искусства, видимого всему миру.

¹ Жемайтия — западная часть Литвы. (Прим. переводчика.)

Литва, подобно многим малым европейским народам, расплачивается за свой малый размер: ее языком, неизвестным миру, временами даже запрещалось пользоваться самим местным жителям. Но пока Литва не стала по-настоящему свободной, у нее был Донелайтис, который действительно слился со своим народом. Существенно важно и то, что этот язык (в силу того, что он никогда не был языком для подавления и господства над другими народами — за исключением очень отдаленных времен) богат уменьшительными и совсем беден прилагательными и наречиями в превосходной степени, и только сейчас, в эпоху социалистического перевоплощения, в нем ощущается нужда, необходимость слов для выражения роста, большой величины, множественности!

Об изданиях своих произведений поэт даже не мечтал при своей жизни. Не издавались они и позднее, в буржуазное время. Сочинения Донелайтиса увидели свет в Литве в 1945 году, а затем, как птица феникс, он воскрес в созвездии других языков социалистического мира. В Вильнюсе вы увидите поэта сидящим в нише Вильнюсского университета: чуть суровое лицо настоятеля лютеранского прихода, по необходимости созданное воображением, потому что нет, не сохранилось ни одного его портрета. Однако портрет литовского крестьянина, который он нарисовал в своих стихах, существует и будет всегда существовать. В его великой поэме «Времена года», написанной им на родном литовском языке, что само по себе в те времена было актом мужества и утверждения собственного я, мы найдем литовского крестьянина середины восемнадцатого столетия — чуть ранее появления Декларации независимости в Америке. Слова Донелайтиса, которые он произносил с церковной кафедры литовским крестьянам в 1770-х годах, воспринимаются сегодняшними, живущими при социализме литовцами с болезненным чувством чего-то очень знакомого и близкого. Хотя стихи Донелайтиса описывают жизнь наших далеких предков, однако сегодняшние литовцы старшего поколения не так уж исторически далеко ушли от тех реалий, чтобы вот эти строки из его басни «Дуб-самохвал» не затронули их душевные струны:

Вы ж, бедняки-горемыки, в лаптях, в кожухах заскорузлых,
Вы, что постный борщ да едва картошку едите, —
Нищим таким, кажись, за столом господским не место,
Чести довольно им той, что у печки стоять они могут,
Да и с лаптями худыми шапочку дырявую скинуть.
Но не скорбите душой, что над вами смеется имущий.
Может, гордится брюкач толстопузый сюртуком, украденным подло,

Может, богатства его — это слезы сирот безутешных,
Вздохи несчастных вдов, ежедневно летящие к богу.

Разве не сохранился навсегда в этих словах пророческий дар души литовца? Сегодня Литва полна людей, которые еще только вчера видели литовских националистов и фашистов, важно вышагивающих в «краденых сюртуках», а золото, которое те переплавляли в слитки, было золотом, выломанным из зубов отцов и матерей-литовчанок и омочено сиротскими слезами.

Поэт, «как настоящий товарищ», разговаривал с народом не «на немецком или французском», а в простой манере, на его родном языке — литовском.

Так вот, литовцы нежно любят свой язык и свое прошлое, каким его помнит искусство. Литовцы чувствуют, что их язык имеет большое будущее. Их писатели знают об этом, думают и чувствуют на нем, исследуя его тончайшими инструментами, чтобы добиться полной выразительности, которая требуется поэту. И в самом деле, если судить по поэтическому возрождению, которое захлестнуло Литву после войны, то придется прийти к выводу, что литовский язык был в буквальном смысле вновь открыт — можно даже сказать заново рожден.

Изданный в 1595 году первый катехизис на литовском языке выражал недовольство: «Каждый из нас понимает, сколько презрения мы нагромоздили на свой собственный язык». Кант горько оплакивал грозящую языку смерть, и даже мой отец, отвечавший на письма родных в начале этого столетия (хотя и через посредство писаря) писал политовски на кириллице.

Сегодня язык очищен от иностранных слов, возможно даже чересчур. Были придуманы новые слова для замены старых, тех, что не совсем были аутентичны литовскому языку. Те литовцы, которые покинули Литву много лет назад, вернувшись на родину, найдут, что они с запинкой говорят на своем родном языке. За годы, что они провели в Америке, язык, сохранившийся в их памяти, был испорчен американизмами, причем тот прежний литовский язык, который они привезли с собой в Новый Свет, перестал, пересаженный на чужую почву, расти и развиваться, и литовцы вернулись в родную страну наполовину косноязычными. Так, первые вернувшиеся американские литовцы поразили своих односельчан, хвастая тем, что они очень любят войну! В о й н у?! Казалось, самое худшее, что когда-либо говорилось об этих американцах, теперь получило подтверждение. Понимаете? Они любят войну!.. Однако

это автомашины — легковые автомашины — вот что они в действительности любили! Они не знали на современном литовском языке нужного слова для легковых автомашин, поэтому переименовали на литовский манер английское слово «кар», добавив окончание «ас» и произнося его очень похоже на «карас», что по-литовски значит «война».

Современный литовский язык живет и развивается и знает различие между войной и легкой автомашиной. Он постоянно расширяется и обогащается, ибо теперь литовцы говорят не о стране болот и топей, непроходимых лесов и не о крестьянском горе. Сейчас язык должен быть достаточно разнообразным и столь же гибким, творческим, с большим запасом слов, чтобы описать большие изменения, которые произошли не только за последние четверть века, но которые уже изменили мир. Теперь литовцы говорят о динамо-машинах, космонавтах и космических путешествиях, математических теориях вероятности, о различных концепциях физики, о которых каких-нибудь тридцать пять лет назад понятия (не говоря уже о словах) не имели за исключением разве только особо передовых людей.

Академия наук Литовской ССР уже собрала 265 тысяч песен и 42 тысячи напевов. Она также составила «Граматику литовского языка» в трех томах, в которых весь язык был исследован по его синтаксической структуре, эволюции, которую он прошел, тонкостям его развития и расширения. На основании этого исследования проясняются не только загадки литовского языка, но также отыскиваются ключи к истории литовского народа, а следовательно всех других народов. Эта работа явится (да уже является) существенным вкладом в мировую науку, в продолжающийся поиск самих себя...

Еще в I веке до н. э. Тацит сообщал, что литовцы «корошие труженики и собиратели янтаря». Насекомые, листья, римские монеты (такие подарки и безмолвные сообщения из предыстории человечества, захваченные сосновой живицей, затонули в глубоком море и затвердели в янтаре) только теперь достаются со дна морского, очищаются от морских водорослей, а их тысячелетней давности секреты читаются и расшифровываются. Что за время, какой древний народ? Следовательно, о нас?

Третья главная задача Академии наук Литовской ССР — это составить и издать огромную историю литовской литературы — работа, которая уже сильно продвинулась вперед и явится долговременным вкладом в миро-

вую культуру. Что тогда остается от злобного обвинения, выдвинутого в конгрессе Соединенных Штатов Америки, что «литература и искусства прибалтийских государств находятся под безжалостным гнетом, чтобы прекратить их существование как независимой части духовной жизни оккупированных стран»?..

Четвертой главной задачей Академии наук Литовской ССР является составление пятитомного собрания литовского фольклора. Подобные планы имеются только в нескольких странах мира. Более четверти миллиона песен, почти сорок тысяч мелодий уже собраны и каталогизированы. Это крупное достижение гуманитарных наук и научных исследований само по себе представляет целый эпос; ибо это была в буквальном смысле спасательная экспедиция, которая сумела вырвать из забвения каждый звук народного существования, его радости и печали, олицетворение его души. Систематически записываются народные сказки и народные рассказы и басни, чтобы затем их опубликовать. В общем, социализм вмешался вовремя, отпустив наличные деньги и дав подготовленный персонал — «бранные» и невозпроизводимые черты прошлого были «пойманы» и навсегда сохранены.

Такое величественное по своим масштабам предприятие, представляющее гигантский труд, не может быть делом народа, находящегося на грани вымирания (которое предвидится или уже началось), в период ущемления его культуры, удушения его родного языка и его национального сознания, как враги сегодняшней Литвы так настойчиво и злобно утверждают. Своей клеветой, словно занавесом, закрыли они от нас остальные факты об этом важном деле, а это уже преступление.

Истина заключается в том, что вклад литовцев в мировые филологические исследования является важным вкладом, — вкладом, мне так и хочется сказать, ключевым. Во всяком случае, без него не только сама Литва стала бы значительно беднее, но беднее стал бы мир. В этом смысле литовская филология помогает миру вновь приобрести часть знаний о самом себе через посредство изучения своего прошлого, и, если понимать прошлое означает отчасти управлять собственным будущим, тогда это своего рода подлинный вклад в тот великий идеал всеобщего самопознания, ради которого мир так мучительно борется.

Филологи всего мира знакомы с литовскими монографиями и публикациями в этой области. Но те ученые-академики, которые проводят свою жизнь в библиотеках и

университетах,— это не воинственные крестоносцы, готовые бороться против политиканов, что распространяют мифы об «угнетенных нациях» по мановению дирижерской палочки конгресса США.

Литовский язык в Литве не уничтожается. Этот язык возрожден и развивается. За двадцать лет, прошедших с 1945 года, литовское государственное издательство «Вага» опубликовало 4145 наименований различных книг общим тиражом 50 миллионов экземпляров. В одном только 1965 году издано две тысячи наименований книг при тираже 14 миллионов экземпляров, что на два миллиона больше, чем в 1964 году. Для нации, население которой не превышает трех миллионов человек, получается по 4—5 книг на душу в год, а это значительно превосходит даже американские масштабы.

Соединенные Штаты Америки — вот кто разрушает литовский язык. Сотни тысяч литовцев, которые уехали в Америку за последние сто лет, почти утонули в жидкой трясине, на которой вряд ли даже след появится о том, что они когда-то существовали.

И я, я хожу подобно чибису со сломанными крыльями, я, сын родителей, которые могли хотя бы разговаривать на литовском языке, я могу произнести только жалкие несколько слов на своем родном языке. И пока я не приехал в Литву, я никак не мог понять маленькой детской шуточной песенки, которую мать моя обычно говаривала нам, загадочно посмеиваясь...

Альберт КАН

Альберт Кан — известный американский писатель и публицист, автор книг «Тайная война против России», «Измена родине», «Игра со смертью», книги очерков «Меняющийся мир», а также других произведений, хорошо известных советскому читателю.

Я побывал в Советском Союзе

Эти строки я пишу в самолете, на котором возвращаюсь домой после первой моей поездки в Советский Союз. Позади уже тысячи миль сверкающего под солнцем Атлантического океана, а сейчас в безоблачном зимнем небе мы летим над землей Среднего Запада: заснеженные поля, пересеченные жилами рек и линейками дорог, темные пятна лесов, миниатюрные, созданные человеческими руками муравейники городов, ползающие черные точки автомашин, солнечные блики на крышах фермерских домиков...

Еще тысяча миль — и перед моим взором возникнут гигантские хребты Скалистых гор, их остроконечные вершины, как всегда, в белом снежном уборе, а спустя три часа — Сан-Франциско, этот редкостный город-жемчужина над голубой кромкой Тихого океана. Отсюда всего пятьдесят миль до моего дома, до зеленой Лунной долины, где жил когда-то Джек Лондон.

Когда истек первый месяц моего пребывания в Советском Союзе, я писал Рите, моей жене:

«Я, кажется, уже целую вечность в отъезде. Увидел ли я все, что хотел здесь увидеть, сделал ли все, что хотел сделать, изучил ли все, что хотел изучить? О нет! Я мог бы пробыть здесь еще месяц, год, всю жизнь и все равно не смог бы увидеть, охватить и изучить все. Мне кажется, что я никогда не был так счастлив, как сейчас!.. И если я говорю, что целая вечность прошла с тех пор, как уехал от вас, то это только потому, что я соскучился по тебе, по мальчикам, что мне недостает наших лесистых холмов, фруктовых садов, виноградников...»

Да, конечно, я буду счастлив опять очутиться дома. Но я знаю, что буду испытывать противоречивое чувство. Наслаждаясь близостью с семьей, я в то же время буду ощущать одиночество: мне будет недоставать той земли и тех людей, которые остались там, позади! Мне будет недоставать Советского Союза.

Как рассказать о том, что значило для меня это время, проведенное в Советской стране? Как выразить это словами? Простой и благородный образ Советской страны стоит у меня перед глазами, мозг и сердце полны им, но слова... их еще нет...

«Бывают ли у меня моменты отдыха, спокойных размышлений? — писал я домой еще раньше, через неделю после приезда в Советский Союз.— Должен сказать, не часто. Одно сильное волнение сменяется другим, за одним потрясающим открытием следует новое. Как же я могу отдыхать, быть спокойным?» Это письмо я начал еще в самый день приезда в Москву, надеясь кончить его тогда же вечером. Но столько ярких впечатлений обступило меня, такая жажда охватила все записать, что прошла неделя, а письмо не было окончено, а уже тогда в нем было шесть тысяч слов!

«Честное слово,— писал я,— если я попытаюсь докончить это письмо, то приеду домой раньше, чем допишу его. Поэтому я останавливаюсь на середине и посылаю его так, как есть!»

Еще в ранней юности, когда я только начинал сознательно глядеть на мир, меня глубоко интересовали и волновали достижения Советского государства. Я много читал о Советском Союзе и писал о нем. И все-таки, вступив на землю Москвы, я не переставал удивляться чудесам, которые встречали меня на каждом шагу. Воображенно — слабый инструмент в сравнении с опытом. Некоторые вещи надо, так сказать, ощущать руками.

Вскоре я заметил, что многое из того, что мне казалось потрясающим и выдающимся, советские люди воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Явления, поражавшие меня своей значительностью, для них были обычными, как воздух, которым они дышат.

Конечно, самое большое «чудо» для всякого приехавшего сюда из-за рубежа — это вот так, вдруг, очутиться в обществе, посвятившем себя счастью и благополучию человека, расцвету всех его творческих способностей. Если попытаться сформулировать самое главное, то можно сказать, что советский строй — это социальное выражение

любви и уважения к Человеку. Все остальные «чудеса» в конечном счете лишь отражение этого основного, высшего «чуда».

Среди всех моих ощущений я должен выделить ощущение гигантского размаха всей материальной и духовной жизни Советского Союза.

...Я возвращался с Красной площади после празднования 7 Ноября. Впереди меня медленно двигался в толпе арабский поэт в своем живописном, падающем широкими складками халате и бурнусе. Зоркие глаза нескольких русских малышей заметили араба. Они бросились к нему, уцепились за рукава, прижались к нему. Араб обнял ребятшек, и они все вместе медленно двинулись дальше. Малыши резвились вокруг сына далеких пустынь и что-то взволнованно щебетали, как стайка птиц... Я знаю, что советским людям все это привычно. Но для меня, приехавшего из другого мира, это показалось поистине прекрасным откровением. Если бы этот самый человек с темной кожей появился в одном из городов Америки, дети едва ли встретили бы его так приветливо. А взрослые стали бы глумиться над ним и запретили бы обедать в одном ресторане с белыми людьми. Впрочем, американские дети от рождения не больше склонны к расовым предрассудкам, чем дети Советского Союза, но — увы! — со временем они впитывают в себя дурные обычаи, которые их окружают.

А вот и еще один случай. Однажды вечером я уже совсем собрался в театр, но заметил, что в одном из залов гостиницы «Украина» готовится какое-то празднество. Мое любопытство было вызвано тем, что все участники вечера были служащими гостиницы: официантки, официанты, горничные, повара, швейцары, работники гостиничной администрации. Они собрались, как мне объяснили, отпраздновать близившуюся годовщину Октябрьской революции. Я очень люблю театр, но этот домашний праздник служащих «Украины», признаюсь, привлекал меня гораздо больше. Я попросил разрешения присутствовать на празднике и был принят очень тепло и радушно. Я с волнением наблюдал, как этим скромным труженикам одному за другим объявляли благодарность за хорошую работу в течение года. Потом был концерт: музыкальные, сатирические номера, декламация стихов. Все это исполняли — и часто с большим талантом — те же повара, официанты, швейцары. И наконец явился оркестр, длинные ряды стульев были сдвинуты в стороны, и остаток вечера прошел в танцах.

Самим участникам этого вечера он не показался чем-то особо выдающимся, хотя все непринужденно веселились, чувствуя себя на своем, хорошем празднике. Такие вечера проходили по всей Москве. Но меня преследовала неотвязная мысль: в какой гостинице моей страны мог бы я увидеть такой вечер? Мог ли бы я пережить там это незабываемое ощущение спокойной уверенности группы скромных служащих, что их гостиница, как и вся страна, принадлежит им?

И третий случай. Во Дворце спорта шел хоккейный матч между советской и канадской командами. Во время перерыва я заговорил с тремя юношами через переводчика. Все они оказались молодыми рабочими: одному было девятнадцать, двум другим — по двадцать лет. Я спросил, интересуются ли они литературой. Девятнадцатилетний подумал, потом сказал:

— Литературой? Не сказал бы, что очень... Вот хоккей — тут я «болею» вовсю!

Как выяснилось, он к тому же вратарь в заводской команде. Поспорил немного о хоккее. Но потом я все-таки попросил моих собеседников назвать хотя бы нескольких писателей, которые им нравятся. Молодой человек, «не интересующийся» литературой, сказал, что ему нравятся Лев Толстой, Гоголь, Достоевский, Шолохов, Маяковский, Эренбург. Его приятели назвали не менее десятка выдающихся имен.

— Еще Горького забыли, — застенчиво вставил младший.

И тут произошло нечто неожиданное: «малоинтересующиеся» литературой юноши, узнав, что я американец, стали наперебой говорить о Теодоре Драйзере, Джеке Лондоне, Марке Твене...

Право, объехав много стран, я нигде не встречал таких начитанных людей, как в Советском Союзе, и, главное, так близко принимающих к сердцу и так глубоко уважающих литературу и писателей...

Я мог бы исписать еще много страниц, только перечисляя все то примечательное, что увидел в этом новом мире...

Хочу ли я сказать, что повидал страну, напоминающую некую отвлеченную, совершенную Утопию? Конечно, нет! Я не мечтатель, прикованный мыслью к звездам, и я не закрывал глаз на недостатки, трудности и препятствия, которые преодолевают и еще должны будут преодолеть советские люди. Да, я видел в Москве дома, архитектура которых удивила меня витиеватостью и непрактичностью.

Я заметил нескольких пьяных молодых людей, которые плохо вели себя в общественных местах. Я столкнулся со случаями волокиты и формализма в учреждениях. Я видел, что еще не ликвидированы многие пережитки прошлого в сознании людей, как и многие нехватки в быту.

Я упоминаю все это вовсе не потому, что придаю особо важное значение моим критическим замечаниям. Советские люди знают об этих проблемах и разрешат их и без моего совета. Я говорю об этом потому, чтобы еще раз отметить, что я не искал и не нашел «совершенства». Но в основном я рассказал о «чудесах», и это потому, что прекрасное и чудесное преобладает здесь над всем остальным.

Более тридцати лет назад американский журналист Линкольн Стеффенс заявил, посетив Советский Союз: «Я увидел будущее, и оно уже в действии». Сейчас уже можно сказать, что будущее стало в Советской стране настоящим. И оно не только действует — оно сияет на весь мир, как высшее свершение Человека.

Нужен другой словарь!

Когда в прошлом году я приехал в первый раз в Советский Союз, меня поразило количество людей, которые бегло говорили по-английски; сравнивая себя с ними, я чувствовал себя порядочным невеждой. Полдюжины русских слов — вот и все, что я знал по-русски. Два из них были: «манная каша». Эти слова я запомнил довольно легко, потому что, прибыв из капиталистического общества, я легко фонетически связать эти русские слова с английскими «мани кэш» («деньги наличные»). Манная каша не позволяла мне худеть, но и никак не способствовала развитию моих лингвистических способностей. И тогда я дал себе торжественное обещание, что, когда я приеду сюда в следующий раз, мое знакомство с русским языком будет значительно шире. Но, увы, как сказал поэт Роберт Бернс, самые лучшие намерения мышей и людей часто остаются втуне. Зимние дожди пролились над холмами Лунной долины; весна прошла по виноградникам и садам; потом я уже следил, как мои сыновья играют в бейсбол под жарким солнцем. И прежде чем я осознал бег времени, я уже снова упаковывал чемоданы, чтобы ехать в Москву; и снова в моем распоряжении были те же полдюжины русских слов, включая «манную кашу».

Ну хорошо, сказал я себе, я как-нибудь выберусь из этой сложной ситуации, достану небольшой словарик и прилежно изучу его по пути в СССР. К моей огромной радости, в книжном магазине я нашел книжечку-разговорник, озаглавленную «Скажите это по-русски», которая очень удобно умещалась в моем кармане. В трансатлантический реактивный самолет я входил, чувствуя себя почти так же уверенно, как переводчик Организации Объединенных Наций. Подождите, думал я, дайте мне только добраться до Москвы! Не раз москвичам придется широко открывать глаза от изумления!

Но открывать глаза от изумления пришлось мне. Читая как-то мою маленькую книжечку-разговорник, я наткнулся на такие вещи, которые оказались совершенно не подходящими к моим задачам. Иными словами, я чувствовал, что, если я приеду в Москву, тщательно заучив их, и произнесу все это, ступив на советскую землю, меня, наверное, вежливо попросят занять место в самолете, идущем обратно, или по крайней мере мои советские друзья решат, что я несколько помешался рассудком. Вот фразы и слова, которые я прочел в фонетической транскрипции: «У меня украли!», «Помогите!», «Пожар!», «Воры!», «Будьте осторожны!», «Позовите, пожалуйста, милиционера!», «Уходите!».

Боже мой, сказал я себе, запас слов такого рода не поможет мне приобрести новых друзей и даже сможет восстановить против меня тех, которых я уже приобрел. Я перевернул страницу. В разделе, озаглавленном «Таможня», я прочел следующее: «Должен ли я всё открыть?», «Я не могу этого открыть», «Двух чемоданов не хватает», «Я приехал по делам». Поскольку я ехал не «по делам», в Советском Союзе у меня никогда не пропадали чемоданы и я не ожидал никаких препятствий со стороны советских таможенных властей, в предыдущей поездке меня даже не попросили открыть мои чемоданы, совсем наоборот случилось, когда я возвращался в США,— я решил, что и эти фразы не представляют для меня большой ценности.

Я стал смотреть дальше. В разделе «На пароходе» я обнаружил: «У меня морская болезнь». В разделе «Помощь на дороге»: «У меня в автомобиле произошла поломка», «Он попал в канаву». В разделе «Магазины»: «Это слишком дорого», «Покажите мне что-нибудь другое». В разделе «Ресторан»: «Это пережарено», «Уберите это, пожалуйста» и «В счете ошибка».

Очевидно, создатель моего разговорника намеревался подготовить меня к бесконечной цепи крушений, препятствий и несчастий в Советском Союзе. Я же намеревался очень хорошо провести там свое время. В интересах истины следует сказать, что в разговорнике я нашел одну полезную фразу: «Я хочу сидеть в тени!» Но я знал, что ее едва ли придется употребить в Москве, где температура стояла ниже нуля...

В конце концов я заметил русскую фразу, которая, как я был уверен, будет чрезвычайно полезна для меня, потому что, бросив на нее взгляд, я увидел в ней свое собственное имя. Выраженная английскими буквами, она выглядела так: «Где американское консульство?»

Конечно, я не оцениваю эту маленькую книжечку целиком. Вообще говоря, в ней есть полезные выражения, относящиеся к прогулкам, приветствиям, театрам, операм и т. д. Но, однако, разговорник не выполняет своего обещания, данного на его обложке: «Удовлетворить все нужды во время путешествия». Например, в этой книжечке нет упоминания о словах «мир» и «дружба». А я могу поручиться, что эти слова — самые полезные для американца, путешествующего по Советскому Союзу. В этой стране «мир» и «дружба», наверное, самые употребительные слова.

Я всерьез думаю, что составители разговорника для путешественников по СССР могли бы взять несколько полезных уроков у многих простых американцев, которые никогда даже не выезжали за пределы США... Но грамматика и произношение — это не самые важные вещи сейчас. Важен разговор на всем понятном языке человеческих сердец.

Большой балет

Еще задолго до начала гастролей балета Большого театра в Нью-Йорке начали появляться признаки необычайного интереса, с которым ждали этих гастролей. Когда стали известны первые неофициальные планы этого визита, сотни заказов на балет посыпались к импресарию Солу Юроку, который, как сообщалось, будет организатором поездки советских артистов в США. А когда об этой поездке заговорили определенно, требования на билеты стали нарастать, как волны прибоя. После приезда прославленной балетной труппы газеты всей страны печатали статьи о балете Большого театра. Радио и телевидение заполняли

этим же эфир. Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» расценила приезд балета как «историческое событие». Балетный критик «Нью-Йорк таймс» Джон Мартин накануне первого спектакля коротко написал: «Есть ли кто-нибудь из живых, кто не знает, что представления балета начинаются в четверг в «Метрополитен опера»?»

Все места были проданы на все двадцать семь представлений, которые должны были состояться в «Метрополитен опера»: людям, обладавшим пятнадцатидолларовыми билетами в партер, предлагали по сто долларов за билет. Тогда Юрок объявил, что будут даны дополнительно пять представлений в Мэддисон-сквер Гарден. Это означало, что еще сто тысяч человек в Нью-Йорке смогут увидеть балет Большого театра. Но насколько мало это было для того, чтобы удовлетворить требования на билеты, показывали слова Юрока, который сообщил, что он уже получил три миллиона заказов! «Если бы,— писал Мартин в «Нью-Йорк таймс»,— балет мог снять «Метрополитен опера» и давать гастроли в течение трех лет...»

За сорок часов до начала первого спектакля очередь стала выстраиваться перед «Метрополитен опера». Люди ждали, когда можно будет купить входные билеты, которые должны были продаваться в день спектакля. Многие из стоявших держали одеяла — чтобы провести ночь на тротуаре.

Мне повезло вдвойне. Во-первых, в день начала гастролей Большого театра я находился в Нью-Йорке; во-вторых, я был владельцем билета на спектакли!.. В тот вечер давали «Ромео и Джульетту» Прокофьева с участием Улановой. Несколько месяцев назад я видел этот балет в Москве, но спектакля в Нью-Йорке ожидал, вероятно, с еще бóльшим волнением, чем все зрители. И не только потому, что знал, какое прекрасное зрелище меня ожидает. Я был убежден, что русский балет произведет огромное впечатление на моих соотечественников, и понимал, как это важно для роста добрых отношений между нашей страной и родиной артистов Большого театра.

В день первого спектакля я проснулся около четырех часов утра после беспокойно проведенной ночи. Я думал о русских: какой прием ждет их в огромном, новом и чужом для них городе? Сможет ли американская публика понять русское искусство так же, как понимают его на родине русских?..

И в тот же вечер на все эти вопросы был дан полный и ясный ответ. Уланова и другие артисты Большого театра

покорили Нью-Йорк. «Восхитительно!», «Потрясающе!», «Великолепное зрелище, пронизанное драматизмом и полное жизни!» — вот отзывы на спектакль. Газета «Нью-Йорк таймс» писала о спектакле с участием Улановой: «Это был вечер, который не забудет никто из присутствовавших в театре. Слово «балет» в наших краях приобретает теперь новый смысл...»

Мне в этот вечер показались особенно знаменательными и символическими некоторые моменты. Не забыть, как все находившиеся в огромном зале «Метрополитен опера» поднялись и в торжественной тишине стоя слушали американский и советский национальные гимны в исполнении американского оркестра под управлением советского дирижера Юрия Файера...

Так же глубоко взволновала меня заключительная сцена балета. Враждующие семьи Монтекки и Капулетти обнимают друг друга, примиренные любовью своих детей... Воцарилось молчание, и занавес стал опускаться. Потом публика встала и начала аплодировать артистам. Артисты, в свою очередь, аплодировали зрителям...

«О брат Монтекки! — восклицает Капулетти в конце шекспировской трагедии. — Дай свою мне руку!»

У скольких зрителей эти слова отозвались в сердцах! Как много людей в нашей стране страстно хотят кончить «холодную войну» и протянуть руки для братского пожатия русским! Какую великолепную роль играет балет Большого театра в деле дружбы и мира!..

Я обвиняю!

Альберт Кан был вызван 23 сентября 1958 года в пресловутую сенатскую подкомиссию по внутренней безопасности, возглавляемую сенатором Джеймсом Истлэндом. Для подкрепления сфабрикованных против Альберта Кана обвинений в «подрывной деятельности» подкомиссия Истлэнда выставила трех «свидетелей» и платного «эксперта» Курта Зингера. Не имея возможности лично присутствовать при этих показаниях и ознакомившись с ними по протоколам, Альберт Кан свои замечания послал в подкомиссию Истлэнда в форме письменного показания под присягой.

Поскольку «дело» слушалось в сенатской подкомиссии публично, Альберт Кан заявил, что передает свое письмен-

ное показание в печать. Публикуемый ниже текст заявления прислан журналу «Огонек» автором.

Альберт Е. Кан, принеся предварительно надлежащую присягу, свидетельствует и говорит:

Я хочу сделать замечания к показаниям ваших трех свидетелей не потому, что они могли бы в чем-либо опорочить меня лично, а потому, что показания эти изобличают вашу подкомиссию.

В моем вступительном заявлении на заседании 23 сентября я обвинил вас в том, что ваша подкомиссия пытается сфабриковать против меня фальшивое «дело». Я отметил, что поводом к этому послужила только что оконченная мною новая книга, в которой я касаюсь подрывной, антиконституционной деятельности вашего председателя, сенатора Джеймса Истлэнда, деятельности, наносящей вред нашей национальной репутации во всем мире. Я добавил, что ваша подкомиссия однажды уже пыталась разыграть подобную инсценировку и потребовать моего осуждения по подтасованному обвинению в «заговорщической деятельности». Это произошло при аналогичных обстоятельствах: в то время я был одним из издателей книги Харвея Матусоу «Лжесвидетель», в которой Матусоу, среди прочего, признался и в том, что, будучи платным лжесвидетелем, он давал ложные показания перед вашей подкомиссией. Показания ваших трех свидетелей только подтвердили мое убеждение, что и в данном случае речь идет о заранее спланированной инсценировке.

Я прочел копию протоколов этих показаний. И, должен признаться, первоначальное обвинение, выдвинутое мною против вас, показалось мне слишком узким и слишком персональным по своему характеру. То, что я прочел, говорит не только о попытке сфабриковать ложное обвинение против меня лично, но, что гораздо важнее, о вашем упорном желании продолжать прежнюю политику чудовищного обмана американского народа.

«Показания» ваших трех свидетелей были бы отвергнуты в любом нормальном суде. Это мешанина из слухов, сплетен, клеветы, голословных утверждений и прямой лжи, и все это допускается под прикрытием вашей неприкосновенности как членов конгресса Соединенных Штатов. Но ваша подкомиссия не может снять с себя ответственность за подобные «показания». Вы полностью разделяете вину за них.

Вы предварительно уговаривались с вашими свидетелями и заранее знали, что они скажут. Все члены вашей подкомиссии, насколько я понимаю, были в свое время практикующими юристами; и, казалось бы, простое чувство собственного достоинства, не говоря уже о прочем, должно было удерживать людей, знакомых с правовой этикой, от того, чтобы выслушивать и делать достоянием обществу подобного рода «свидетельские показания». Увы, постыдным фактом является то, что ваша подкомиссия неоднократно навязывала американцам всю эту бредовую ложь в качестве доказательств, утверждая, что все это имеет жизненное значение для нашей нации. И подобные «свидетельства» служили основанием для того, чтобы пригвоздить к позорному столбу, бесчестить, преследовать и губить многих наших сограждан!

Позвольте мне привести некоторые типичные образцы «показаний» ваших трех свидетелей.

Сошлюсь прежде всего на выступление Федора Мансветова. Он сам назвал себя русским эмигрантом и открыто хвастался своей, как он выразился, «антисоветской деятельностью» в Соединенных Штатах в период второй мировой войны, то есть тогда, когда Советский Союз был нашим боевым союзником. Мансветов заявил, что его «несправедливо» уволили в то время из учреждений американской армии и государственных органов по обвинению в том, что он был «агентом Гитлера». Он жаловался вам на то, что потерял эти свои должности после опубликования разоблачительного материала о нем в антинацистском бюллетене «Час», редактором которого я был в военные годы. В копии протокола его допроса зафиксирован следующий диалог между Мансветовым и главным советником вашей подкомиссии Дж. Г. Сэрвином.

СЭРВИН. Почему Кан участвовал в разоблачении вас и ваших друзей?

МАНСВЕТОВ. Потому что он шпион. Он советский агент, вы могли убедиться в этом из его же слов, которые вы слышали сегодня.

СЭРВИН. А откуда это известно вам лично?

МАНСВЕТОВ. Во время слушания этого дела он ни разу даже не произнес слово «сателлит». Это значит, что он проводит партийную линию.

Итак, каким бы ни был темным язык Мансветова, я могу догадаться, что он считает меня «советским агентом» и «шпионом» потому, что я в своем показании перед вашей подкомиссией не использовал слова «сателлит» в отноше-

нии стран Восточной Европы. Я полагаю, что дальнейшие комментарии к «показаниям» Мансветова излишни.

Я должен, однако, подчеркнуть, что если ваших свидетелей не раз поощряли выступать с такими дикими заявлениями, то это отчасти потому, что члены вашей подкомиссии и сами питают слабость к подобным вещам. Так, например, сенатор Дженнер, председательствовавший на вашем заседании 23 сентября, в свое время потребовал привлечь к ответственности президента Трумэна по обвинению в том, что президент является «орудием тайного заговора, управляемого агентами Советского Союза». Ваша удивительная беззаботность по части такого рода обвинений была однажды отмечена федеральным судьей Лютером Юнгдалом, когда он выносил решение, отменившее судебный приговор, вынесенный репортеру «Нью-Йорк таймс» Сеймуру Пеку за «оскорбление» вашей подкомиссии.

На показаниях второго вашего свидетеля, Джона Лаутнера, я не собираюсь долго останавливаться, и вы поймете почему. Он признал, что никогда не был лично со мною знаком; и тем не менее он утверждал, что я был коммунистом, ссылаясь на кого-то, сказавшего ему что-то около десяти лет тому назад. Другим «доказательством» утверждения Лаутнера явилось то, что я некогда был председателем одной из секций Международного рабочего ордена — добровольного благотворительного общества, возглавляемого известным американским художником Роквеллом Кентом и насчитывающего около 250 тысяч членов.

Приходится удивляться показаниям Джона Лаутнера. Этот ренегат от коммунизма давно занимается ремеслом, которое на страницах «Нью-Йорк таймс» было охарактеризовано как «грязный бизнес профессионального платного осведомителя». Каждый раз, выступая с показаниями против кого-либо, этот тип получал гонорар в качестве «свидетеля-эксперта»; и за несколько последних лет он сколотил много тысяч долларов этой своей деятельностью.

Вам, джентльмены, конечно, известно, что федеральный суд США заклеил ряд правительственных платных лжесвидетелей как клятвопреступников; вы не можете также не знать, что многие из этих лжесвидетелей — Харвей Матусоу, Мэри Натвиг, Лоуэлл-Уотсон, Дейвид Браун и другие — сами признались в том, что давали за плату ложные показания. И тем не менее вы бесстыдно продол-

жаете использовать на ваших заседаниях показания людей этого сорта. Позвольте мне спросить: кто совершает большее преступление — эти растленные души, которые получают жалкие сребреники за свою профессию предателей, или вы, толкающие их на это грязное дело?

Приходится ли удивляться тому, что ни в чем не повинные люди, которых судит ваша подкомиссия, зная, что у вас есть целое стойло подобных изолгавшихся шпиков, столь часто пользуются правом отказа от показаний, предоставляемым V поправкой к конституции Соединенных Штатов? Надеюсь, вы не забыли о том, что профсоюзный деятель Клинтон Дженкс был приговорен к пяти годам тюрьмы в результате ложного показания, которое было дано в вашей подкомиссии профессиональным лжесвидетелем Матусоу. Если бы Матусоу потом публично не признался во лжи, вполне возможно, что приговор Клинтону Дженксу не был бы опротестован Верховным судом и сам Дженкс и по сей день сидел бы за решеткой.

В этих условиях я должен сказать, что высоко оцениваю мудрость составителей нашей конституции, включивших в нее V поправку, охраняющую граждан от произвола правительственных органов.

Третьим вашим свидетелем, выступившим против меня 23 сентября, был писатель Курт Зингер. Он показал, что встречался со мной дважды около пятнадцати лет тому назад и ему было известно, что я «подчинялся коммунистической дисциплине». Откуда же это было ему известно? Оказывается, что мы вдвоем выступали в то время по радио в передаче «Писатель встречается с критикой»; во время этой передачи я рецензировал книгу Курта Зингера. И вот из того факта, что я весьма резко раскритиковал его книгу, он заключает, что я «подчинялся коммунистической дисциплине»!

Нет, без шуток, джентльмены, позвольте мне задать вам вопрос: как можете вы позволять себе тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы оплачивать доставку в Вашингтон подобных «свидетелей», вести целое делопроизводство, составлять протоколы из таких, с позволения сказать, «показаний»? Не думаете ли вы, что эти деньги можно было бы с большей пользой истратить на школы, библиотеки, больницы и прочие общественные нужды?

Когда вы допрашивали меня и этих ваших «свидетелей», вы старались изобразить как «коммунистическую пропаганду» уже упомянутый бюллетень «Час», который я редактировал, а также книги, которые я написал. Однако

вам известно не хуже, чем мне самому, что бюллетень «Час» был создан незадолго до второй мировой войны «Американским советом против нацистской пропаганды», председателем которого являлся бывший посол США в Германии Уильям Додд. В состав совета входили такие лица, как Альберт Эйнштейн, Томас Манн, кардинал Джон Райян, Уильям Грин, епископ Эдгар Блэйк, Лоуренс Тибетт и другие. Вы хорошо знаете, что «Час» занимался разоблачением действий гитлеровской пятой колонны в Америке и что материалы бюллетеня использовались огромным количеством газет и радиокомментаторов, а равно нашим военным министерством, министерством юстиции, Бюро военной информации и прочими государственными органами. Вы знаете также, что некоторые мои книги были бестселлерами в Соединенных Штатах; что одна из них, которую вы называли «коммунистической», была напечатана в сжатом виде в таком журнале, как «Ридерс дайджест»; что мои печатные труды военных лет широко рецензировались и оценивались как положительный вклад в военные усилия Соединенных Штатов; что книги мои были изданы за границей по меньшей мере на двадцати пяти языках.

А если эти факты вам известны, почему вы распространяете небылицы о том, что они «коммунистическая пропаганда»? Не потому ли вы делаете это, что я не раз разоблачал антидемократические махинации в различных высокопоставленных учреждениях, в том числе и махинации, к которым прибегает ваша подкомиссия? И не стремитесь ли вы в данном случае воспрепятствовать выходу в свет моей новой книги, где высказываются неприятные для вас суждения о деятельности вашей подкомиссии?

Я могу поставить и более важный вопрос: может быть, вы вообще против свободы печати, против независимости мыслей, против того, чтобы высказывались мнения, не соответствующие вашей деятельности как государственного органа? Неужто вы не понимаете, какое огромное оскорбление вы наносите общественности всеми этими расследованиями и как далеко вы зашли в нарушении конституции Соединенных Штатов?

В показаниях ваших «свидетелей», как и в ваших прежних «открытиях» в связи с книгой Матусоу, вы обвиняете меня в том, что я получаю «приказы из Москвы». Я никогда не получал и никогда не собирался получать приказы из Москвы. Однако позвольте мне добавить, что я не намерен получать приказы от кого бы то ни было, в том числе и

от вашей подкомиссии. Я не люблю, чтобы мною вертели или мне диктовали, как себя вести, чиновники и политики, которые получают часть своего жалованья за счет налогов, выплачиваемых мною. Я считаю, что правительство должно быть слугой народа, а не командовать им. Это относится и к вашей подкомиссии.

Если бы я мог возбудить судебное преследование против вашей подкомиссии за клевету и вмешательство в мою работу, я сделал бы это. Это было бы хорошим уроком для вас. Может быть, кто-нибудь из членов вашей подкомиссии пожелает временно отказаться от депутатской неприкосновенности и взять на себя полную личную ответственность за клевету, которая распространилась в отношении меня на ваших заседаниях? Пусть кто-либо из вас — скажем, сенатор Истлэнд, — сняв ограждающую его неприкосновенность, публично повторит обвинение в том, что я шпион! Здесь можно было бы вспомнить известную американскую поговорку: «Либо выкладывай все начистоту, либо заткнись».

Впрочем, мне хотелось бы внести ясность в один вопрос. Я не вижу ничего оскорбительного в том, что вы считаете меня радикалом. Я всем сердцем уважаю традицию радикальных идей, которыми обогащался наш народ с тех пор, как мы в 1776 году выпроводили короля Георга; и одновременно с сохранившимся у меня старомодным непоколебимым уважением к конституции США я разделяю некоторые политические взгляды Джека Лондона, этого славного обитателя Лунной долины в Калифорнии, где сейчас живу я сам.

Позвольте мне также сказать, что несомненная правда заключается и еще в одном обвинении, которое мне предъявлено на вашем заседании. Да, я старался помочь установлению нормальных и дружеских отношений между нашей страной и Советским Союзом, таких отношений, которые были у нас в военные годы. Я буду продолжать делать это. Я убежден, что жизнь моих троих детей, как и жизнь миллионов других детей во всех уголках нашей планеты, будет в безопасности, если мы наладим дружбу и сотрудничество с Советским Союзом.

Ваша подкомиссия утверждает, что она заботится о внутренней безопасности Соединенных Штатов. Если это так, то вам следовало бы начать расследование той роли, которую играет ваш председатель сенатор Истлэнд в заговоре против Верховного суда США; этот заговор, как известно, направлен на срыв вынесенного Верховным судом

постановления, по которому расовая сегрегация в школах признана противоречащей конституции.

В настоящее время особенно очевидно, что проводившиеся вами «расследования» нанесли тяжелый ущерб американской нации и действительной ее безопасности. Бывший президент Трумэн говорит сейчас, что одной из причин отставания нашей страны от Советского Союза в завоевании космического пространства явилась «охота на ведьм» и «подавление личности», в результате чего многие американские ученые были отстранены от важных исследовательских работ. Едва ли можно назвать какую-либо область нашей жизни, которая не пострадала бы от разрушительных действий, в которых специализировалась и ваша подкомиссия. Единственный вклад, который вы могли бы сделать в безопасность нашей нации,— это самораспуститься.

В заключение моих замечаний к заслушанным вами 23 сентября свидетельским показаниям, в которых так много говорилось о моей работе как писателя, я считал бы уместным процитировать отрывок из моей новой книги. Этот отрывок описывает мою поездку через всю страну, которую я совершил вскоре после того, как впервые предстал перед вашей подкомиссией, то есть около трех лет тому назад. Вот этот отрывок:

«По мере того как передо мной раскрывалась во всем своем величии наша страна, съезжались до своих подлинных карликовых размеров фигуры властолюбивых политиканов, садистов-инквизиторов, наглых чиновников и окружающей их свиты из «благонадежных» лилипутов. И это не потому, что фигуре человека вообще свойственно уменьшаться на фоне титанической природы. Нет, человек в нашей стране растет и приобретает постепенно приличествующий ему облик. Ибо, куда ни оглянись, всюду находишь отпечаток его славных подвигов, бесконечное многообразие плодов его ума и рук, воплощенные им в жизнь грандиозные замыслы. И повсюду слышишь убежденные слова: пусть злоба и бедствия еще осаждают человека Америки,— он сумеет их обуздать!»

Да, джентльмены, наша страна слишком велика, ее традиции слишком прочны, ее народ слишком хорош, чтобы вам удалось добиться своего. Маккартизм быстро превращается в позорную страницу прошлого. И хотя вы и не отдаете себе отчета в этом, такова судьба и вашей подкомиссии.

Приехав месяц тому назад в Москву по приглашению друзей из Союза советских писателей, я был приятно удивлен, увидев на страницах «Огонька» текст моего заявления, которое я направил недавно в Соединенных Штатах в сенатскую подкомиссию «по внутренней безопасности», возглавляемую сенатором Истлэндом. Вызывали меня в это судилище по вздорному обвинению в том, что я являюсь «платным пропагандистом Советского Союза». Вместо того чтобы тратить попусту время и отвечать на подобные бессмыслицы, я постарался воспользоваться случаем и сказать допрашивающим меня сенаторам все, что я о них думаю.

У писателей, как известно, есть слабость делиться своими чувствами с возможно более широким кругом людей. Мое заявление появилось в ряде органов печати. Я высоко ценю то, что «Огонек» оказался в их числе.

Но во всей этой истории есть одна деталь, о которой я не упомянул в своем заявлении. Мне захотелось рассказать о ней читателям «Огонька» сейчас.

Я находился уже на «свидетельской скамье» в подкомиссии Истлэнда добрых два часа, когда главный советник подкомиссии задал мне следующий вопрос:

— Мистер Кан, получали вы когда-либо инструкции из Советского Союза?

Вопрос этот не был для меня неожиданным, и я решил ответить на него правдиво и без околичностей.

— Поскольку я дал присягу говорить правду,— ответил я сенаторам,— я должен признать, что в одном случае — но только в одном — я действительно получил инструкцию из Советского Союза.

В зале заседаний воцарилась напряженная тишина. Сенаторы привстали в креслах, стараясь не проронить ни слова.

— Эту инструкцию,— продолжал я,— передал мне в 1949 году в Париже известный советский писатель Илья Эренбург. Инструкция была на русском языке. Я взял с собой на заседание вашей подкомиссии фотоснимок с оригинала этого документа, а также английский перевод его текста.

— Прекрасно, мистер Кан! — воскликнул председательствующий.

— Желают ли джентльмены получить этот документ

для включения его в протокол моего допроса? — осведомился я.

— Разумеется, разумеется, мистер Кан!

Я достал из кармана фотокопию и протянул ее председателствующему. После некоторого молчания я продолжал:

— Видите ли, мне хочется добавить, что, когда мистер Эренбург передавал мне этот документ, он одновременно преподнес мне в подарок курительную трубку. Заголовок документа, если его перевести на английский, гласит: «Инструкция для курильщиков». Документ содержит самые подробные директивы касательно пользования трубкой, содержания ее в чистоте и тому подобное...

Когда в зале стихли смех и веселые восклицания, а главный советник подкомиссии снова обрел дар речи, он пробормотал:

— Я полагаю, этот документ едва ли следует приобщать к протоколу.

Но я стал настаивать. Я доказывал, что, поскольку документ был предъявлен с разрешения председательствующего, он тем самым уже является органической составной частью слушания дела.

— Кроме того, насколько могу судить,— продолжал я,— это очень детальная и заботливо составленная инструкция. Она гораздо полнее, чем любые подобные наставления, которые мы можем найти в Соединенных Штатах. Я, например, очень строго следую ей и даже сейчас, находясь перед вами, джентльмены. Вот видите, со мной две трубки. Инструкция рекомендует всегда иметь под рукой две трубки. Одной надо дать остыть и в это время курить другую. Я так и делаю. Вероятно, это первый случай в вашей практике, господа сенаторы, когда лицо, дающее вам показания, действует строго по инструкции, полученной из Москвы!..

А теперь я должен сделать еще одно признание.

Вскоре после приезда в Москву я посетил Илью Эренбурга. Во время беседы я рассказал ему эту случившуюся в Вашингтоне историю с инструкцией курильщикам трубок.

— Нельзя ли устроить мне посещение московской фабрики курительных принадлежностей, которая издала ту инструкцию? — спросил я.

И вот я поехал на Ленинградский проспект, где расположилась фабрика. Это было небольшое здание, скромно

приютившееся среди окружающих его многоэтажных домов.

На лестнице меня встретил главный инженер фабрики. Он провел меня в свой кабинет, и там—увы, я должен покаяться в этом!—он снабдил меня новой, еще более подробной инструкцией! Более того, он дал мне несколько экземпляров.

По возвращении в США я пошлю по одному экземпляру каждому из членов подкомиссии «по внутренней безопасности» сенатора Истлэнда.

Рокуэлл КЕНТ

Рокуэлл Кент (1882—1971) — известный американский художник, писатель и общественный деятель, видный борец за мир, удостоенный в 1967 году Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Посетил Советский Союз в 1958 году, о чем рассказал в своей книге «О людях и горах» (1959).

Прометей обрел свободу

Народ, вынужденный жить в атмосфере страха — страха перед войной, страха перед приготовлениями к ядерному взрыву и его последствиями, страха перед усиливающимся бременем налогов, рожденным военными расходами, страха перед ростом безработицы и грозящей экономической катастрофой, страха перед вопросами — с кем вести знакомство и о чем можно говорить, страха перед несчастьями, которые несет жизнь...

И вот к этому — американскому — народу прилетела весть о величайшей победе человека, о полете Юрия в царство космоса. Эта весть с быстротой молнии облетела все фабрики и заводы, все дома. Далекая страна, где люди мирно работают все как один, разорвала вековые цепи, которые приковывали человека к Земле.

Прометей обрел наконец свободу.

Что я скажу о полете Юрия? Какое мужество и какая вера! Вера в миллионы соотечественников, которые своей верой поддерживали его. Вера в то, что может совершить Человек.

Советские друзья, ваш Юрий — не только ваш, он принадлежит всему человечеству. И ворота в космос, которые он открыл, распахнуты для всех нас. Может быть, и мы войдем в них — нужно только время.

Только ли время? Нет, время и мир.

Мир для того, чтобы исследовать Вселенную, которую наши советские братья открыли для нас. Мир для того, чтобы принести домой космические богатства и распреде-

лить их между всеми. Мир среди народов, мир у себя дома. Мир и конец нищете и страху. Мир и братство людей.

Пусть человечество чтит день полета Юрия, как день всеобщего мира. Пусть празднует его по всей земле с музыкой и танцами, с песнями и смехом, как всемирный праздник счастья. Пусть это будет день, когда на каждой городской площади и повсюду, где могут собраться люди, лица старых и молодых засветятся такой же радостью, какой светятся лица на лежащих передо мной фотоснимках, сделанных в ликующей Москве.

Юрий, ты стоишь перед нами как символ осуществления того, что много лет назад предсказывал Виктор Гюго: «В двадцатом веке отомрет война, отомрет эшафот, умрет ненависть, отомрут границы и межи, умрут догматы. Человек будет жить. У него будет нечто более высокое, чем все это. Он будет обладать великой страной — всей землей и великой надеждой — всем небом».

Все небо ты и принес нам, Юрий.

Митчел УИЛСОН

Митчел Уилсон (1913—1973) — американский писатель, автор известных романов «Живи среди молний» (1949), «Встреча на далеком меридиане» (1916) и других произведений.

Задачи, которые еще никто не решал

Невозможно по-настоящему оценить важность запуска двух советских космонавтов, когда пишешь об этом по горячим следам. Мы ошеломлены этим новым достижением. На нынешнем этапе космических путешествий мы стали свидетелями такого, что может привести в изумление.

Мы изумлены тем, что в космос запускают корабль и в нем (он вращается с фантастической скоростью — один оборот вокруг Земли за полтора часа) находится человек, который поддерживает связь с нами с помощью радиоволн. Между нами и космонавтом — атмосферный покров, сквозь который ему нужно прорваться огненным метеором. Между нами и космонавтом — преграда космической скорости. Все, что связано с полетом, так далеко от обычной инженерной практики, что успешный запуск сам по себе оправдывает все затраченные усилия.

Позже станет более понятной важность эксперимента во многих аспектах. Пока мы еще не знаем в деталях, какие научные задачи ставились перед космонавтами. Но мы уверены, что важные вопросы физики, биологии и химии теперь могут быть решены благодаря таким средствам, которые невозможны в обычных земных лабораториях. Поэтому легко предсказать, что имена Поповича и Николаева останутся навсегда связанными с теми подвигами, которые еще предстоит совершить. Все, кто имеет отношение к этим полетам, заслуживают поздравления от всего человечества. Все мы у них в долгу.

Правда о Стране Советов и Соединенные Штаты Америки

Для тех, кто хорошо знает американскую литературу, имена таких писателей, как Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Теодор Драйзер, Филип Боноски, Альберт Каи, Лэнгстон Хьюз, говорят многое. Это не только выдающиеся писатели и публицисты, но и страстные борцы за мир, за дело пролетариата, чьи имена будут вписаны в историю международного рабочего и коммунистического движения. Среди авторов настоящего сборника, открывающего серию «XX век: два лунка планеты», и лауреат Международной Ленинской премии мира известный художник Рокуэлл Кент, и видный деятель Коммунистической партии США Элла Блур, большой друг Советского Союза, и авторы, которые никогда не питали симпатии ни к первому в мире социалистическому государству, ни к коммунистическим идеям вообще, ни даже к демократическим свободам, однако и их по-своему честное и искреннее мнение о Стране Советов представляет несомненный интерес, ибо они даже со своих исторически ограниченных позиций увидели, говоря словами Раймонда Робинса, что «советская система — это настоящая система», при которой «маленький листок бумаги с парой слов на нем, написанных Лениным, весь читаемый и перечитаемый», мгновенно, точно и скрупулезно выполнялся «в русских городах за тысячи миль от какого-либо отряда Красной гвардии». Подобное признание стоит десятков статей и выступлений, подтверждающих народный характер Великого Октября и Советской власти.

В предисловии к русскому изданию книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» Надежда Константиновна Крупская, подчеркивая, что «книжка Рида дает общую картину настоящей народной массовой революции», писала: «На первый взгляд кажется странным, как мог написать эту книгу иностранец, американец, не знающий языка народа, быта... Казалось, он должен был бы на каждом шагу впасть в смешные ошибки, должен был бы проглядеть многое существенное. Иностранцы иначе пишут о Советской России. Они или вовсе не понимают совершающихся событий, или берут отдельные факты, не всегда типичные, и их обобщают»¹.

Вот удивительно точная характеристика многочисленных описаний Советского Союза, появившихся в США за период, прошедший после Великой Октябрьской революции. Это целое море литературы. Но имен ее создателей не встретишь ни в одном сколь-нибудь серьезном монографическом исследовании об американской литературе. Это либо антикоммунистические «бестселлеры» полуграфоманского толка, типа тех, что поставляли на книжный рынок США Аллен Друри, Лайонел Триплинг и другие псевдолитераторы от антикоммунизма, либо претендую-

¹ Крупская Н. Предисловие к русскому изданию. — В кн.: Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957, с. 6.

щие на звание публицистики сборники «эссе» профессиональных антикоммунистов от журналистики вроде Г. Смита и Р. Кайзера, издавших в 1976 году свои книги «Русские» и «Россия. Народ и власть»¹.

Это примеры, что называется, крайние. В потоке литературы, посвященной СССР, встречаются, хотя и в гораздо меньшем числе, книги авторов либерального толка, больше склонных к объективности. Одна из них — «Путешествие по России: Советский Союз сегодня» Барта Макдоуэлла была издана в 1977 году. Отрывки из нее публиковались в нашей печати². Книга не претендовала на серьезный и тем более всесторонний анализ. Скорее, это туристические зарисовки благожелательно настроенного к нашей стране журналиста. И все же автор предисловия к «Путешествию по России...» Джильберт Гровенор признался после поездки в СССР: «Я был потрясен тем, что, прочитав так много, я чувствую себя столь удручающе невежественным в жизни этой страны, ее народа, полного энергии и стремительного движения вперед». Такого рода признание тем примечательнее, что принадлежит оно не рядовому американцу, американцу среднестатистическому, а вице-президенту Национального географического общества США.

В чем же дело? В чем причина такой неосведомленности, в которой не постыдился признаться Гровенор? Какой же степени достигает она у людей, куда менее информированных? Ведь, если судить даже по тем произведениям, что представлены в настоящем сборнике «Писатели США о Стране Советов», в американской литературе есть что прочесть о Советском Союзе, дабы понять и наш народ, и нашу жизнь, а главное — нашу революцию.

Среди авторов нашего сборника многие — коммунисты. Им свойственно то, что отмечала Н. К. Крупская в Джоне Риде — авторе «Десяти дней, которые потрясли мир»: «Джон Рид не был равнодушным наблюдателем, он был страстным революционером, коммунистом, понимавшим смысл событий, смысл великой борьбы. Это понимание дало ему ту остроту зрения, без которой нельзя было бы написать такой книги»³.

Да, подлинная, прекрасная интернационалистская пристрастность была и у Джона Рида, и у его друга Альберта Риса Вильямса, и у Эллы Рыв Блур. Русская революция октября 1917 года была их революцией, общим с нашей партией классовым пролетарским делом. Но они писали об этой революции для американцев, искренне веря, что именно их соотечественники скорее чем кто-либо другой поймут эту революцию. И дело здесь не только в той общности революционных идеалов, которая прослеживается при изучении истории наших народов, — борьба против монархии в России и борьба против рабства в Соединенных Штатах Америки; подъем классовых битв в начале XX века; влияние Декларации независимости на русскую революционную демократию. Дело и в определенной родственности социально-психологических черт, на которую обратил внимание еще в 1881 году великий американский поэт Уолт Уитмен: получив письмо из России (а в письме спрашивалось авторское разрешение на перевод на русский язык его книги «Листья травы»), он писал в ответ:

«...Охотно соглашаюсь на вашу просьбу и от всей души желаю вам удачи.

¹ См. об этом подробнее в книге А. Беляева «Авгуры из Нового и Старого света». М.: Молодая гвардия, 1980.

² См.: За рубежом, 1977, № 44—46.

³ Крупская Н. Предисловие к русскому изданию. — В кн.: Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир, с. 6.

Вы — русские, и мы — американцы! Россия и Америка, такие далекие, такие несхожие с первого взгляда! Ибо так различны социальные и политические условия нашего быта! Такая разница в путях нашего нравственного и материального развития за последние сто лет!

И все же в некоторых чертах, в самых главных, наши страны так схожи. И у вас и у нас — разнообразие племен и наречий, которому во что бы то ни стало предстоит спаяться и сплавиться в единый союз. Не сокрушенное веками сознание, что у наших народов есть своя историческая, священная миссия, свойственно вам и нам. Пылкая склонность к героической дружбе, вошедшая в народные нравы, нигде не проявляется с такой силой, как у вас и у нас. Огромные просторы земли, широко раздвинутые границы, бесформенность и хаотичность многих явлений жизни, все еще не осуществленных до конца и представляющих собою, по общему убеждению, залог какого-то неизмеримо более великого будущего, — вот черты, сближающие нас. Кроме того, и у вас и у нас есть свое независимое руководящее положение в мире, которое и вы, и мы всячески стремимся удержать и за которое, в случае надобности, готовы выйти в бой против всего света; бессмертные стремления, живущие в глубине глубин обоих великих народов, такие страстные, такие загадочные, такие бездонные, — все это опять-таки присуще в равной мере и нам, американцам, и вам, русским»¹.

Уитмен при своей жизни так и не увидел русского издания «Листьев травы». Элла Рив Блур, побывав в СССР в сентябре 1937 года, встретила с Кориеем Чуковским, который рассказал ей об истории этой публикации. В 1905 году первый перевод «Листьев травы» был конфискован и уничтожен царской охранкой, а сам переводчик — Корней Чуковский — был обвинен в подрывной деятельности и осужден московским судом присяжных. В 1913 году в подавляющем большинстве городов России были запрещены публичные лекции об Уитмене и его творчестве. Но несмотря на эти преследования, рассказывал К. Чуковский Э. Блур, слава Уолта Уитмена широко распространилась, потому что направление его поэзии сделало поэта желанным в стране, где назревала революция. И вот в 1918 году, в тяжелейшее для нашей страны время, все же нашлись возможности издать томик «Листьев травы». Именно в нем Э. Блур, американка, впервые прочитала вехи строки поэта: «Вы — русские, и мы — американцы...»

Сколько лет спустя повторяется та же история: книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», Альберта Риса Вильямса «Путешествие в революцию» многие американцы открывают впервые, приехав в Советский Союз. На родине имена Рида и Вильямса преданы забвению. И не только их имена.

А. Р. Вильямс в 1956 году записал в своем дневнике с пометкой «Для себя»: «Как трудно быть писателем — другом Советского Союза, если приходится работать в капиталистической стране. Препятствия: нет никакой уверенности, только туманная надежда увидеть написанное опубликованным».

Так же, как в свое время царская охранка не допускала в Россию Уитмена, американский правящий класс сегодня делает все возможное, чтобы не допустить распространения в США той «крамолы», которой представляются ему правдивые книги о Стране Советов. Идеологическая подоплека этого гораздо глубже, чем просто стремление американской буржуазии к самосохранению как класса. Тот же Уолт Уитмен в своих знаменитых «Восемнадцатых выборах президента» писал: «Из всех людей, занимающих сегодня государственные посты в Соеди-

¹ Уитмен У. Листья травы. М.: 1955, с. 322.

ненных Штатах, нет ни одного на тысячу, который был бы избран волею народа и заботился бы о его благе»¹. Этот памфлет был написан Уитменом в 1856 году, но он стократ верен и сегодня. Буржуазия США узурпировала завоевания американской буржуазно-демократической революции, установив власть финансово-промышленной олигархии над громадным большинством американцев, лишив их фактически тех основных прав, которые были провозглашены отцами-основателями Соединенных Штатов в Конституции США. Вот почему буржуазия США восторженно приняла Февральскую революцию 1917 года и — в штыки, в буквальном и переносном смысле этого слова, Великий Октябрь. Джон Рид точно подметил причины столь озлобленной реакции: «Имущие классы (России. — В. Б.), — писал он в предисловии к своей книге «Десять дней, которые потрясли мир», — хотели всего-навсего политической революции, которая отняла бы власть у царя и передала ее им. Они хотели, чтобы Россия стала конституционной республикой, подобно Франции и Соединенным Штатам, или конституционной монархией, подобно Англии. Народные же массы желали подлинной рабочей и крестьянской демократии»².

Когда в ходе Октябрьской революции и гражданской войны они добились этого, несмотря на все попытки внешней и внутренней реакции утопить в крови Советскую Россию, идеологической сверхзадачей наших классовых противников, в том числе и в Соединенных Штатах, стало — не допустить распространения правды об СССР, ибо эта правда не только показатель жизнеспособности коммунистических идей, но и обвинение правящих классов стран Запада в предательстве идеалов даже буржуазных революций, обвинение в исторической неспособности капиталистического общества пойти по пути тех социальных преобразований в интересах трудящихся масс, которые возможны только при социализме.

Притягательный пример русской революции панически подействовал на верхушку американского общества. Президент США Вудро Вильсон в 1919 году заявил: «...каждый день мое сердце обливается кровью, когда я думаю о том, что делается в России: та же опасность грозит и всему миру. Мы должны позаботиться о том, чтобы форма «народного правления» не привилась у нас или где-либо в другом месте».

«Забота» такого рода не снята с повестки дня Вашингтона по сей день, ибо антикоммунизм и воинствующий антисоветизм были и остаются главенствующей идеологией правящего класса США, который стремится с момента появления идей научного коммунизма и — с особым упорством — после Великого Октября привить эту идеологию всему народу Америки, всему миру. Затея эта бесперспективная, хотя бы уже потому, что интерес к Советскому Союзу, к нашему образу жизни, к становлению нового советского человека не ослабевает в Соединенных Штатах.

Всему гигантскому аппарату «промывания мозгов», налаженному в США и постоянно действующему, не удастся скрыть ту главную правду о Советском Союзе и нашей революции, которая сконцентрирована в следующих строках американского публициста-коммуниста Герберта Аптекера: «...свершения этой революции поистине огромны, граничат с чудом. Это именно государство, созданное Лениным, государство, укрепленное и поддерживаемое его партией, это Советский

¹ Уитмен У. Листья травы, с. 278.

² Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир, с. 6.

Союз, и никто другой, сумел отразить всех, кто нападал на него, сокрушить Гитлера, спасти человечество, всегда и везде выступать в поддержку каждого движения за освобождение людей — будь то во Вьетнаме, в Анголе, на Кубе или в Мозамбике. От России, страны неграмотности, до СССР, страны, где неграмотность не существует; от России, где женщины были рабынями, до СССР, где положение женщин выше, чем где-либо в мире; от России, где родились погромы, до СССР, где никогда не произошло ни одного погрома; от России, тюрьмы народов, до СССР, родины свыше сотни национальностей, которые все равны; от России, которая имела самый низкий уровень производства, до СССР, занявшего первое место в мире по ряду промышленных показателей, — таков путь этой революции».

Американская пропаганда уже в первые годы Советской власти начала массированное наступление на общественное мнение США с целью дискредитации нашей революции. Об этом читатель нашей антологии может судить по тем публицистическим статьям, которые мы включили сюда, перепечатав из газет и журналов США, выходявших в 1919—1920 годах. Там было все — от утверждений о «национализации женщин» в России до описаний «зверств комиссаров». И лишь изредка проникала на их страницы правда — отповедь клевете на нашу страну. Сейчас, когда читаешь эти обвинения клеветников, невольно задумываешься о том, какое надо было иметь гражданское мужество, чтобы все-таки сказать правду. К счастью для Америки, такие люди находились.

Раймонд Робинс и другие авторы подобных статей, приведенных в сборнике, не были коммунистами. Они были, так сказать, «стопроцентными американцами», но обладали мудростью, несвойственной тому типу человека, который под этим стереотипом подразумевается буржуазной пропагандой. Они предупреждали, что вражда к Советской России в корне противоречит национальным интересам США. Можно сказать, что их идеи легли в основу целой школы политической мысли США, представители которой и по сей день выступают за установление с нашей страной нормальных, добрососедских отношений, за отказ от того курса на конфронтацию, по которому идет сейчас правительство Рейгана, а до него шли Трумэн, Эйзенхауэр, Картер, не говоря уже об их предшественниках вроде В. Вильсона.

Увы, и тогда, и сейчас голоса трезвомыслящих американцев топили в общем хоре антисоветской пропаганды. В 1919 году в сенате США слышались такие призывы: «Мы должны освободить русский народ от убийц, которые держат его в подчинении». Эта фраза принадлежит сенатору Дж. Маккамберу. Таких, как он, увы, и сейчас немало на Капитольском холме, хотя они и стали помягче в выражениях и именуют большевиков уже и не «убийцами», как Маккамбер, а всего лишь (1) «притеснителями свободы».

Независимо от терминологии отметим, что стереотип 1919 года — «держат русский народ в подчинении» — лег в основу целой структуры стереотипов, выработанных буржуазной пропагандой США для изображения советской действительности. Вкратце она сводится к следующему: в 1917 году, внушают американцам их буржуазные идеологи, в феврале—марте, русские демократы свергли царя и хотели установить в России демократию наподобие американской. Но небольшая кучка заговорщиков — большевиков — воспользовалась тем, что в стране был хаос, и узурпировала власть в октябре—ноябре того же года. Затем была установлена коммунистическая диктатура, — ну а дальше все по Маккамберу, — которая и держит русский народ в подчинении до сих пор. В эту схему укладывается, как в прокру-

ство ложе, и все то, что пишется в США о Советском Союзе, то есть все «лишнее», правдивое отрубается, а все «недостающее», то есть отсутствие нужной клеветы в нужном количестве и в нужное время и в нужном месте, — «дотягивается», «пристегивается», дописывается.

Такой же схеме в основном соответствуют и все внутриамериканские кампании антикоммунистического толка — от печально знаменитых событий 20-х годов до маккартизма времен «холодной войны», начавшегося фултонской речью Уинстона Черчилля, а от него — до нынешних антикоммунистических, антисоветских «слушаний» в конгрессе. В соответствии с той же схемой объявляются все «крестовые походы» против коммунизма — от вильсоновского в 1919 году до рейгановского в 1982 году.

Вниманием своим инквизиторы от антикоммунизма не обошли и авторов этого сборника. Частично читатель может судить о характере такого «внимания» по публикуемому в книге «Писатели США о Стране Советов» документу «Я обвиняю!», который составлен Альбертом Каном, перед тем как его вызвали в пресловутую сенатскую подкомиссию по внутренней безопасности, созданную во времена бесноватого сенатора Джо Маккарти, по обвинению в «подрывной деятельности». Альберт Кан сумел блестяще посрамить мракобесов из этой подкомиссии, и его выступление превратилось в суд над теми, кто пытался публично лягнуть его. Так в свое время суд над Георгием Дмитриевым превратился, благодаря мужеству лидера болгарских коммунистов, его уму, энциклопедическим знаниям, в суд над нацизмом. Конечно, прямых параллелей здесь быть не может, но сопоставление этих двух фактов вполне уместно.

Однако Альберту Кану, можно сказать, «повезло», ибо судилище над ним устроили при его жизни. Некоторых авторов этой книги американские маккартисты, в том числе и маккартисты от литературоведения, «судили» посмертно.

Джон Рид в при жизни неоднократно попадал на скамью подсудимых в США за «подстрекательство к мятежу» — в 1914 году, в 1916 году и в 1919 году. Последний раз, уже будучи осужденным все за то же «подстрекательство к мятежу», он был вынужден скрываться, а затем бежать из США с паспортом на чужое имя. Его продолжала разыскивать по всем Соединенным Штатам полиция даже тогда, когда его хоронили у Кремлевской стены...

Но и после смерти Джон Рид продолжал борьбу — во многих городах Соединенных Штатов действовали в то время клубы Коммунистической партии, названные его именем. Второе издание его знаменитой книги (а первое появилось в 1919 году) вышло с предисловием В. И. Ленина в США в 1926 году. Книга «Десять дней, которые потрясли мир» была переведена практически на все основные языки мира. Тем сильнее становилась ненависть к Риду со стороны американских реакционеров. Мракобесы из сенатских комиссий, расследовавших «подрывную деятельность», и через десятки лет после последнего приговора, вынесенного судом присяжных Джону Риду, объявляли его книгу «антиамериканской», а тех, у кого находили ее в библиотеках, обвиняли все в том же «подстрекательстве к мятежу».

Забвению попытались предать имя замечательного американского писателя и реакционные литературоведы вроде Д. Брауна, который в своей книге «Советское отношение к американским писателям», изданной в 1962 году в США, намеренно исключил из «серьезных литераторов» и Джона Рида, и Альберта Риса Вильямса, и Линкольна Стеффенса лишь потому, что они «посмели» с симпатией и любовью писать о нашей стране. О Джоне Риде была брошена в книге антисо-

ветчика Брауна всего лишь одна полупрезрительная фраза: «Слава Джона Рида приобретает в Советском Союзе размеры героической легенды коммунистического фольклора». Не больше места уделяется этому писателю и в других подобных обзорах американской литературы.

В этом четко прослеживается общая антикоммунистическая линия американского буржуазного литературоведения: полуграфоманов и отщепенцев из числа так называемых диссидентов от литературы в социалистических странах, в первую очередь в СССР, объявляют едва ли не новыми чеховыми (Тарсис), львами толстыми (Солженицын) и т. д., а классиков русской советской литературы именуют «бездарностями, находящимися на государственной службе». Не щадят и своих соотечественников. Великого американского писателя Теодора Драйзера, вступившего в конце своей жизни в Компартию США, травят литературные погромщики по сей день. Приход Драйзера к коммунизму тот же Браун считает проявлением «коммунистического обмана» и проявлением... «старческого слабоумия»¹.

Буквально в тех же кощунственных формулировках чернит память великого американца «литературовед» У. А. Суанберг в своей книге о Драйзере, вышедшей в 1965 году в Нью-Йорке. «Критикесса» Элли Мозрс обрушивается на Драйзера в журнале «Нью-Йорк ревью оф букс» (специализирующегося на книжных обзорах) как на человека «наивного, вульгарного, глупого, грубого, раздражающего». Все творчество Драйзера охаивается с порога. А ларчик открывается здесь просто — откройте эту антологию, и вы прочтаете, что писал Драйзер о нашей стране, поймете, за что возненавидели его антикоммунисты.

А сколько шельмовали расисты негритянского поэта Лэнгстона Хьюза за его очерки о Средней Азии, написанные после поездки в СССР. Сколько раз приходилось являться на разного рода расследования антикоммунистических инквизиторов Элле Рив Блур, Альберту Кану, Филипу Боноски!

Американской пропаганде не откажешь в гибкости. Инквизиторы из разного рода «комсисий», устраивающих по сей день «охоту на ведьм» во всеамериканском масштабе, готовы в любую минуту дать индульгенцию прогрессивному писателю, если он только выступит с публичным покаянием в своих симпатиях к СССР, к борьбе трудового народа Америки за свои права, за мир и социальный прогресс. Так ведь случилось в Америке с талантливым писателем Эптоном Синклером. Его принудили в конце концов возглавить пресловутый «Конгресс за свободу культуры», который оказался филиалом ЦРУ! Автор романов «Джунгли», «Король уголь», «Менялы», которые обличают крупный капитал США, автор романа «Джимми Хиггинс», где осуждается антисоветская интервенция США, романа «Они не пройдут», посвященного революции в Испании, закончил не только такими антикоммунистическими пасквилями, как «Чаша ярости» (1956), но и... благодарственными письмами в Федеральное бюро расследований, в эту проклятую всеми прогрессивными американцами охранку США.

Нечто подобное произошло и с автором «Гроздьев гнева» Джоном Стейнбеком, который, побывав в СССР, опубликовал в американской печати инзкопробный памфлет с клеветой на нашу действительность, а затем выступал бардом американской агрессии во Вьетнаме. Эптон Синклер в своей книге «Деньги пишут» заклеил термином «бывшие обличители» таких писателей, которые от критики американского об-

¹ См. подробнее: Идеологическая борьба в литературе и эстетике. Сб. статей. М.: 1972.

раза жизни и его величества капитала перешли к нему в услужение. Не только волею судеб и сам Сниклер, и Стейбек, и ряд других крупных писателей США претерпели эту позорную трансформацию. Над их вербовкой в ряды «стопроцентных» американских литераторов упорно работал гигантский аппарат воздействия на умы и души, действующий в антикоммунистическом духе под непосредственным руководством «литературоведов» и «искусствоведов» из ЦРУ и ФБР, из других правительственных ведомств Соединенных Штатов.

Одним из таких деятелей, Ф. Баргхорн, профессор Йельского университета, работавший в свое время в Москве в посольстве США в качестве пресс-атташе, в своей книге «Советское культурное наступление» (1960) откровенно писал о той тревоге, которая охватила правящие круги США в связи с тем, что с самого начала Великая Октябрьская революция, практика социалистического строительства в нашей стране пользовались огромной популярностью и симпатиями американской творческой интеллигенции: «...господствовавшая в СССР атмосфера оптимизма, идейности и преданного служения общественным интересам (само по себе показательное признание в устах закоренелого антикоммуниста-советолога! — В. Б.) произвела огромное впечатление на первых иностранцев, приезжавших в страну, таких, как Уильям Буллит, Линкольн Стеффенс¹, и многих других. По возвращении из России Л. Стеффенс сказал: «Я побывал в будущем, и оно действует». К 1932 году свыше ста иностранных писателей, побывавших в России, признали, что СССР — это единственная страна, где есть жизнь и где родился новый человек, строящий новое будущее». Добавим к этому, что Т. Драйзер в 1934 году заявил по поводу Первого съезда советских писателей: «Я предсказываю огромное будущее новой русской литературе на новой социальной базе». Росла популярность советского искусства, литературы, кино в США.

Все это вызвало в США резкое противодействие со стороны реакции, которая делала все возможное, чтобы не допустить правду о Стране Советов в США.

Рост левых настроений в Америке был, во-первых, чрезвычайно опасен для правящих кругов капитала именно в силу того, что миллионы обездоленных, безработных и отчаявшихся людей видели в примере Советской России путь к своему спасению. Во-вторых, установление дипломатических отношений США с нашей страной открывало для американцев куда большие, чем прежде, возможности узнать правду о первой стране социализма, и это, в силу первого обстоятельства, лишь подогревало страхи американской буржуазии за свое будущее. «Мини-холодная война», как называют этот период, продолжалась вплоть до того дня, когда США вступили в антигитлеровскую коалицию с СССР для борьбы с фашизмом и японским милитаризмом. И эта «война», предшествовавшая второй мировой, оставила свой след и в истории советско-американских отношений, и в умах многих американцев, которые в 30-х годах еще только формировались как личности, но стали зрелыми людьми уже в то время, когда в конце 40-х — начале 50-х годов Вашингтон объявил новую «холодную войну», теперь уже без приставки «минн».

Не случайно «холодная война» последовала за разгромом фашизма. Боевое братство советских людей и американцев было скреплено кровью.

¹ Джозеф Линкольн Стеффенс (1866—1936) — известный писатель и публицист, член Компартии США. В 1919 году посетил СССР.

В то время Альберт Рис Вильямс переработал свою книгу «Советы» и выпустил ее в 1943 году в свет под названием «Русские: страна, народ и за что он сражается». Эта книга, которую, как утверждают американские историки, читал сам президент Ф. Рузвельт, попадала и в войсковые библиотеки американской действующей армии и, конечно, оказывала свое влияние на умонастроения джи-ай (так называют американских солдат). В то время со статьями о борьбе СССР с фашизмом регулярно выходили многие газеты США, в первую очередь орган Компартии США «Дейли уоркер». Волна симпатий к Советскому Союзу набирала еще большую силу в США, чем в 30-х годах. Не случайно рост числа переводов произведений советских авторов в США, советских фильмов, появившихся на американском экране, выставок художников и т. д. Сейчас, когда читаешь статьи об этом периоде расцвета советско-американской дружбы, поражаешься, какой недолгий в общем-то исторический срок потребовался для того, чтобы столь резко повернуть умонастроения американцев.

В 1980 году на экраны США вышел многосерийный фильм о Великой Отечественной войне. Он шел под названием «Неизвестная война на Востоке». Авторы фильма, кстати сказать сейчас в США уже запрещенного, выяснили, что подавляющее большинство американцев не знали, что именно Советскому Союзу принадлежит решающая роль в разгроме нацистской Германии, не знали, что СССР потерял в битве с нацизмом двадцать миллионов своих граждан. Подвиг советского народа в Великой Отечественной был сделан для американцев «неизвестным»...

Подавляющее — приближающееся, наверное, к 99 процентам — большинство американцев даже не читало те произведения, которые включены в этот сборник, по причинам, о которых говорилось выше. Они как же «неизвестны» американскому читателю, как и Великая Отечественная война.

Между тем только за послевоенные 1945—1976 годы в Советском Союзе издано свыше семи тысяч произведений американских авторов. На языках народов СССР выходит ежегодно до 300 произведений американских писателей и критиков. В США, укажем для сравнения, в 1976 году вышла только одна книга советского писателя. («Опровергая» эту статистику, пропаганда США подключает к «советским» писателям разного рода «диссидентов». Но это не только не советская литература, но сплошь и рядом не литература вообще.) Такова реальность современной битвы идей, в которой правде о советской действительности правящим кругам США противопоставить нечего.

Американская литература и публицистика об СССР, лучшие образцы которых представлены в сборнике «Писатели США о Стране Советов», занимают особое место в культурной и политической жизни нашей планеты. Тем произведениям, которые служат целям реакции, нагнетанию антикоммунистического психоза, предречено рано или поздно полное забвение. Тем, которые созданы честными и страстными сердцами, суждена широкая и бесконечная дорога к новым и новым поколениям читателей.

Владимир БОЛЬШАКОВ

1. ПЕРВЫЕ ГОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Бесси Битти. Падение Зимнего дворца	4
<i>Джон Рид</i>	
Первая пролетарская республика приветствует американских рабочих	10
Первая и вторая революции	11
Десять дней, которые потрясли мир (Главы из книги)	13
Конец Временного правительства	13
Неудержимо вперед!	37
Революционный фронт	46
Победа	52
Москва	72
<i>Альберт Рис Вильямс</i>	
Путешествие в революцию (Главы из книги)	84
«Социализм не преподнесут на тарелочке»	84
Интернационализм в яваре	107
Прощальная встреча с Лениным	131
<i>Джером Дэвис</i>	
«Национализация женщин» — просто розыгрыш	151
Красная гвардия получает пятьсот новобранцев	152
<i>Раймонд Робинс</i>	
Обращение к деловым кругам США	155
Советы	157
Банкир перевозит большевистских вождей	160
<i>Луиза Брайант</i>	
Революционный трибунал	163

2. ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

<i>Элла Блур</i>	
Россия — мое первое посещение социализма	168
Второе посещение Советской России	180
Мой сын Гарольд Вэр	183
<i>Уолтер Дюранти</i>	
Репортаж о Ленине	198
<i>Израиль Амтер</i>	
Когда хоронили Ленина	201
<i>Теодор Драйзер</i>	
«Драйзер смотрит на Россию» (Глава «Что я видел и испытал»)	204
Из дневника	209
<i>Элла Блур</i>	
На двадцатой годовщине первого в мире социалистического государства	223
<i>Лэнгстон Хьюз</i>	
Негр смотрит на советскую Среднюю Азию	236

3. УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

<i>Филип Боноски</i>	
Вначале Литва	250
Расскажите им правду	258

<i>Альберт Кан</i>	
Я побывал в Советском Союзе	271
Нужен другой словарь!	275
Большой балет	277
Я обвиняю!	279
Обвиняемый сознался	287
<i>Рокуэлл Кент</i>	
Прометей обрел свободу	290
<i>Митчел Уилсон</i>	
Задачи, которые еще никто не решал	292
<i>Владимир Большаков</i>	
Правда о Стране Советов и Соединенные Штаты Америки . . .	293

Писатели США о Стране Советов/[Составитель, ПЗ4 автор послесловия и комментарий В. В. Большаков]. — Л.: Лениздат, 1983. — 303 с., ил.

В тематический сборник вошли очерки и публицистические статьи известных американских писателей Дж. Рида, А. Р. Вильямса, Т. Драйзера, Л. Хьюза, Ф. Боюски, А. Каиа и других прозаиков, публицистов, поэтов и общественных деятелей. Сборник завершается статьей Владимира Большакова «Правда о Стране Советов и Соединенные Штаты Америки».

П $\frac{4703000000 - 186}{M171(03) - 83}$ 221 — 83

84.7США

Составитель
Владимир Викторович Большаков

ПИСАТЕЛИ США О СТРАНЕ СОВЕТОВ

Заведующий редакцией Н. П. Утехин
Редактор Н. Н. Сотников
Художник Б. Н. Осенчаков
Художественный редактор Б. Г. Смирнов
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор Л. В. Берендюкова

ИБ № 2619

Сдано в набор 28.02.83. Подписано к печати 23.09.83.
Формат 84×108¹/₂. Бумага тип. № 1.
Гарн. литерат. Печать высокая.
Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 15,96. Уч.-изд. л. 17,66.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 63. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат,
191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени
типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Писател ЕММ о Стране Советов

